

Владимир

НАБОКОВ

Лолита



В 1955 году увидела свет «Лолита» — третий американский роман Владимира Набокова, создателя «Защиты ужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара». Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг «Лолиты» уже давно улеглись, можно уверенно сказать, что это — книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, «любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда».

В настоящем издании восстановлен фрагмент дневника Гумберта из третьей главы второй части романа, отсутствовавший во всех предыдущих русскоязычных изданиях «Лолиты».

«Лолита» — моя особая любимица. Она была моей самой трудной книгой, затрагивавшей тему, которая так удалена от моей собственной эмоциональной жизни, что мне доставило особое удовольствие использовать свой комбинационный талант, чтобы сделать ее реальной.

...Я содрогаюсь теперь при воспоминании, что были моменты в 1950-м, потом в 1951 году, когда я чуть не сжег черный дневничок Гумберта. Нет, я никогда не пожалею о «Лолите». Это напоминало составление прекрасной головоломки — составление и в то же время ее разгадывание, поскольку одно есть зеркальное отражение другого, в зависимости от того, откуда смотришь. Конечно, она совершенно затмила другие мои произведения... но я не могу осуждать ее за это. В этой мифической нимфетке есть странное нежное обаяние.

Владимир Набоков

«Лолита» — один из самых блестящих американских романов, триумф стиля и воображения, лучшее (пусть и не самое характерное) из набоковских творений, причудливый симбиоз по-свифтовски неистовой сатиры и той трепетной, любовной неспешности, которая отличает человека, неподдельно влюбленного в зримые тайны этого мира.

Джойс Кэрол Оутс

-
- [Владимир Набоков](#)
 - [Примечание к настоящему изданию](#)
 -
 - [Лолита](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Часть I](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)

- [Часть II](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [О книге, озаглавленной «Лолита»](#)
- [Постскриптум к русскому изданию](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)

- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)

- [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Владимир Набоков
ЛОЛИТА

Примечание к настоящему изданию

В это издание «Лолиты» включен мой русский перевод фрагмента (часть II, глава 3, одиннадцатый абзац), который оказался случайно выпущен Набоковым из его перевода романа. Я признателен А. Свирилину за указание на эту и некоторые другие неточности в русском тексте, а также А. Коновалову за помощь в составлении списка ошибок, которые будут исправлены в последующих изданиях.

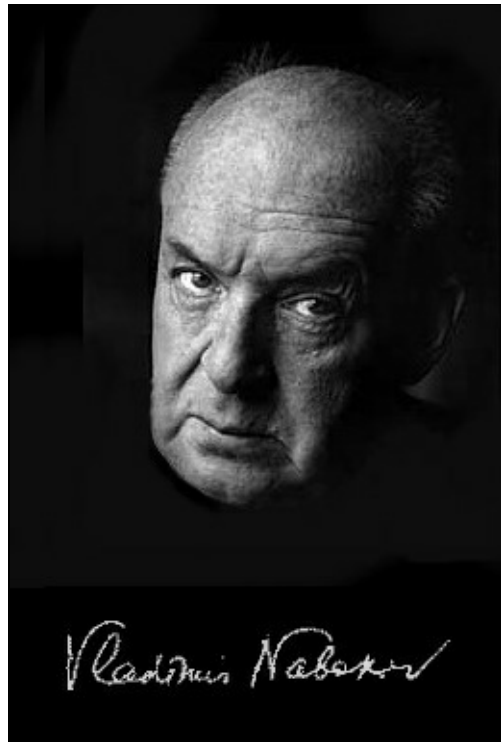
Дмитрий Набоков
Палм-Бич, Флорида,
сентябрь 2007 г.

Книга была скопирована с группы vk.com/bestbooks

Mob il eBooks



Посвящается моей жене



«Лолита. Исповедь Светлокожего Вдовца»: таково было двойное название^[1], под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам «Гумберт Гумберт»^[2] умер в тюрьме, от закупорки сердечной аорты, 16-го ноября 1952 г., за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэрэнс Кларк (в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому Окружному Суду), попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки «Лолиты» к печати. На решение г-на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд («Можно ли сочувствовать чувствам?»), в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения.

Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных описок да тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого «Г. Г.», еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники (указатели мест и людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие — пощадить), можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора — его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска — сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза — должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем как «Гейз» всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить; впрочем (как читатель сам убедится), в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном «Г. Г.», в газетах за сентябрь — октябрь 1952 г.; его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы.

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой «живых образцов» за горизонтом «правдивой повести», могу привести некоторые указания, полученные от г-на «Виндмюллера» из «Рамздэля», который пожелал остаться неназванным, дабы «длинная тень прискорбной и грязной истории» не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь «Луиза» сейчас студентка-второкурсница. «Мона Даль» учится в университете в Париже. «Рита» недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена «Ричарда Скиллера» умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой, 25-го декабря 1952 г., в далеком северо-западном поселении Серой Звезде. Г-жа Вивиан Дамор-Блок^[3] (Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах «Г. Г.», не сообщают, встает ли кто из могилы.

Для читателя, рассматривающего «Лолиту» просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно-неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения; скажу больше: здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в «Лолите». Если же, ради успокоения этого парадоксального ханжи, редактор попробовал бы разбавить или

исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться «соблазнительными» (смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьей Джоном Вульси^[4], 6-го декабря 1933 г., по поводу другой, значительно более откровенной книги), пришлось бы вообще отказаться от напечатания *«Лолиты»*, ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф; эрудит возразит, что страстная исповедь «Г. Г.» сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12% взрослых американцев мужского пола, — по скромному подсчету, ежели верить д-ру Биянке Шварцман^[5] (заимствую из частного сообщения), — проходит через тот особый опыт, который «Г. Г.» описывает с таким отчаянием, и что, пойдя наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, — но ведь тогда не было бы этой книги.

Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что «неприличное» бывает зачастую равнозначуще «необычному». Великое произведение искусства всегда оригинально; оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. «шокировать». У меня нет никакого желания прославлять г-на «Г. Г.». Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!

Как описание клинического случая, *«Лолите»*, несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через десять лет термин «нимфетки» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, *«Лолита»* далеко выходит за пределы покаянной исповеди; но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк — все они не только красочные персонажи единственной в своем роде повести; они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах; они указывают на возможные бедствия. *«Лолита»* должна бы заставить нас всех — родителей, социальных работников, педагогов — с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире.

Джон Рэй^[6], д-р философии
Видворт, Массачусетс
5 августа 1955 года

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пункте бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у нее были? Как же — были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.

Уважаемые присяжные женского и мужеского пола! Экспонат Номер Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы — худо осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний.

Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава — и целым винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полуавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных, глянцевиго-голубых открыток.

Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками (распределяйте сами). В тридцать лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и Эоловым арфам (распределяйте сами). Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне же было тогда всего три года, и, кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом, у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми — если вы еще в силах выносить мой слог (пишу под надзором) — садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкаррой над какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках — глухая теплынь, золотистые мошки.

Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца — вскоре, впрочем, бросившим ее, — жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно воспользовался ее чувством — да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость — роковую суровость — некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрет — а именно когда мне исполнится шестнадцать лет — и так оно и случилось. Ее

муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество.

Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирана Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, *mon cher petit* [\[1\]](#), брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне Дон-Кихота и «*Les Misérables*» [\[2\]](#), и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц — ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством.

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома; там я играл в «ракетс» и «файвс» (ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами, так и с наставниками. До тринадцати лет (т. е. до встречи с моей маленькой Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка: торжественный благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трех измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «*La Beauté Humaine*» [\[3\]](#), который я тишком однажды извлек из-под груды мрамористых томов Лондонского «*Graphic*» [\[4\]](#) в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три зимы); но именно **летом** того года отец мой, увы, отсутствовал — разъезжал по Италии вместе с Mme de R [\[5\]](#). и ее дочкой — так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.

3

Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения: в ее случае — английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода: при одном — удастся искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как-то: «медового оттенка кожа», «тоненькие руки», «подстриженные русые волосы», «длинные ресницы», «большой яркий рот»); при другом же — закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту).

Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от «Мираны». Этого лысого, бурого господина Ли и

толстую, напудренную госпожу Ли (рожденную Ванесса ван Несс) я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас то же острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодающей азиатской стране; я мечтал быть знаменитым шпионом.

Внезапно мы оказались влюбленными друг в друга — безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно; я бы добавил — безнадежно, ибо наше неистовое стремление ко взаимному обладанию могло бы быть утолено только, если бы каждый из нас в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого; между тем мы даже не могли найти места, где бы совокупиться, как без труда находят дети трущоб. После одного неудавшегося ночного свидания у нее в саду (о чем в следующей главке) единственное, что нам было разрешено, в смысле встреч, — это лежать в досягаемости взрослых, зрительной, если не слуховой, на той части пляжа, где было всего больше народу. Там, на мягком песке, в нескольких шагах от старших, мы валялись все утро в оцепенелом иступлении любовной муки и пользовались всяким благословенным изъясном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к другу: ее рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась все ближе, переставляя узкие загорелые пальцы, а затем ее перламутровое колено отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие; иногда случайный вал, сооруженный другими детьми помоложе, служил нам прикрытием для беглого соленого поцелуя; эти несовершенные соприкосновения доводили наши здоровые и неопытные тела до такой степени раздражения, что даже прохлада голубой воды, под которой мы продолжали преследовать свою цель, не могла нас успокоить.

Среди сокровищ, потерянных мной в годы позднейших скитаний, была снятая моей теткой маленькая фотография, запечатлевшая группу сидящих за столиком тротуарного кафе: Аннабеллу, ее родителей и весьма степенного доктора Купера, хромого старика, который в то лето ухаживал за тетей Сибиллой. Аннабелла вышла не слишком хорошо, так как была схвачена в то мгновение, когда она собралась пригубить свой *chocolat glacé*^[6], и только по худым голым плечам да пробору можно было узнать ее (поскольку помню снимок) среди солнечной мути, в которую постепенно и невооруженно переходила ее красота; я же, сидевший в профиль, несколько поодаль от других, вышел с какой-то драматической рельефностью: угрюмый густобровый мальчик в темной спортивной рубашке и белых хорошо сшитых шортах, положивший ногу на ногу и глядевший в сторону. Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков — морской дед и его братец — вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь. Или, может быть, острое мое увлечение этим ребенком было лишь первым признаком врожденного извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую способность возможностями безграничными, так что всякий представляющийся мне прошлый путь делится без конца на развилки в одурающе сложной перспективе памяти. Я уверен все же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы.

Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворенность того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на все просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства. В июне одного и того же года (1919-го) к ней в дом и ко мне в дом, в двух несмежных странах, впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любила *так*!

Я приберег к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных, тонколистных мимоз, позади виллы, мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы — которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами (отчасти, может быть, потому, что неприятель играл там в бридж). Она вздрагивала и подергивалась, пока я целовал ее в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россыпь звезд бледно горела над нами промеж силуэтов удлинённых листьев: эта отзывчивая бездна казалась столь же обнаженной, как была она под своим легким платьицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности — не то боль, не то наслаждение — появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем голова ее склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть, и снова слабели. Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с легким придыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно лгнула и позволяла мне питаться ее раскрытыми устами, меж тем как я, великодушно готовый ей подарить все — мое сердце, горло, внутренности, — давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти.

Помню запах какой-то пудры — которую она, кажется, крала у испанской горничной матери — сладковатый, дешевый, мускусный душок; он сливался с ее собственным бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краев; неожиданная суматоха под ближним кустом помешала им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведенному, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавший дочь с дико нарастающими перекатами, и доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но эта мимозовая заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной, и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно — покуда наконец двадцать четыре года спустя я не рассеял наваждения, воскресив ее в другой.

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя мятель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вьются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору — такое томление); и я перешел на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришелся мне в пору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафэ «Des Deux Magots»^[7]. Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии — на Элиота, например:

Пускай фрейляйн фон Кульп, еще держась
За скобку двери, обернется... Нет,
Не двинусь ни за нею, ни за Фреской.
Ни за той чайкой...

Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли», вызвала одобрительные ухмылки у шести-семи ученых, прочитавших ее. Я пустился писать «Краткую историю английской поэзии» для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашел службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слипшимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9–14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором водятся эти мои нимфетки и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки — нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде) не

исключает непременно присутствия тех таинственных черт — той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, — которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова замороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых или просто «миленьких», или даже «смазливых», но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или гэрл-скаутов, он не всегда ткнет в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладоострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам — по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности — маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них, неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти.

И еще: ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок — и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением преодолевает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной улады. «Когда я был ребенком и она ребенком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил; но отравы осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак, немудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Вовне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступить. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклый из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот, ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как мечта и мачта». Все это я теперь рационализирую, но

в двадцать — двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мной овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психологи манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства. Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения и что, в сущности, ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-ем году) о Детях и Молодых Особах, термин «гэрл-чайльд» (т. е. девочка) определяется, как «лицо женского пола, имеющее от роду свыше восьми и меньше четырнадцати лет» (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как «молодую особу»). С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетсе, термин «уэйуард чайльд» (непутевое дитя) относится технически к девочке между семью и семнадцатью годами, которая «общается с порочными и безнравственными лицами». Хью Броутон, полемический писатель времен Джемса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком — но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) «нимфетку в тоне пел одном», хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще несозревших дочек короля Ахнатена и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких — нильских, бритоголовых, голеньких (ничего, кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трех тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых принуждают сесть на фасциний — кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожителство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими камнями, а было это в 1274-ом году, во Флоренции, на частном пиру, в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-Богу, старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона, «enfant charmante et fourbe»^[8] — глаза с поволокой, яркие губы, десять лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии груди рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак — это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек.

Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я, бывало, воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу. Вокруг

мирного эрудита свободно резвились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Как-то раз совершенная красotka в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька — и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как ее русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у нее под мышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона ночью, в освещенном окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении видение приобретало невероятно пряную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озаренный лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у отверженного окна в жаркой, влажной, безнадежной летней ночи.

Скакание через веревочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в черном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня — наглая ведьма — не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

6

Кстати: я часто спрашивал себя, что случилось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий, не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей — и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не испортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как-то под вечер по оживленной улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей нагрудной шерсти; личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый *tailleur*^[9], облежавший ее юное тело, которое еще хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмывом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному *frétillement*^[10] ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица — суцая птица!): «Cent»^[11]. Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): «Tant pis»^[12], — произнесла она, перемигнув, и сделала вид, что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила

дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или несвободен — унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой *petit cadeau*^[13], и, как обычно, я спросил ее имя (Monique) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это *dixhuit*^[14] — четкое чириканье с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: «*Oui, se n'est pas bien*»^[15], — и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными темными волосами, светло-серым взглядом и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «*Il était malin, celui, qui a inventé ce truc-là*»^[16], — любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла.

Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: «*Tu es bien gentil de dire ça*»^[17], — а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно: ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в свое время нимфеткой!) захотела узнать, не стереть ли ей, *avant qu'on se couche*^[18], слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой, и в ту ночь мое последнее впечатление от Моника и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унижительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засемила в ночную апрельскую морось с тяжелым Гумбертом, валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: «*Je vais m'acheter des bas!*»^[19] — и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «*bas*», произнесенном ею так сочно, что «а» чуть не превратилось в краткое бойкое «о».

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу — да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой — такой, какою она была в продолжение тех двух-трех минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые, верно, покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей Mlle Edith ^[20], которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме («Regardez-moi cette belle brune?» ^[21] — уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня, будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать познакомить меня с лицом, которое «могло бы устроить дело». На другой день астматическая женщина, размалеванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и черными усами над лиловой губой, повела меня в свое собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев, дабы подчеркнуть качество своего лакомого, как розанчик, товара, театрально отпахнула занавеску, за которой обнаружилась половина, служившая по всем признакам спальней большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в тяжелых черных косах, которая сидела на стуле и нарочито няньчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащенно лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моем решении уйти, потребовала «son argent» ^[22]. Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в темных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъяренная сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции — так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошел к Марии (ибо таково было ее звездное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальне на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в ее равнодушную руку. Она сдала мой дар экс-сыщику, и мне было разрешено удалиться.

Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы — но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и — как знать — будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне — если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца (ничего особенного — «Мирану» он давно продал) в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной, мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю

себе повторить тихо, но внушительно: я был, и еще остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, «средним французом», охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые по существу сводились — как я слишком поздно понял — к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.

8

Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужно сублимированное *pot-au-feu*^[23] и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии, это была ее имперсонация маленькой девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, что раскусила мою тайну: таков был просто ее собственный стиль — и я попался. На самом деле этой девочке было по крайней мере под тридцать (никогда я не мог установить ее точный возраст, ибо даже ее паспорт лгал), и она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению ее памяти. Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъяном. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась *à la gamine*^[24], щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъема ступни черным бархатом туфельки, и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встряхивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом.

После краткого обряда в ратуше я привез ее на новую квартиру и несколько удивил ее тем, что до начала каких-либо нежностей заставил ее переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараниями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх. Обелокуранный локон выявил свой чернявый корешок; пушок превратился в колючки на бритой голени; подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил свое мизерное сходство с соответствующей частью на заветном портрете ее жабоподобной покойной матушки; и вскоре, вместо бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба.

Это положение длилось с 1935-го года по 1939-ый. Единственным достоинством Валерии была кротость, и как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке: две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром что не было белошеей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров — она, углубившись в свой «*Paris Soir*»^[25], я, работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К ее пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды, крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила

меня с ума; впрочем, с помощью Валерии, я все же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили rot-aufeu^[26] и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом на rue Bonaparte^[27], где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загроможденной витрине великолепный, цветистый — зеленый, красный, золотой и чернильно-синий — старинный американский эстамп, на котором был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный, черный, искрами поблескивающий дым к косматым ее тучам.

В них что-то блеснуло. Летом 1939-го года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встряске. И было еще кое-что: молевые проединки появились в плюше супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась — выказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде раздражения, а это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я ее уведомил, что мы скоро поплывем в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась. Была докучная возня с ее документами. У нее оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимостью стояния в хвостах в префектуре и всякими другими неприятностями ее вялое и неотзывчивое настроение, на которое никак не действовали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном, сером Париже.

Однажды утром (ее бумаги были уже почти приведены в порядок) мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей болоночной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть? Она ответила (перевожу с ее французского перевода какой-то славянской плоскости): «В моей жизни есть другой человек».

Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить ее тут же на улице — как поступил бы честный мещанин — было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели, и в этом сравнительном уединении спокойно предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство — о, не потому чтоб я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений, а тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами и моею судьбой. Я потребовал, чтоб она мне назвала любовника. Я повторил вопрос; но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной разводиться. «Mais qui est-ce?»^[28] — заорал я наконец, кулаком хватив ее по колену, и она, даже не поморщившись, уставилась на меня, точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофера. Тот затормозил у небольшого кафе и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится еще совсем ясно — коренастый русак, бывший полковник Белой Армии, пышноусый, остриженный ежиком. (Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже.) Мы сели за

столик, белогвардеец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить — в меня, скорее, чем со мной: в сей величественный сосуд она всыпала слова с безудержностью, которой я и не подозревал в ней, причем то и дело раздражалась залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное, и оно сделалось еще абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные домыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидючи между ним и мной: подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев (при этом утраивая подбородок) передок блузки и так далее, а он между тем говорил о ней, не только как если бы ее не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради ее же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему; и хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. «Мне кажется», говорил он, «ей понравится „Жан-Кристоф“ ^[29] — как вы думаете?» О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.

Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк полковник галантно заявил, что охотно сам перенесет их в свою машину. Вернувшись к исправлению должности, он повез Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт — ее, или ее возлюбленного, или обоих, или никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокашнику, в ту пору моей жизни (я, кажется, об этой поре не упомянул, но это неважно), когда я лелеял мысль насладиться его маленькой сестрой (необыкновенно лучистой нимфеткой, с большим черным бантом) и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоила ли Валечка (как ее называл полковник) того, чтобы быть пристреленной, задушенной или утопленной. У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине.

Но этого не суждено было. Валечка — уже к этому времени проливавшая потоки слез, окрашенные размазанной радугой ее косметики — принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопавшуюся картонку, — и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть ее в круп было, конечно, неосуществимо, покамест проклятый полковник возился поблизости. Не то, чтобы он вел себя нагло или что-нибудь в этом роде: напротив, он проявлял (как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили) деликатную старосветскую учтивость, причем сопровождал всякое свое движение неправильно произносимыми извинениями (же деманд пардон... эске же пуи...) ^[30] и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с веревки над ванной; но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав свой к анатомии квартиры, читая мою газету в моем же кресле, развязывая узлы на веревке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос (подарок ее отца) и вынося на улицу ее рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец оба они вышли из дрожавшей квартиры — вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ванную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколona; нет, не увезли; но я заметил с судорогой

злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевой пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающим в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, не что иное, как русская мещанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского), подвинуло доброго полковника (Максимовича! — его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я однако вовсе не боксер, меж тем как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна. Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем отпразднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей (оброненной после того, что она хранила ее три никому не нужных года в сломанной шкатулке), вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но все равно: в должный срок я был отомщен. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945-ом году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в Калифорнию; там, в продолжение целого года, за отличный оклад, они служили объектами опыта, производившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие (индивидуальные и расовые) реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих — тучную Валечку и ее полковника, к тому времени поседевшего и тоже сильно потолстевшего, — прилежно ползающими по полированным полам, через ряд ярко освещенных помещений (в одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и т. д.), в обществе нескольких других наемных четвероногих, набранных из бедствующих и незащитных слоев. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но по-видимому они еще не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчет будет иллюстрирован хорошими фотографиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода ученые труды. Та, которой я принужден ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс (старое многотомное издание Дилингама, Нью-Йорк, MDCCCLXXXVII); есть и «Детская Энциклопедия» (в которой попадаются довольно милые фотографии солнечноволосых гэрлскаутов в трусиках), есть и детективный роман Агаты Кристи «Объявлено Убийство»; но, кроме того, есть такие пустячки, как «Бродяга в Италии» Перси Эльфинстона, автора «Снова Венеция», Бостон, 1868, и сравнительно недавний (1946) «Who's Who in the Limelight»^[31] — перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен. Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награжден одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает. Переписываю большую часть страницы:

Пим, Роланд. Родился в Лунди, Массачусетс, 1922. Получил сценическое образование в Эльсинорском Театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в «Прорвавшемся Солнце». Среди множества других пьес, в которых он играл, были: «В Соседнем Квартале», «Девушка в Зеленом», «Перетасованные Мужья», «Станный Гриб», «На волоске», «Джон Ловли», «Ты Снилось Мне».

Куильти, Клэр. Американский драматург. Родился в Ошан Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский Университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом

обратился к писанию пьес. Автор «Маленькой Нимфы», «Дамы, Любившей Молнию» (в сотрудничестве с Вивиан Дамор-Блок), «Темных Лет», «Странного Гриба», «Любви Отца» и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. «Маленькая Нимфа» (1940) выдержала турне в 14 000 миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения: полугоночные автомобили, фотография, домашние зверьки.

Квайн, Долорес. Родилась в 1882-ом году, в Дэйтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской Академии. Дебютировала в Оттаве, в 1900-ом году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904-ом году в «Не разговаривай с Чужими». С тех пор пропала в таких-то пьесах...

Какой беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви, даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки! Ведь, может быть, и она стала бы актрисой! Родилась в 1935-ом году, выступала (кстати, вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка — но, пожалуйста, не поправляйте, уважаемый издатель) в «Убитом Драматурге». Квайн-Швайн. Убил ты Куилты. О, Лолита моя, все что могу теперь, — это играть словами.

9

Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие, и мрак еще одной Мировой Войны уже окутал земной шар, когда, после скучной зимы в Португалии, где я перенес воспаление легких, я наконец достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу: она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени, университет в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причем я редкий день трудился меньше пятнадцати часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделенным на просторный свет и узкую тень: свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотек; тень — к пытке желаний, к бессоннице — словом, к тому, о чем я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно, в пыльную жару, я высматривал — увы, всегда издали — нимфеток, играющих в Центральном Парке, и как мне были отвратительны декоративные, дезодоризованные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле все старался меня прельстить. Опустим все это. Гибельный упадок душевных сил привел меня в санаторию на полтора года; я вернулся к работе — и вскоре опять занемог.

Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой темной бородкой, познакомил меня со своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве «наблюдателя за психическими реакциями». От времени до времени я делил (не очень, впрочем, успешно) с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон — которую вскоре услали на самолете восвояси, о чем вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы прослеживаем к его берлоге (где-то, по-видимому, на Острове Принца Уэльского) блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке

в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулезом и тундрой. Берт, фильмовой фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом (у него, как и у меня, были психические нелады), уверял, что «большие люди» в нашей экспедиции, настоящие ее руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического потепления на мех полярной лисы.

Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов — комплект «Reader's Digest»^[32], мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окруженный унылой растительностью Арктики — мелким ивняком, лишайниками, — пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел, бывало, на круглом камне, под совершенно прозрачным небом (сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного) и чувствовал себя до странности отчужденным от своего «я». Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с личиками морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос, возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.

Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за «психические реакции» (я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг фотограф). Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы: ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиопрограммы, изменения в образе мыслей и так далее. Всем это так приелось, что я бросил — и только в конце моей двадцатимесячной «приполярной каторги» (как шутливо выразился один из ботаников) настроил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт; любопытный читатель найдет его напечатанным в «Annals of Adult Psychophysics»^[33] за 1945 или 1946 год, а также в выпуске «Arctic Explorations»^[34], посвященном нашей экспедиции — которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого отношения к медным залежам на Острове Виктории и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача, ибо настоящая цель экспедиции была, как говорится, «секретного» порядка, и посему позволю себе только добавить, что в чем бы цель ни была, она была полностью достигнута.

Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моем возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка (если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления). Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещие сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных «исконных сценах» родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел, не без смеха, фишки, обзывавшие меня «потенциальным гомосексуалистом» и «абсолютным импотентом». Эта забава мне так нравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления (причем чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я еще прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим

новым профессором из «перемещенных лиц», или Ди-Пи (от «Дементии Прекокс»), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.

По выходе из больницы, я решил приискать себе деревушку в Новой Англии или какой-нибудь сонный городок (ильмы, белая церковь), где бы я мог провести литературное лето, пробавляясь коробом накопившихся у меня заметок и купаясь в ближнем озере. Работа над учебником стала увлекать меня снова, а участие в дядюшкиных посмертных благовониях я к тому времени уже свел к минимуму.

Один из бывших его служащих, отпрыск почтенного рода, предложил мне поселиться на несколько месяцев в пригородном доме своих обедневших родственников по фамилии Мак-Ку, которые желали сдать верхний этаж, где до смерти своей чинно ютилась старая тетка. Он сказал, что у них две дочки, одна совсем маленькая, а другая двенадцати лет, и прекрасный сад недалеко от прекрасного озера, и я сказал, что все это предвещает совершенно совершенное лето.

Мы обменялись письмами, и я убедил господина Мак-Ку, что не гажу в углах. Ночь в поезде была фантастическая: я старался представить себе со всеми возможными подробностями таинственную нимфетку, которую буду учить по-французски и ласкать по-гумбертски. Никто меня не встретил на игрушечном вокзальчике, где я вышел со своим новым дорогим чемоданом, и никто не отозвался на телефонный звонок. Через некоторое время, однако, в единственную гостиницу зелено-розового Рамздэля явился расстроенный, промокший Мак-Ку с известием, что его дом только что сгорел дотла — быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах. Мак-Ку объяснил, что его жена с дочками уехала на семейном автомобиле искать приюта на какой-то им принадлежавшей мызе, но что подруга жены, госпожа Гейз, прекрасная женщина, 342, Лоун Стрит, готова сдать мне комнату. Старуха, жившая как раз против госпожи Гейз, одолжила Мак-Ку свой лимузин, допотопную махину с прямоугольным верхом, которой управлял веселый негр. Я же подумал про себя, что раз исчезла единственная причина моего приезда именно в Рамздэль, новое устройство, предложенное мне, — просто бред. Какое было мне дело до того, что ему придется отстроить заново дом — ведь, наверно же, все было хорошо застраховано. Я чувствовал раздражение, разочарование и скуку, но, будучи вежливым европейцем, не мог отказаться от того, чтобы быть отвезенным на Лоун Стрит в этом погребальном лимузине, да я, кроме того, чуял, что в противном случае Мак-Ку придумает какой-нибудь еще более сложный способ распорядиться моей персоной. Я видел, как он засеменял прочь, и как мой шофер покачал головой с легкой усмешкой. Во время пути я все клялся себе, что не останусь в Рамздэле ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день в направлении Бермудских или Багамских или Чортовоматерных Островов. Еще недавно по хребту у меня трепетом проходили некоторые сладостные возможности в связи с цветными снимками морских курортов, и по правде сказать, именно Мак-Ку резко отвлек меня от этих планов своим благонамеренным, но как теперь выяснилось, абсолютно несбыточным предложением.

Кстати насчет резких отвлечений в сторону: мы едва не раздавили навязчивую пригородную собаку (из тех, что устраивают засады автомобилям), как только повернули на Лоун Стрит. Показался Гейзовский дом — досчатый, беленый, ужасный, потускневший от старости, скорее серый, чем белый — тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо душа клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран. Я дал на чай шоферу и понадеялся, что

он сразу отъедет, — это позволило бы мне незаметно спетлить обратно к гостинице, чтобы подобрать чемодан; но он попросту причалил к противоположному дому, с веранды которого старая мисс Визави окликала его. Что мне было делать? Я нажал на дверную кнопку.

Чернокожая горничная впустила меня и оставила стоять на половике, покамест мчалась назад на кухню, где что-то горело или, вернее, подгорало.

Прихожую украшали гроздь дверных колокольчиков, белоглазое деревянное чудище мексиканского производства для туристов, и ван Гог («Арлезианка») — банальный баловень изысканной части буржуазного класса.

Справа, приотворенная дверь позволяла увидеть уголок гостиной с добавочным мексиканским вздором в стеклянном шкафу и полосатым диваном вдоль стены. Впереди, в глубине прихожей, была лестница, и пока я стоял, вытирая платком лоб (только теперь я отдал себе отчет в том, какая жара была на дворе) и глядя на случайно подвернувшийся предмет — старый серый теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле, — донесся с верхней площадки контрольный голос госпожи Гейз, которая, перегнувшись через перила, мелодично спросила: «Это мсье Гумберт?» В придачу оттуда упало немножко папиросного пепла. Затем сама дама (сандалии, темно-красные штаны, желтая шелковая блузка, несколько прямоугольное лицо — в этом порядке) сошла по ступеням лестницы, все еще постукивая указательным пальцем по папиросе.

Я, пожалуй, тут же и опишу госпожу Гейз, чтобы разделаться с ней. Бедной этой даме было лет тридцать пять, у нее был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих. Похлопывая ладонью по бронзоватому шиньону на затылке, она повела меня в гостиную, где мы поговорили с минуту о сгоревшем доме Мак-Ку и преимуществах жизни в Рамздэле. Ее широко расставленные аквамариновые глаза имели привычку окидывать всего собеседника, прилежно избегая только его собственных глаз. Ее улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови; и пока она говорила, она как бы развертывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трех пепельниц и камина (в котором лежала коричневая сердцевина яблока); после чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу. Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут; женщин, совершенно лишенных чувства юмора, женщин, в сущности вполне равнодушных к десяти-двенадцати знакомым им темам салонного разговора, но при этом весьма привередливых в отношении разговорных правил, сквозь солнечный целлофан коих ясно проступают затаенные, подавленные и не очень аппетитные вещи. Я вполне понимал, что ежели по какому-либо невероятному стечению обстоятельств оказался бы ее жильцом, она бы методически принялась делать из меня то, что ей представлялось под словом «жилец», и я был бы вовлечен в одну из тех скучных любовных историй, которые мне были так знакомы.

Впрочем, никакой не могло быть речи о том, чтобы мне тут поселиться. Я не думал, что мог бы жить счастливо в доме, где на каждом стуле валяется истрепанный журнальчик и где гнусно смешивается комедия «функциональной» современной мебели с трагедией ветхих качалок и шатких столиков с мертвыми лампами на них. Мадам повела меня наверх и налево, в «мою» комнату. Я осмотрел ее сквозь туман моего отказа от нее, но несмотря на эту туманность, заметил над «моей» постелью репродукцию «Крейцеровой Сонаты» Ренэ Принэ. И эту-то конуру для прислуги она называла «полустудией»! Вон отсюда, немедленно вон, мысленно кричал я себе, притворяясь, что обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой хозяйка просила за полный пансион.

Старосветская учтивость заставляла меня, однако, длить пытку. Мы перешли через

площадку лестницы на правую сторону дома («Тут живу я, а тут живет Ло» — вероятно, горничная, подумал я), и квартирант-любовник едва мог скрыть содрогание, когда ему, весьма утонченному мужчине, было дано заранее узреть единственную в доме ванную — закут (между площадкой и комнатой уже упомянутой Ло), в котором бесформенные, мокрые вещи нависали над сомнительной ванной, отмеченной вопросительным знаком оставшегося в ней волоска; и тут-то и встретили меня предвиденные мной извивы резиновой змеи и другой, чем-то сродный ей, предмет: мохнато-розовая попонка, жеманно покрывавшая доску клозета.

«Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное», сказала моя дама, уронив на миг руку ко мне на рукав. В ней сочеталась хладнокровная предприимчивость (переизбыток того, что называется, кажется, «спокойной грацией») с какой-то застенчивостью и печалью, из-за чего особая тщательность, с которой она выбирала слова, казалась столь же неестественной, как интонации преподавателя дикции. «Мой дом не очень опрятен, признаюсь», продолжала милая обреченная бедняжка, «но я вас уверяю (глаза ее скользнули по моим губам), вам здесь будет хорошо, очень даже хорошо. Давайте-ка я еще покажу вам столовую и сад» (последнее произнесено было живее, точно она заманчиво взмахнула голосом).

Я неохотно последовал за ней опять в нижний этаж; прошли через прихожую и через кухню, находившуюся на правой стороне дома, на той же стороне, где были столовая и гостиная (между тем как слева от прихожей, под «моей» комнатой ничего не было, кроме гаража). На кухне плотная молодая негритянка проговорила, снимая свою большую глянцеви́то-черную сумку с ручки двери, ведущей на заднее крыльцо: «Я теперь пойду, миссис Гейз». «Хорошо, Луиза», со вздохом ответила та. «Я заплачу вам в пятницу». Мы прошли через небольшое помещение для посуды и хлеба и очутились в столовой, смежной с гостиной, которой мы недавно любовались. Я заметил белый носок на полу. Недовольно крикнув, госпожа Гейз нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф. Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посередке, ничего не содержащей, кроме одной, еще блестящей, сливовой косточки. Между тем я нащупал в кармане расписание поездов и незаметно его выудил, чтобы, как только будет возможно, ознакомиться с ним. Я все еще шел следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце ее вспыхнула зелень. «Вот и веранда», пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков.

Это было то же дитя — те же тонкие, медового оттенка плечи, та же шелковистая, гибкая, обнаженная спина, та же русая шапка волос. Черный в белую горошинку платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз — но не от взора молодой памяти — полуразвитую грудь, которую я так ласкал в тот бессмертный день. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы (потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые ее нагота улыбается королю и ее гончим), я узнал темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку. Со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна) я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились, и эти мальчишеские бедра, на которых я целовал зубчатый отпечаток от пояска трусиков — в тот безумный, бессмертный день у Розовых Скал. Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла.

Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания. В тот солнцем пронизанный миг, за который мой взгляд успел оползти коленопреклоненную девочку (моргавшую поверх строгих темных очков — о, маленький Herr

Doktor^[35], которому было суждено вылечить меня ото всех болей), пока я шел мимо нее под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца, героя экрана), пустота моей души успела вобрать все подробности ее яркой прелести и сравнить их с чертами моей умершей невесты. Позже, разумеется, она, эта повесть^[36], эта Лолита, моя Лолита, должна была полностью затмить свой прототип. Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской веранде было только следствием того «княжества у моря» в моем страдальческом отрочестве. Все, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости. Все, что было общего между этими двумя существами, делало их единым для меня.

У меня, впрочем, никаких нет иллюзий. Мои судьи усмотрят в вышесказанном лишь кривлянья сумасшедшего, попросту любящего *le fruit vert*^[37]. В конце концов, мне это совершенно все равно. Знаю только, что пока Гейзиха и я спускались по ступеням в затаивший дыхание сад, колени у меня были, как отражение колен в зыбкой воде, а губы были как песок.

«Это была моя Ло», произнесла она, «а вот мои лилии».

«Да», сказал я, «да. Они дивные, дивные, дивные».

11

Экспонат номер два — записная книжечка в черном переплете из искусственной кожи, с тисненым золотым годом (1947) лесенкой в верхнем левом углу. Описываю это аккуратное изделие фирмы Бланк, Бланктон, Массач., как если бы оно вправду лежало передо мной. На самом же деле, оно было уничтожено пять лет тому назад, и то, что мы ныне рассматриваем (благодаря любезности Мнемозины, запечатлевшей его), — только мгновенное воплощение, щуплый выпадыш из гнезда Феникса.

Отчетливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, что писал я его дважды. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками; все это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в черную книжечку.

Тридцатое число мая официально объявлено Днем Постным в Нью-Гампшире, но в Каролинах, например, это не так. В 1947 году в этот день из-за поветрия так называемой «желудочной инфлюэнцы» рамздэльская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом, и дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя (вроде того как шпион передает наизусть содержание им проглоченного донесения), покрывает большую часть июня. Мои замечания насчет погоды читатель может проверить в номерах местной газеты за 1947 год.

Четверг. Очень жарко. С удобного наблюдательного пункта (из окна ванной комнаты) увидел, как Долорес снимает белье с веревки в яблочно-зеленом свете по ту сторону дома. Вышел, как бы прогуливаясь. Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов она дотрагивалась до самой тайной и чувствительной струны моей низменной плоти. Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями — острые, острые камешки, — и в придачу к ним крученый осколок молочной бутылки, похожий на губу огрызающегося животного, и кидать ими в валяющуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь — что за дикая пытка — не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная и

загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Боже, какая пытка — этот атласистый отлив за виском, переходящий в ярко-русые волосы! А эта косточка, вздрагивающая сбоку у запыленной лодыжки...

«Дочка мистера Мак-Ку? Дженни Мак-Ку? Ах — ужасная уродина! И подлая. И хромая. Чуть не умерла от полиомиелита».

Дзинк. Блестящая штриховка волосков вдоль руки ниже локтя. Когда она встала, чтобы внести в дом белье, я издали проследил обожающим взглядом выцветшую сзади голубизну ее закаченных штанов. Из середины поляны г-жа Гейз, вооруженная кодаком, преспокойно выросла, как фальшивое дерево факира, и после некоторых светотехнических хлопот — грустный взгляд вверх, довольный взгляд вниз — позволила себе снять сидящего на ступеньке смущенного Humbert le Bel.

Пятница. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Почему меня так чудовищно волнует детская — ведь попросту же детская — ее походка? Разберемся в этом. Чуть туповато ставимые носки. Какая-то разболтанность, продленная до конца шага в движении ног пониже колен. Едва намеченное пошаркивание. И все это бесконечно молодо, бесконечно распутно. Гумберта Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки и ее резкий высокий голос. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором через забор. Все это отзывалось во мне дребезжащим восходящим ритмом. Пауза. «А теперь мне пора, детка».

Суббота. (Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено.) Знаю, что писать этот дневник — безумие, но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие; да и кто же — кроме любящей жены — мог бы расшифровать мой микроскопический почерк? Позвольте же мне объявить со всхлипом, что нынче моя Л. принимала солнечную ванну на открытой веранде, но, увы, мать и какие-то другие дамы все время витали поблизости. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная, сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности.

Воскресенье. Зыбь жары все еще с нами; благодатнейшая неделя! На этот раз я занял стратегическое положение, с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке, заблаговременно. Увы, она пришла вместе с матерью. Они были в черных купальных костюмах, состоящих из двух частей и таких же новеньких, как моя трубка. Моя душенька, моя голубка на минуту остановилась подле меня — ей хотелось получить страницы юмористического отдела, — и от нее веяло почти тем же, что от другой, ривьерской, только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого — то был знойный душок, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила; но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты и отступила к своему половичку рядом с тюленеобразной маменькой. Там моя красота улеглась ничком, являя мне, несметным очам, широко разверстым у меня в зрячей крови, свои приподнятые лопатки, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, и выпуклости обтянутых черным узких ягодич, и пляжную изнанку отроческих ляжек. Третьеклассница молча наслаждалась зелено-красно-синими сериями рисунков. Более прелестной нимфетки никогда не снилось зелено-красно-синему Приапу. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света глядя на нее, собирая в фокус свое вожделение и чуть покачиваясь под прикрытием газеты, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу застывшей, я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало с одним из разнообразных движений, которые

читавшая девочка изредка делала, почесывая себе хребет и показывая чуть подтушеванную подмышку, но толстая Гейз вдруг все испортила тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить, после чего завела никчемный разговор о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи.

Понедельник. Delectatio morosa.

«Я провожу томительные дни
В хандре и грусти...»

Мы (матушка Гейз, Долорес и я) должны были ехать после завтрака на Очковое озеро и там купаться и валяться на песке; но перламутровое утро выродилось в дождливый полдень, и Ло закатали сцену.

Установлено, что средний возраст полового созревания у девочек в Нью-Йорке и Чикаго — тринадцать лет и девять месяцев; индивидуально же этот возраст колеблется между десятью (или меньше) и семнадцатью. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. «Мосье По-по», как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ.

У меня имеются все те черты, которые, по мнению экспертов по сексуальным интересам детей, возбуждают ответный трепет у девочек: чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то не то актера, не то гугнильца с гитарой, которым бредит Ло.

Вторник. Дождик. Никаких озер (одни лужи). Маменька уехала за покупками. Я знал, что Ло где-то близко. В результате скрытых маневров я набрел на нее в спальне матери. Оттягивала перед зеркалом веко, стараясь отделаться от соринки, попавшей в левый глаз. Клетчатое платице. Хотя я и обожаю этот ее опьяняющий каштановый запах, все же мне кажется, что ей бы следовало кое-когда вымыть волосы. На мгновение мы оба заплывали в теплой зелени зеркала, где отражалась вершина тополя вместе с нами и небом. Подержал ее грубовато за плечи, затем ласково за виски и повернул ее к свету.

«Оно вот здесь», сказала она, «я чувствую»...

«Швейцарская кокрестьянка кокончиком языка»...

«...Вылизала бы?»

«Имно. Попробать?»

«Конечно, попробуйте».

Нежно я провел трепещущим жалом по ее вращающемуся соленому главному яблоку.

«Вот здорово», сказала она, мигая, «все ушло».

«Теперь второй глаз».

«Глупый вы человек», начала она, «там ровно —». Но тут она заметила мои собранные в пучок приближающиеся губы и покладисто сказала: «Окэй».

Наклонившись к ее теплоте, приподнятому, рыжевато-розовому лицу, сумрачный Гумберт прижал губы к ее бьющемуся веку. Она усмехнулась и, платьем задев меня, быстро вышла из комнаты. Я чувствовал, будто мое сердце бьется всюду одновременно. Никогда в жизни — даже когда я ласкал ту девочку на Ривьере — никогда. —

Ночь. Никогда я не испытывал таких терзаний. Мне бы хотелось описать ее лицо, ее движения — а не могу, потому что, когда она вблизи, моя же страсть к ней ослепляет меня. Чорт побери — я не привык к обществу нимфеток! Если же закрываю глаза, вижу всего лишь

застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака. «Долорес Гейз, нэ муонтрэ па вуа жямб» (это говорит ее мать, думающая, что знает по-французски).

Будучи à mes heures поэтом, я посвятил мадригал черным, как сажа, ресницам ее бледно-серых, лишенных всякого выражения глаз, да пяти асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, да белесому пушку на ее коричневых членах; но я разорвал его и не могу его ныне припомнить. Только в банальнейших выражениях (возвращаемся тут к дневнику) удалось бы мне описать черты моей Ло: я мог бы сказать, например, что волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец, причем нижняя очаровательно припухлая — ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки. Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки — всякой, быть может, нимфетки: эта смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок и напоминающей мне мутно-розовых несовершеннолетних горничных у нас в Европе (пахнущих крошеной ромашкой и потом), да тех очень молоденьких блудниц, которых переодевают детьми в провинциальных домах терпимости. Но в придачу — в придачу к этому мне чутся неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть. Боже мой, Боже мой... И наконец — что всего удивительнее — она, *эта* Лолита, моя Лолита, так обособила древнюю мечту автора, что надо всем и несмотря ни на что существует только — Лолита.

Среда. «Заставьте-ка маму повести нас (нас!) на Очковое озеро завтра». Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях — я выходил, она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно-белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля. От листвы пышного ильма падали мягко переливающиеся тени на досчатую стену дома. Два тополя зыблились и покачивались. Ухо различало бесформенные звуки далекого уличного движения. Чей-то детский голос звал: «Нанси! Нан-си!» В доме Лолита поставила свою любимую пластинку «Малютка Кармен», которую я всегда называл «Карманная Кармен», от чего она фыркала, притворно глумясь над моим притворным остроумием.

Четверг. Вчера вечером мы сидели на открытой веранде — Гейзиха, Лолита и я. Сгущались теплые сумерки, переходя в полную неги ночь. Старая дурында только что кончила подробно рассказывать мне содержание кинокартины, которую она и Ло видели полгода назад. Очень уже опустившийся боксер наконец знакомится с добрым священником (который сам когда-то, в крепкой своей юности, был боксером и до сих пор мог кулаком свалить грешника). Мы сидели на подушках, положенных на пол; Ло была между мадам и мной (сама втиснулась — звереныш мой). В свою очередь я пустился в уморительный пересказ моих арктических приключений. Муза вымысла протянула мне винтовку, и я выстрелил в белого медведя, который сел и охнул. Между тем я остро ощущал близость Ло, и пока я говорил и жестикулировал в милосердной темноте, я пользовался невидимыми этими жестами, чтобы тронуть то руку ее, то плечо, то куклу-балерину из шерсти и кисеи, которую она тормозила и все сажала ко мне на колени; и наконец, когда я полностью опутал мою жаром пышущую душеньку этой сетью бесплотных ласок, я посмел погладить ее по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени, и я смеялся

собственным шуткам, итрепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло ее близких кудрей, тыкаясь к ней со смешными апарте в быстрых скобках и лаская ее игрушку. Она тоже очень много ерзала, так что в конце концов мать ей резко сказала перестать возиться, а ее куклу вдруг швырнула в темноту, и я все попохатывал и обращался к Гейзихе через ноги Ло, причем моя рука ползла вверх по худенькой спине нимфетки, нащупывая ее кожу сквозь ткань мальчишеской рубашки.

Но я знал, что все безнадежно. Меня мутило от вожделения, я страдал от тесноты одежд, и был даже рад, когда спокойный голос матери объявил в темноте: «А теперь мы считаем, что Ло пора идти спать». «А я считаю, что вы свинюги», сказала Ло. «Отлично, значит, завтра не будет пикника», сказала Гейзиха. «Мы живем в свободной стране», сказала Ло. После того что сердитая Ло, испустив так называемое «Бронксовое ура» (толстый звук тошного отвращения), удалилась, я по инерции продолжал пребывать на веранде, между тем как Гейзиха выкуривала десятую за вечер папиросу и жаловалась на Ло.

Ло, видите ли, уже выказывала злость, когда ей был всего один год и она, бывало, из кровати кидала игрушки через боковую сетку так, чтобы бедной матери этого подлого ребенка приходилось их подбирать! Ныне, в двенадцать лет, это прямо бич Божий, по словам Гейзихи. Единственное о чем Ло мечтает — это дрыгать под джазовую музыку или гарцевать в спортивных шествиях, высоко поднимая колени и жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие, но все же оказалась лучше приспособленной к школьному быту на новом месте, чем в Писки (Писки был их родной город в средней части Соединенных Штатов; рамздэльский же дом раньше принадлежал покойной свекрови; в Рамздэль они переехали около двух лет тому назад). «Отчего Ло была несчастна в той первой школе?» «Ах», сказала вдова, «мне ли не знать. Я, бедная, сама прошла через это в детстве: ужасны эти мальчишки, которые выкручивают тебе руку, нарочно влетают в тебя с кипой книг, дергают за волосы, больно щиплют за грудь, стараются задрать тебе юбку. Конечно, капризность является сопутствующим обстоятельством нормального развития, но Ло переходит всякие границы. Она хмурая и изворотливая. Ведет себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, итальяночка у нее в классе, жаловалась, что Лолита ее кольнула в зад самопишущим пером. Знаете», сказала Гейзиха, «чего бы мне хотелось? Если бы вы, monsieur, случайно еще были здесь осенью, я бы вас попросила помочь ей готовить уроки — мне кажется, вы знаете буквально все — географию, математику, французский». «Все, все», ответил monsieur. «Ага», подхватила Гейзиха, «значит, вы еще будете здесь?» Я готов был крикнуть, что я бы остался навеки, если я мог бы надеяться изредка понежить обещанную ученицу. Но я не доверял Гейзихе. Поэтому я только хмыкнул, потянулся, и, не желая долее сопутствовать ее обстоятельности (le mot juste), вскоре ушел к себе в комнату. Но вдовушка, видимо, не считала, что день окончился. Я покоился на своем холодном ложе, прижимая к лицу ладонь с душистой тенью Лолиты, когда услышал, как моя неугомонная хозяйка крадется к двери и сквозь нее шепчет: «только хочу знать, кончили ли вы „Взгляд и Вдох“?» (иллюстрированный журнал, на днях мне одолженный). Из комнаты дочки раздался вопль Ло: журнал был у нее. Чорт возьми — не дом, а прокатная библиотека.

Пятница. Интересно, что сказал бы солидный директор университетского издательства, в котором выходит мой учебник, если бы я в нем привел выражение Ронсара насчет «маленькой аленькой щели» или строчки Реми Бэлло: «тот холмик небольшой, мхом нежным опушенный, с пунцовой посреди чертою проведенной» — и так далее. Боюсь, опять заболею нервным расстройством, если останусь жить в этом доме, под постоянным напором невыносимого соблазна, около моей душеньки — моей и Эдгаровой душеньки — «моей жизни, невесты моей». Посвятила ли ее уже мать-природа в Тайну Менархии? Ощущение раздутости. «Проклятие», как называют это ирландки... Иносказательно: «падение с крыши» или «гостит бабушка». «Госпожа

Матка (цитирую из журнала для девочек) начинает строить толстую мягкую перегородку — пригодится, если внутри ляжет ребеночек». Крохотный сумасшедший в своей обитой войлоком палате для буйных.

Между прочим: если когда-нибудь я совершу всерьез убийство — отметьте это «если» — позыв потребовался бы посильнее, чем тот, который я испытал по отношению к Валерии. Тщательно отметьте, что тогда я действовал довольно бестолково. Когда вам захочется — если захочется — жарить меня на электрическом стуле, имейте в виду, пожалуйста, что только припадок помешательства мог наделить меня той примитивной энергией, без которой нельзя превратиться в зверя (возможно, что все это место подправлено по сравнению с дневничком). Иногда я во сне покушаюсь на убийство. Но знаете, что случается? Держу, например, пистолет. Целюсь, например, в спокойного врага, проявляющего безучастный интерес к моим действиям. О да, я исправно нажимаю на собачку, но одна пуля за другой вяло выкатывается на пол из придурковатого дула. В этих моих снах у меня лишь одно желание — скрыть провал от врага, который, однако, медленно начинает сердиться.

Сегодня за обедом старая ехидна, искося блеснув косым, по-матерински насмешливым взглядом на Ло (я только что кончил описывать в шутиливом тоне прелестные усики щеточкой, которые почти решил отпустить), сказала: «Лучше не нужно, иначе у кого-то совсем закружится головка». Ло немедленно отодвинула свою тарелку с вареной рыбой, чуть не опрокинув при этом стакан молока, и метнулась вон из столовой. «Вам было бы не слишком скучно», проговорила Гейзиха, «завтра поехать с нами на озеро купаться, если Ло извинится за свою выходку?»

Некоторое время спустя ко мне в комнату донеслось гулкое дверное бухание и другие звуки, исходившие из каких-то содрогавшихся недр, где у соперниц происходила яростная ссора.

Она не извинилась. Поездка отменена. А ведь могло бы быть забавно.

Суббота. Вот уже несколько дней, как оставляю дверь приоткрытой, когда у себя работаю; но только сегодня уловка удалась. Со многими ужимками, шлепая и шаркая туфлями (с целью скрыть смущение, что вот посетила меня без зова), Ло вошла и, повертевшись там и сям, стала рассматривать кошмарные завитушки, которыми я измарал лист бумаги. О нет — то не было следствием вдохновенной паузы эссеиста между двумя параграфами; то была гнусная тайнопись (которую понять она не могла) моего рокового вожделения. Ее русые локоны склонились над столом, у которого я сидел, и Хумберт Хриплый обнял ее одной рукой — жалкое подражание кровному родству. Держа лист и продолжая его изучать чуть-чуть близорукими глазами, моя наивная маленькая гостья медленно полуприсела ко мне на колено. Ее прелестный профиль, приоткрытые губы, теплые волосы были в каких-нибудь трех вершках от моего ощеренного резца, и сквозь грубоватую ткань мальчишеской одежды я чувствовал жар ее тела. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью — понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Голливуда. Это так же просто, как двойная порция сливочного мороженого с горячим шоколадным соусом. Не могу объяснить моему ученому читателю (брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь), каким образом я это понял; может быть, звериным чутьем я уловил легчайшую перемену в ритме ее дыхания, ибо теперь она уже не столько разглядывала мою мазню — о моя прозрачная нимфетка! — сколько ждала с тихим любопытством, чтобы произошло именно то, чего до смерти хотелось обаятельному квартиранту. Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец — Поздно! Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой

Луизы, докладывающей госпоже Гейз, которая только что вернулась, о каком-то мертвом зверьке, найденном ею и Томсоном (соседским шофером) в подвале — и, конечно, моя Лолиточка не могла пропустить такой интересный случай.

Воскресенье. Она переменчива, она капризна, она угловата, она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног (отдаю всю Новую Англию за перо популярной романистки!) — начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры (куда ее лягнул роликовым коньком мальчишка в Писки), как раз над уровнем белого шерстяного носка. Она только что отправилась с мамашей к Гамильтонам — празднование дня рождения подруги, что ли. Бумажное платье в клетку с широкой юбкой. Грудки, кажется, уже хорошо оформились. Как ты спешишь, моя прелесть!

Понедельник. Дождливое утро. «Ces matins gris si doux...!»^[38]

На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дергает ту или другую нить. Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дергаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда; я только что слышал прерывистый треск поворачивающегося туалетного ролика; но закинутое мной слуховое волоконец не проследило шагов из ванной обратно к ней в комнату. Может быть, она все еще чистит зубы (единственное гигиеническое действие, которое Лолита производит с подлинным рвением). Нет. Дверь ванной только что хлопнула; значит, надобно пошарить дальше по дому в поисках дивной добычи. Давай-ка пущу шелковую нить на нижний этаж. Этим путем убеждаюсь, что ее нет на кухне, что она, например, не затворяет с грохотом дверцу рефрижератора, не шипит на ненавистную мать (которая, полагаю, наслаждается третьим с утра воркотливым, сдержанно-веселым разговором по телефону). Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. Как луч, проскальзываю в гостиную и устанавливаю, что радио молчит (между тем как мамаша все еще говорит с миссис Чатфильд или миссис Гамильтон, очень приглушенно, улыбаясь, рдея, прикрывая ладонью свободной руки трубку, отрицая и намекая, что не совсем отрицает забавные слухи о квартиранте, ах, перестаньте, и все это нашептывая так задушевно, как никогда не делает она, эта отчетливая дама, в обыкновенной беседе). Итак, моей нимфетки просто нет в доме! Упорхнула! Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной, дом пуст, дом мертв. Вдруг — сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты: «Не говорите маме, но я съела весь ваш бекон». Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. Лолита, где ты? Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный хозяйкой и ждущий, чтобы я его внес с порога в постель, глядит на меня, беззубо осклабясь. Лола! Лолита!

Вторник. Опять тучи помешали пикнику на — недосыгаемом — озере. Или это кознедействует Рок? Вчера я примерял перед зеркалом новую пару купальных трусиков.

Среда. Сегодня Гейзиха, в тайёре, в башмаках на низких каблуках объявила, что едет в город купить подарки для приятельницы подруги, и предложила мне присоединиться, потому что я, мол, так чудно понимаю в материях и духах. «Выберите ваше любимое обольщение», промурлыкала она. Как мог уклониться Гумберт, будучи хозяином парфюмерной фирмы? Она загнала меня в тупик — между передним крыльцом и автомобилем. «Поторопитесь!», крикнула она, когда я стал чересчур старательно складывать свое крупное тело, чтобы влезть в машину (все еще отчаянно придумывая, как бы спастись). Она уже завела мотор и приличными даме словами принялась проклинать пятившийся и поворачивавший грузовик, который только что привез ледащей старухе напротив новенькое кресло на колесах; но тут резкий голосок моей Лолиты раздался из окна гостиной: «Эй, вы! Куда вы? Я тоже еду! Подождите меня!» — «Не

слушайте!» взвизгнула Гейзиха (причем нечаянно остановила мотор). Между тем, на беду моей прекрасной автомедонше, Ло уже теребила ручку двери, чтобы взлезть с моей стороны. «Это возмутительно», начала Гейзиха, но Ло уже втиснулась, вся трепеща от удовольствия. «Подвиньте-ка ваш зад», обратилась она ко мне. «Ло!» воскликнула Гейзиха (покосившись на меня в надежде, что прогоню грубиянку). «Ло-барахло», сказала Ло (не в первый раз), дернувшись назад, как и я дернулся, оттого что автомобиль ринулся вперед. «Совершенно недопустимо», сказала Гейзиха, яростно переходя во вторую скорость, «чтобы так хамила девчонка. И была бы так навязчива. Ведь она отлично знает, что лишняя. И при том нуждается в ванне».

Суставами пальцев моя правая рука прилегалa к синим ковбойским штанам девчонки. Она была босая, ногти на ногах хранили следы вишневого лака, и поперек одного из них, на большом пальце, шла полоска пластыря. Боже мой, чего бы я не дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокостным, длиннопалым, обезьяньим ногам! Вдруг ее рука скользнула в мою, и без ведома нашей дуэньи я всю дорогу до магазина держал и гладил, и тискал эту горячую лапку. Крылья носа у нашей марленообразной шоферши блестели, потеряв или спалив свою порцию пудры, и она, не переставая, вела изящный монолог по поводу городского движения, и в профиль улыбалась, и в профиль надувала губы, и в профиль хлопала крашеными ресницами; я же молился — увы, безуспешно, — чтобы мы никогда не доехали.

Мне больше нечего сообщить, кроме того, что, во-первых, собравшись домой, большая Гейзиха велела маленькой сесть сзади, а во-вторых, что она решила оставить выбранные мной духи для мочек своих собственных изящных ушей.

Четверг. Мы расплачиваемся бурей и градом за тропическое начало месяца. В одном из томов «Энциклопедии для Юношества» я нашел карту Соединенных Штатов и листок тонкой бумаги с начатым детской рукой абрисом этой карты; а на обратной стороне, против неоконченных очертаний Флориды, оказалась мимеографическая копия классного списка в Рамздэльской гимназии. Это лирическое произведение я уже знаю наизусть.

Анджель, Грация
Аустин, Флойд
Байрон, Маргарита
Биэль, Джэк
Биэль, Мэри
Бук, Даниил
Вилльямс, Ральф
Виндмюллер, Луиза
Гавель, Мабель
Гамильтон, Роза
Гейз, Долорес
Грац, Розалина
Грин, Луцинда
Гудэйль, Дональд
Дункан, Вальтер
Камель, Алиса
Кармин, Роза
Кауан, Джон
Кауан, Марион
Кларк, Гордон

Мак-Кристал, Вивиан
Мак-Ку, Вирджиния
Мак-Фатум, Обрэй
Миранда, Антоний
Миранда, Виола
Найт, Кеннет
Розато, Эмиль
Скотт, Дональд
Смит, Гэзель
Тальбот, Эдвин
Тальбот, Эдгар
Уэн, Лулл
Фальтер, Тэд
Фантазия, Стелла
Флейшман, Моисей
Фокс, Джордж
Чатфильд, Филлис
Шерва, Олег
Шеридан, Агнеса
Шленкер, Лена

Поэма, суцая поэма! Так странно и сладко было найти эту «Гейз, Долорес» (ее!) в живой беседе имен, под почетным караулом роз, стоящую, как сказочная царевна, между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать щекотку восторга, которую я почувствовал в становой хребте при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня — до слез (горячих, опаловых, густых слез, проливаемых поэтами и любовниками) — что именно? Нежная анонимность под черным кружевом мантильи («Долорес»)? Отвлеченность перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару длинных черных перчаток или маску? Не в этом ли слове «маска» кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки. Вижу Грацию Анджель и ее спелые прыщики; Джинни Мак-Ку и ее отсталую ногу; Кларка, изнуренного онанизмом; Дункана, зловонного шута; Агнесу с ее изгрызанными ногтями; Виолу с угреватым лицом и упругим бюстом; хорошенькую Розалину; темноволосую Розу; очаровательную Стеллу, которая дает себя трогать чужим мужчинам; Вильямса, задиру и вора; Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. А вот среди них — она, потерянная в их толпе, сосущая карандаш, ненавидимая наставницами, съедаемая глазами всех мальчишек, направленными на ее волосы и шею, моя Лолита.

Пятница. Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении. О грандиозном взрыве. Ее мать неопратно, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобожденный, я обладаю ею среди развалин. Ее удивление. Мои объяснения. Наглядные примеры, сопровождаемые животными звуками. Все это досужие, дурацкие вымыслы! Не будь Гумберт трусом, он бы мог потешиться ею мерзейшим образом (воспользовавшись ее посещениями — вчера, например, когда она снова была у меня, показывала свои рисунки — образцы школьного искусства). Гумберт Смелый мог бы предложить ей взятку без всякого

риска. Человек же попроще — и попрacticнее — здраво удовлетворился бы коммерческими эрзацами, но для этого нужно знать, куда обратиться, а я не знаю. Несмотря на мужественную мою наружность, я ужасно робок. Моя романтическая душа вся трясется от какого-то липкого озноба при одной мысли, что можно нарваться на грязную ужасную историю. Вспоминаются мне похабные морские чудовища, кричавшие «*Mais allez-y, allez-y!*»^[39], Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики; и я, в тошной ярости, пытающийся ее заслонить.

То же число, но позже, гораздо позже. Я зажег свет — хотелось записать сон. Происхождение его мне ясно. За обедом Гейзиха изволила объявить, что поскольку метеорологическое бюро обещает солнце на конец недели, мы поедем на озеро в воскресенье после церкви. Лежа в постели и перед сном распаляя себя мечтами, я обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий пикник. Я вполне отдавал себе отчет в том, что мамаша Гейз ненавидит мою голубку за ее увлечение мной. Я замышлял так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там в перелеске — и немедленно углублюсь в чашу с моей нимфеткой. Тут явь стушевалась, и поход за очками на Очковом озере превратился в тихую маленькую оргию со странно опытной, веселенькой и покладистой Лолитой, ведущей себя так, как мой разум знал, что она отнюдь не могла бы себя вести в действительности. На заре я проглотил снотворную пилюлю и увидел сон, оказавшийся не столько продолжением, сколько пародией моего мечтания. Я увидел с многозначительной ясностью озеро, которого я никогда еще не посещал: оно было подернуто пеленой изумрудного льда, в котором эскимос с выщербленным оспой лицом тщетно старался киркой сделать прорубь, хотя по щебеночным его берегам цвели импортные олеандры и мимозы. Не сомневаюсь, что доктор Биянка Шварцман вознаградила бы меня целым мешком австрийских шиллингов, ежели бы я прибавил этот либидосон к ее либидосье. К сожалению, остальная его часть была откровенно эклектической. Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подсказывая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух — небольшое упущение, плод рассеянности режиссера сна.

Суббота. Сердце у меня все еще колотится. Я все еще извиваюсь и тихонько мычу от вспоминаемой неловкости.

Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками. Перегнувшись через подоконник, она обрывает машинально листья с тополя, достигающего до окна, увлеченная стремительной беседой с мальчиком, разносящим газеты (кажется, Кеннет Найт), который стоит внизу, только что пустив свернутый «Рамздэль Джорнал» звучным, точно рассчитанным швырком на ступень нашего крыльца. Я начал к ней подкрадываться «искалеченной караморой», как выражаются пантомимисты. Мои конечности были выгнутыми поверхностями, между которыми — скорее, чем на которых — я медленно подползал, пользуясь каким-то нейтральным средством передвижения: Подбитый паук Гумберт. Мне потребовалось Бог знает сколько времени, чтобы добраться до нее. Я ее видел как бы через суживающийся конец подзорной трубы и к ее тугому задку приближался, как паралитик с бескостными, вывороченными членами, движимый ужасным напряжением воли. Наконец я оказался как раз позади нее; но тут мне явилась несчастная мысль — выказать мнимое озорство — потряхнуть ее за шиворот, что ли, — дабы скрыть свою настоящую игру, и она кратко и визгливо сказала: «Отстаньте!» (что было прегрубо), — и, жутко осклабясь, Гумберт Смиранный отступил, меж тем как дрянная девчонка продолжала верещать, склоняясь над улицей.

Но теперь послушайте, что произошло потом. После завтрака я полулежал в низком садовом кресле, пытаясь читать. Вдруг две ловкие ладошки легли мне на глаза: это она

подкралась сзади, как бы повторяя, в порядке балетных сцен, мой утренний маневр. Ее пальцы, старавшиеся загородить солнце, просвечивали кармином, и она судорожно хохотала и дергалась так и сяк, пока я закидывал руку то в сторону, то назад, не выходя при этом из лежачего положения. Я проезжал рукой по ее быстрым и как бы похотывающим ногам, и книга соскользнула с меня, как санки, и мистрис Гейз, прогуливаясь, подошла и снисходительно сказала: «А вы просто шлепните ее хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях. Как я люблю этот сад», продолжала она без восклицательного знака. «А это солнце, разве это не рай» (вопросительный знак тоже отсутствует). И со вздохом притворного блаженства несносная дама опустила на траву и загляделась на небо, опираясь на распяленные за спиной руки, и вдруг старый серый теннисный мяч прыгнул через нее, и из дома донесся несколько надменный голос Лолиты: «Pardonne, maman. Я не в тебя метила». Разумеется, нет, моя жаркая, шелковистая прелесть!

12

На этом кончались записи в дневнике.

Из них следует, что, несмотря на всю изобретательность дьявола, схема была ежедневно та же: он начинал с того, что соблазнял меня, а затем перечил мне, оставляя меня с тупой болью в самом корне моего состава. Я знал точно, что я хотел сделать и как это сделать, не нарушая чистоты маленькой девочки. В конце концов у меня уже был некоторый опыт за долгие годы обращения с собственной манией. Мне случалось вприглядку обладать испещренными светотенью нимфетками в публичных парках; случалось протискиваться с осмотрительностью гнусного сластолюбца в тот теснейший теплейший конец городского автобуса, где повисала на ремнях орава школьниц. Но теперь, в продолжение почти трех недель, всем моим жалким ухищрениям чинились препятствия. Виновницей этих препон бывала обычно Гейзиха (которая, да отметит читатель, скорее опасалась, как бы Лолита не получила удовольствия от общения со мной, чем того, чтобы я наслаждался Лолитой). Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой нимфетке — к первой в жизни нимфетке, до которой я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями — меня бы несомненно загнала опять в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно мне дать небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему еще послужил игральцем.

Читатель также заметил и другое: занятный мираж озера. Было бы логично со стороны мистера Мак-Фатума (как хочу наречь моего дьявола) приготовить мне небольшой гостинец на обетованном бережку, в предусмотренном сосняке. На самом-то деле в затее Гейзихи крылся подвох: она не предупредила меня, что Розочка Гамильтон (прехорошенькая смуглянка) тоже поедет на пикник и что нимфетки будут шептаться в сторонке, и играть в сторонке, и веселиться совершенно отдельно от нас — между тем как мистрис Гейз и ее красавец жилец будут чинно беседовать в полураздетом виде вдали от любопытных глаз. Глаза все же подсматривали и языки болтали.

Что за диковинная штука — жизнь! Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить. Перед моим приездом моя хозяйка предполагала позвать старую деву, по имени Фален (ее мать когда-то служила у Гейзихи в семье кухаркой), чтобы та поселилась с Лолитой и мной, между тем как сама хозяйка, конторщица по натуре, нашла бы себе службу в большом городе. Она представила себе все устройство очень ясно: въезжает сутулый, в очках, герр Гумберт со своими среднеевропейскими сундуками и принимается обрастать пылью в дебрях дома, заслонившись грудой ветхих книг; никем не любимая неказистая дочка находится под строгим присмотром мисс Фален, которая однажды, в 1944

году, уже имела Ло под своим канючим крылом (Ло вспоминала то лето с дрожью возмущения), а мистрис Гейз служит в элегантной фирме. Но довольно незамысловатое происшествие помешало выполнению плана: мисс Фален сломала себе бедро в Саванне (Джоржия) в самый день моего прибытия в Рамздэль.

Воскресный день, после уже описанной субботы, выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака (его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно), я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепанных ночных туфлях (единственное, что есть у меня потрепанного), прислушался и выяснил следующее.

Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у ее дочери «температура». Мистрис Гейз сообщила своей дочке, что, значит, пикник придется отложить. Пылкая маленькая Гейз сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала: «Отлично» — и уехала одна.

На площадку я вышел сразу после бритья, с мылом в ушах, все еще в белой пижаме с васильковым (не лиловым) узором на спине. Я немедленно стер мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шелковый халат и, нервно напевая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты.

Хочу, чтобы мои ученые читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть; хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод — если к нему отнестись с «беспристрастной симпатией», как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнем. Передо мной — нелегкая задача.

Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залитая солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки (покойный Гарольд Е. Гейз — царствие небесное добряку! — зачал мою душеньку в час сизэсты, в комнате с голубыми стенами, во время свадебного путешествия в Вера Круз, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес). На ней было в тот день прелестное ситцевое платьице, которое я уже однажды видел, розовое, в темно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции, она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски-румяное яблоко. Только носочки и шлепанцы были невыходные. Ее белая воскресная сумка лежала брошенная подле граммофона.

Сердце у меня забилося барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, опала) и стала играть глянцевитым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук.

Гумберт Гумберт перехватил яблоко.

«Отдайте!» взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. Я возвратил «Золотое Семечко». Она его схватила и укусила, и мое сердце было как снег под тонкой алой кожей, и с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл (жаль, что никто не запечатлел на киноплёнке любопытный узор, вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений). Держа в одной руке изуродованный плод, несколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту. Наконец нашла. Изображая интерес, я так близко придвинул к ней

голову, что ее волосы коснулись моего виска и голая ее рука мимоходом задела мою щеку, когда она запястьем отерла губы. Из-за мреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображенный в журнале снимок, я не сразу реагировал на него, и ее колени нетерпеливо потерлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман: известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним, тоже навзничь, гипсовый слепок с Венеры Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила: Замечательнейшая за Неделю Фотография. Я молниеносно отнял у нее мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени.

К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием; но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему сидя на диване, я нашел способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к ее наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете — и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, — я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперек нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попало нечто механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год — О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там.... и гитары, и бары, и фары, тратам — автоматический вздор, возобновлением и искажением которого — то есть особыми чарами косноязычия — я околдовывал мою Кармен и все время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось все мое существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарабары и бары постепенно перенимались ею: ее голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальна, она была налита яблочной сладостью. Ее ноги, протянутые через мое живое лоно, слегка ерзали; я гладил их. Так полулежала она, развась в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколотки носке о кипу старых журналов, нагроможденных слева от меня на диване — и каждое ее движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение — между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платице.

Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волоски, легонько ерошившиеся вдоль ее голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется... Но вот, она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истребленного яблока в камин, причем ее молодая тяжесть, ее бесстыдные невинные бедра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряженному, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела. То, что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который *теперь*

достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности — состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на нее розовую, в золотистой пыли, на нее, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему, и солнце играло у нее на губах, и губы ее все еще, видимо, составляли слова о «карманной Кармене», которые уже не доходили до моего сознания. Теперь все было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнет его. Я был выше смехотворных злоключений, я был вне досягаемости кары. В самодельном моем серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладываяющим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приемами в литературе и музыке), я все повторял за Лолитой случайные, нелепые слова — Кармен, карман, кармин, камин, аминь, — как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия. Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: «Смотри, смотри, что ты наделала, ах смотри!» — ибо, клянусь, был желтоватый синяк на ее прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массировала и медленно обхватывала, — и так как панталончики у нее были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулисту большому пальцу добраться до горячей впадинки ее паха — как вот, бывает, щекочешь и ласкаешь похохатывающего ребенка — вот так и только так, и в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: «Ах, это пустяк!» и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестящую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до ее голой шеи, покаместь я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским.

Тотчас после этого (точно мы до того боролись, а теперь моя хватка разжалась) она скатилась с тахты и вскочила на ноги — вернее, на одну ногу, — для того чтобы схватить трубку оглушительно громкого телефона, который, может быть, уже век звонил, пока у меня был выключен слух. Она стояла и хлопала ресницами, с пылающими щеками, с растрепанными кудрями, и глаза ее скользили по мне, так же как скользили они по мебели, и пока она слушала или говорила (с матерью, приказывающей ей явиться к Чатфильдам, пригласившим обеих к завтраку — причем ни Ло, ни Гум не знали еще, что несносная хлопотунья замышляла), она все постукивала по краю телефонного столика туфлей, которую держала в руке. Слава тебе Боже, девчонка ничего не заметила.

Вынув многоцветный шелковый платок, на котором ее блуждающий взгляд на миг задержался, я стер пот со лба и, купаясь в блаженстве избавления от мук, привел в порядок свои царственные ризы. Она все еще говорила по телефону, торгуясь с матерью (Карменситочка хотела, чтобы та за ней заехала), когда, все громче распевая, я взмахнул по лестнице и стал наполнять ванну бурливым потоком исходившей паром воды.

Тут позволю себе заодно привести слова вышеупомянутой модной песенки или, по крайней мере, то из нее, что мне запомнилось — я, кажется, никогда не знал ее по-настоящему. Так вот:

О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там
Таратам — таратунные струи фонтана,
И гитары, и бары, и фары, тратам,
И твои все измены, гитана!

И там город в огнях, где с тобой я бродил,
И последнюю ссору тарам — таратуя,
И ту пулю, которой тебя я убил,
Кольт, который — траторы — держу я...

(Выхватил, верно, небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб.)

14

Я позавтракал в городе — давно не был так голоден. Когда вернулся, дом был еще безлолитен. Я провел день в мечтах, в замыслах, в блаженном усваивании моего утреннего переживания.

Я был горд собой: я выкрал мед оргазма, не совратив малолетней. Ровно никакого урона. Фокусник налил молока, патоки, пенистого шампанского в новую белую сумочку молодой барышни — раз, два, три и сумка осталась неповрежденной. Так, с большой изощренностью, я вознес свою гнусную, жгучую мечту; и все же Lolita уцелела — и сам я уцелел. То существо, которым я столь неистово наслаждался, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Lolitой — быть может, более действительной, чем настоящая; перекрывающей и заключающей ее; плывущей между мной и ею; лишенной воли и самознания — и даже всякой собственной жизни.

Девочка ничего не почуяла. Я ничего не сделал ей. И ничто не могло мне помешать повторить действие, которое затронуло ее так же мало, как если бы она была фотографическим изображением, мерцающим на экране, а я — смиренным горбуном, онанирующим в потемках. День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые соком дерева, казалось, были посвящены в тайну.

Желание опять притереться к ней начинало еще сильнее, чем прежде, терзать меня. «Пусть она скоро вернется» — молился я про себя, обращаясь к заемному Богу — «и пускай, пока мамаша на кухне, повторится сцена тахты — пожалуйста! — я так мерзко обожаю ее!»

Нет, «мерзко» не то слово. Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было не мерзким, а жалким. Жалким — ибо невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был, с искреннейшим рвением и предусмотрительностью, оградить чистоту этого двенадцатилетнего ребенка.

А теперь полюбуйте вознаграждением, полученным мной за страдания. Lolita не вернулась с матерью — пошла с Чатфильдами в кино. Обеденный стол оказался накрытым на двоих, с особым изяществом: горели настольные свечи (скажите пожалуйста). В этой жеманной ауре Гейзиха легонько потрагивала серебро по обеим сторонам тарелки, как бы касаясь клавиш, и улыбалась пустой своей тарелке (соблюдала диету), и спрашивала, нравится ли мне салат (сделанный по рецепту, вычитанному из дамского журнала). Хотела тоже знать, по вкусу ли мне холодная говядина. Говорила, что день провела преприятно. Прекрасный человек — эта мистрис Чатфильд. Филлида (дочка) едет завтра в летний лагерь для девочек. На три недельки. Решено Lolitu отправить туда же в ближайший четверг. Вместо того, чтобы ждать до июля, как было

намечено сначала. Пробудет там дольше Филлиды. До самого начала школьных занятий. Хорошенькая перспектива, бедное мое сердце!

Ах, как это меня потрясло! Ведь это значило, что мою душеньку у меня отнимают как раз, когда я втайне сделал ее своей. Чтобы объяснить мрачное настроение, овладевшее мной, мне пришлось сослаться на ту же зубную боль, которую я уже симулировал утром. Зуб, верно, был коренной, громадный, с нарывом величиной с компотную вишню.

«У нас тут в городе», сказала Гейзиха, «есть отличный дантист. А именно наш сосед, доктор Куильти, родственник известного драматурга. Вы думаете, пройдет? Ну, как желаете. Осенью ей будет посажена на передние зубы „цепка“, как говаривала моя мать. Может быть, это обуздает нашу Лолиточку. Боюсь, она вам ужасно мешала все эти дни. И я предвижу два-три довольно бурных денька, до того как она отбудет. Она сперва решительно отказалась ехать, и, признаюсь, я оставила ее у Чатфильдов, оттого, что боюсь с ней оставаться с глазу на глаз, пока она в таком настроении. Кино, может быть, ее умиротворит. Филлида — чудная девчурка, и нет никакой причины Лолите недолюбливать ее. Право, мосье, я всей душой сочувствую вашей зубной боли. Было бы куда разумнее разрешить мне снести с Айвором Куильти первым делом завтра утром, если будет еще болеть. И вы знаете, я считаю, что летний лагерь настолько полезнее для девчонки — настолько осмысленнее, как я всегда говорю, чем бить баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы губной карандаш, да мешать застенчивому джентльмену заниматься, да еще закатывать сцену по всякому ничтожнейшему поводу».

«А вы совсем уверены», проговорил я наконец (придумав слабое, плачевно слабое возражение), «что она там не будет несчастна?»

«Пускай только попробует быть несчастной. Впрочем, жизнь там вовсе не состоит из сплошного развлечения. Лагерем руководит Шерли Хольмс — слышали, наверное, — написала книгу, называется „Школьницы у костра“. Лагерная жизнь поможет Долорес Гейз развиваться во многих смыслах — в смысле здоровья, характера, образования и особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмем эти свечи и перейдем на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и принять что-нибудь для облегчения боли?»

Принять что-нибудь для облегчения боли...

На другой день они отправились в город покупать нужные для лагерного лета вещи. Всякая обновка действовала на Ло волшебным образом. За обедом она, казалось, вернулась к своей обычной насмешливой норме. Сразу после обеда она пошла к себе, чтобы погрузиться в книжки-комиксы, приобретенные для дождливых дней в «Кувшинке» — или «Ку», как сокращенно называли лагерь: она так основательно пересмотрела их до отъезда, что потом не взяла их с собой.

Я отправился тоже в свое логовище и сел писать письма. Мой план теперь был поехать к морю, а затем, к началу учебного года, возобновить свое пребывание в Гейзовском доме, ибо я уже знал, что не могу жить без этой девочки.

Во вторник они снова ходили за покупками, и мне было поручено подойти к телефону, если начальница лагеря позвонила бы в их отсутствие. Действительно, она позвонила, и несколько недель спустя у нас с ней был случай вспомнить нашу приятную беседу. В этот вторник Ло обедала у себя в комнате. Повздорив опять с матерью, она с час прорыдала и теперь, как бывало и раньше, не хотела явиться передо мной с заплаканными глазами: при особенно нежном цвете лица, черты у нее после бурных слез расплывались, припухали — и становились болезненно соблазнительными. Ее ошибочное представление о моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обожаю этот оттенок Боттичеллиевой

розовости, эту яркую кайму вдоль воспаленных губ, эти мокрые, свалявшиеся ресницы, а кроме того, ее застенчивая причуда меня, конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения...

Однако дело обстояло не так просто, как я полагал. Когда вечером мадам Гейз и я сидели в темноте на веранде (грубиян-ветер потушил ее алые свечи), она с невеселым смешком сказала: «Признаюсь, я объявила Лолите, что ее любимейший Гумберт полностью одобряет лагерный проект, и вот она решила закатить настоящий скандал под предлогом, что будто мы с вами желаем отделаться от нее. Но настоящая причина в другом: я ей сказала, что завтра мы с ней обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные вещи, которые она заставила меня ей купить. Моя капризница видит себя звездочкой экрана; я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка. Вот это, я думаю, лежит в корне наших затруднений».

В среду мне удалось на несколько секунд залучить Лолиту: это случилось на площадке лестницы, где, одетая в нательную фуфайку и белые, запачканные сзади в зеленое, трусики, она рылась в сундуке. Я произнес что-то намеренно дружеское и смешное, но она всего лишь презрительно фыркнула, не глядя на меня. Окаянный, умирающий Гумберт неуклюже погладил ее по копчику, и девчонка ударила его, пребольно, одной из сапожных колодок покойного господина Гейза. «Подлый предатель», сказала она, между тем как я побрел вниз по лестнице, потирая плечо с видом большой обиды. Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой: вымыла волосы и легла в постель вместе со своими дурацкими книжонками; а в четверг безразличная мать повезла ее в лагерь «Ку».

Как писали авторы почище моего: «Читатель легко может вообразить...» и так далее. Впрочем, я, пожалуй, подтолкну пинком в зад это хваленое воображение. Я знал, что влюбился в Лолиту навеки; но я знал и то, что она не навеки останется Лолитой: 1-го января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратится в «молодую девушку», а там в «колледж-гэрл» — т. е. «студентку» — гаже чего трудно что-нибудь придумать. Слово «навек» относилось только к моей страсти, только к той Лолите, которая неизбежно отражалась в моей крови. Лолиту же, подвздошные косточки которой еще не раздались, Лолиту доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резкоголосую и блестяще-русую, с подровненными спереди и волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный — «отвратно», «превкусно», «первый сорт», «типчик», «дрипчик» — эту Лолиту, мою Лолиту бедный Катулл должен был потерять навеки.

Как же в таком случае мне прожить без нее два месяца — летних, бессонных? Целых два месяца, изъятых из двух оставшихся годиков нимфетства! Может быть — думал я — переодеться мне мрачной, старомодной девицей, нескладной мадемуазель Гумберт, да разбить свою палатку около лагеря «Ку» в надежде, что его рыжие от солнца нимфетки затараторят: «Ах, давайте примем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!», — да и потащут к своему костру грустную, робко улыбающуюся Berthe au Grand Pied^[40]. Берта разделит койку с Долорес Гейз!

Досужие, сухие сны. Двум месяцам красоты, двум месяцам нежности, предстояло быть навеки промотанными, и я не мог сделать против этого ничего, mais rien^[41].

Одну каплю редкостного меда этот четверг все-таки хранил для меня в своей желудевой чашке. Госпожа Гейз должна была отвезти дочку в лагерь рано утром, и когда разные звуки, связанные с отъездом, донеслись до меня, я скатился с кровати и высунулся в окно. Внизу под тополями автомобиль уже тарахтел. На тротуаре стояла Луиза, заслонив глаза рукой, словно маленькая путешественница уже удалялась в низкий блеск утреннего солнца. Этот жест

оказался преждевременным. «Поторопись!» крикнула Гейзиха, сидевшая за рулем. Моя Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, опустить при помощи винтовой ручки оконное стекло, помахать Луизе и тополям (ни ее, ни их Лолите не суждено было снова увидеть), прервала течение судьбы: она взглянула вверх — и бросилась обратно в дом (причем мать неистово орала ей вслед). Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объеме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Я подтянул пижамные штаны и отпахнул дверь; одновременно добежала до меня Лолита, топая, пыхтя, одетая в свое тончайшее платье, и вот она уже была в моих объятьях, и ее невинные уста таяли под хищным нажимом темных мужских челюстей — о, моя трепещущая прелесть! В следующий миг я услышал ее — живую, неизнасилованную — с грохотом сбегавшую вниз. Течение судьбы возобновилось. Втянулась золотистая голень, автомобильная дверца захлопнулась — приотворилась и захлопнулась попрочнее — и водительница машины, резко орудуя рулем, сопровождая извиваниями резиново-красных губ свою гневную неслышимую речь, умчала мою прелесть; между тем как не замеченная никем, кроме меня, мисс Визави, больная старуха, жившая насупротив, слабо, но ритмично махала со своей виноградом обвитой веранды.

16

Впадина моей ладони еще была полна гладкого, как слоновою костью, ощущения вогнутой по-детски спины Лолиты, клавишной скользкости ее кожи под легким платьем, которое моя мнущая рука заставляла ездить вверх и вниз, пока я держал девочку. Я кинулся в ее неубранную комнату, отворил дверь шкапа и окунулся в ворох ее ношеного белья. Особенно запомнилась одна розовая ткань, потертая, дырявая, слегка пахнувшая чем-то едким вдоль шва. В нее-то я запеленал огромное, напряженное сердце Гумберта. Огненный хаос уже поднимался во мне до края — однако мне пришлось все бросить и поспешно оправиться, так как в это мгновение дошел до моего сознания бархатистый голос служанки, тихо звавшей меня с лестницы. У нее было, по ее словам, поручение ко мне, и увенчав мое автоматическое «спасибо» радушным «не за что», добрая Луиза оставила странно-чистое, без марки и без помарки, письмо в моей трясущейся руке.

«Это — признание: я люблю вас» —

— так начиналось письмо, и в продолжение одной искаженной секунды я принял этот истерический почерк за каракули школьницы:

«На днях, в воскресенье, во время службы (кстати хочу пожуричь вас, нехорошего, за отказ прийти посмотреть на дивные новые расписные окна в нашей церкви), да, в это воскресенье, так недавно, когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни.

А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, mon cher, cher Monsieur^[42], вы это прочли; вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте! Вон! Départez!^[43] Я вернусь к вечеру, если буду делать восемьдесят миль в час туда и обратно — без крушения (впрочем, кому какое дело?) и не хочу вас застать. Пожалуйста, пожалуйста,

уезжайте тотчас, *теперь же*, даже не читайте этой смешной записки до конца. Уезжайте. Прощайте.

Положение, *mon chéri*^[44], чрезвычайно простое. Разумеется, я знаю с абсолютной несомненностью, что я для вас не значу ничего, ровно ничего. О да, вы обожаете болтать со мной (и шутить надо мною, бедной); вы полюбили наш гостеприимный дом, мне нравящиеся книги, мой чудный сад и даже проказы моей шумной дочки; но я для вас — ничто. Так? Так. Совершенное ничто. *Но*, если, по прочтении моего „признания“, вы решили бы, как европеец и сумрачный романтик, что я достаточно привлекательна для того, чтобы вам воспользоваться моим письмом и завязать со мной „интрижку“, тогда знайте, это будет преступно — преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребенком. Видите ли, любимый, *если бы* вы решили остаться, *если бы* я вас застала тут (чего, конечно, не случится, и потому могу так фантазировать), самый факт вашего оставания мог бы быть истолкован только в одном смысле: что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас — спутником жизни — и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки.

Позвольте мне еще чуточку побродить и побродить мыслью, мой драгоценнейший; ведь я знаю, вы уже разорвали это письмо, и его куски (неразборчиво) в водоворот клозета. Мой драгоценнейший, *mon très, très cher*, какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца! Знаю, как вы сдержанны, как много в вас „британского“. Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваше чувство приличия, покоробит прямота бедной американочки! Вы, который скрываете ваши сильнейшие порывы, должны почесть меня бесстыдной дурочкой за то, что раскрываю так широко свое несчастное раненое сердце. В былые годы я испытала немало разочарований. Мистер Гейз был прекрасный человек, надежный и цельный, но, увы, он был на двадцать лет старше меня, так что — но не будем сплетничать о прошлом. Мой дорогой, твое любопытство должно быть полностью удовлетворено, если ты пренебрег моею просьбой и дочитал это письмо до горького конца. Впрочем, это неважно. Уничтожь его — и уезжай. Не забудь оставить ключи у себя на столе. И хоть какой-нибудь адрес, чтобы я могла вернуть двенадцать долларов, заплаченные тобой за остаток месяца. Прощай, дорогой мой. Молись за меня — если ты когда-нибудь молишься».

Ш. Г.

Вышеприведенное — это то, что помню из письма, и помню я это дословно (включая исковерканные французские термины). Письмо было по крайней мере вдвое длиннее. Я выпустил лирическое место — которое я тогда более или менее проскочил — относительно брата Лолиты, умершего двух лет от роду, когда ей было четыре года: высказывалось предположение, что я очень бы его полюбил. Что же еще там было, дайте вспомнить. Да. Допускаю, что слова «в водоворот клозета» (куда письмо в самом деле ушло) — мой собственный прозаический вклад. Она, вероятно, умоляла меня раздуть какой-нибудь специальный огонь для сожжения ее послания.

Отвращение — вот было первое мое чувство в ответ, и к нему присоединилось желание смыться. За этим последовало нечто вроде ощущения спокойной дружеской руки, опустившейся ко мне на плечо и приглашающей меня не спешить. Я послушался. Я вышел из оцепенения и увидел, что все еще нахожусь в комнате Лолиты. Реклама во всю страницу, вырванная ею из

глянцевитого журнала, была приколот к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. На этом цветном снимке изображен был темноволосый молодой муж. Во взгляде его ирландских глаз было что-то изможденное. Он «моделировал» халат (такого-то «дома») и держал перед собой за оба конца мостоподобный поднос (другой фирмы) с утренним завтраком на две персоны. Надпись взята была из церковного гимна, сочиненного священником Томасом Мореллем: «Вот идет он, герой-победитель». Следовало, по-видимому, предположить, что основательно побежденная новобрачная (не показанная на снимке) сидела среди подушек двуспальной постели, готовая принять свой конец подноса, но каким образом ее постельный партнер подлезет сам к ней под этот мост без катастрофы, оставалось неясным. Рука Лолиты провела шуточную стрелку по направлению опустошенного молодого супруга и приписала большими буквами: «Г. Г.»; действительно, несмотря на небольшую разницу в возрасте, сходство было поразительным. Под этой картинкой была другая — тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой «Дромадер». Он, мол, всегда курил «дромки». Он лишь слегка походил лицом на Г. Г. Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками. Эмаль сошла там и сям с железных штанг изголовья, оставив кругловатые, проплешины на белом фоне. Убедившись в том, что Луиза ушла восвояси, я забрался в постель Лолиты и перечел письмо.

Господа присяжные! Не могу поклясться, что некоторые действия, относившиеся так сказать — простите за выражение — до синицы в руке, не представлялись и прежде моему рассудку. Рассудок не удержал их в какой-либо логической форме. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал, бывало (если позволите употребить и такое выражение), в тумане мечтаний, в темноте наваждения. Были случаи, не могли не быть случаи (я-то хорошо Гумберта знаю!), когда я как бы вчуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой вдовушке — (скажем, на Шарлотте Гейз), а именно на такой, у которой не оставалось бы никакой родни во всем мире, широком, сером — с единственной целью забрать ее маленькую дочь (Ло, Лолу, Лолиту). Я даже готов сказать моим истязателям, что, может быть, иной раз я и бросил холодный взгляд оценщика на коралловые губы Шарлотты, на ее бронзоватые волосы и преувеличенное декольте, смутно пытаюсь вместить ее в раму правдоподобной грезы. Делаю это признание под пыткой: может быть пыткой воображаемой — но тем более ужасной. Хотелось бы сделать тут отступление и рассказать вам подробнее о *raucor nocturnus*^[45], который меня отвратительно терзал и терзает по ночам, когда застревает в мозгу случайный термин из беспорядочного чтения моего отрочества — например, *peine forte et dure*^[46] (какой гений застенка придумал это!) — или страшные, таинственные, вкрадчивые слова «травма», «травматический факт» и «фрамуга». Впрочем, моя повесть достаточно корява и без отступлений.

Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своем фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы — и внезапно... Внезапно, господа присяжные, я почувствовал, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит, как далекая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж ее матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день — каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком.

«Легко и осторожно на коленях
Тебя держать и поцелуй отцовский
На нежной щечке запечатлевать» —

как когда-то сказал английский поэт. О начитанный Гумберт!

Затем, со всевозможными предосторожностями, двигаясь как бы на мысленных цыпочках, я вообразил Шарлотту как подругу жизни. Неужели я не смог бы заставить себя подать ей в постель этот экономно разрезанный на две порции помпimus, этот бессахарный брекфаст?

Гумберт Гумберт, обливаясь потом в луче безжалостно белого света и подвергаясь окрикам и пинкам обливающихся потом полицейских, готов теперь еще кое-что «показать» (*quel mot!*^[47]), по мере того как он выворачивает наизнанку совесть и выдирает из нее сокровеннейшую подкладку. Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить ее каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи пяти сулемовых таблеток, растворенных в рюмке предобеденного хереса или чего-либо в этом роде; но в моем гулком и мутном мозгу все же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой. Почему ограничивать себя тем скромно прикрытым наслаждением, которое я уже однажды испробовал? Передо мной другие образы любострастия выходили на сцену, покачиваясь и улыбаясь. Я видел себя дающим сильное снотворное средство и матери и дочери одновременно, для того чтобы ласкать вторую всю ночь безвозбранно. Дом полнился храпом Шарлотты, Лолита едва дышала во сне, неподвижная, как будто написанный маслом портрет отроковицы. «Мама, клянусь, что Кенни ко мне никогда не притронулся!» «Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной оборотень». Впрочем, я постарался бы не обрюхатить малютки.

Так Гумберт Выворотень грезил и волхвовал — и алое солнце желания и решимости (из этих двух и создается живой мир!) поднималось все выше, между тем как на чередующихся балконах чередующиеся сибариты поднимали бокал за прошлые и будущие ночи. Затем, говоря метафорически, я разбил бокал вдребезги и смело представил себе (ибо к тому времени я был пьян от видений и уже недооценивал природной своей кротости), как постепенно я перейду на шантаж — о, совсем легкий, дымчатый шантажик — и заставлю большую Гейзику позволить мне общаться с маленькой, пригрозив бедной обожающей меня даме, что брошу ее, коли она запретит мне играть с моей законной падчерицей. Словом, перед такой сенсационной офертой (как выражаются коммерсанты), перед столь широкими и разнообразными перспективами я был податлив, как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду.

А теперь запишите следующее важное замечание: художественной стороне своей натуры я дал заслонить мою коренную порядочность. Тем большего усилия воли мне потребовалось, чтобы в сих записках настроить их слог на хамский лад того дневника, который я вел еще во дни, когда госпожа Гейз была для меня всего лишь препятствием. Этого дневника уже не существует; но я почел за долг перед искусством сохранить его интонации, какими бы фальшивыми и брутальными они ни казались мне теперь. К счастью, мой рассказ достиг теперь того пункта, где я могу перестать поносить бедную Шарлотту ради ретроспективной правды.

Желая избавить бедную Шарлотту от двух-трех часов сердечного замиранья на извилистой дороге (и предотвратить, быть может, автомобильное столкновение, которое бы разбило нашу неодинаковую мечту), я очень предупредительно, но безуспешно попытался с нею снестись по телефону: позвонил в лагерь «Ку», но оказалось, что она вот уже час как выехала. Попав вместо нее на Лолиту, я сказал — трепеща и упиваясь властью над роком — что женюсь на ее матери.

Мне пришлось это повторить, так как что-то мешало ей отнестись с полным вниманием к моим словам. «Вот так здорово», проговорила она со смехом. «Когда свадьба? Погодите секундочку — тут у меня щенок — щенок занялся моим носком. Алло —». Она добавила, что, по-видимому, развлечений у нее будет уйма... И я понял, повесив трубку, что двух часов в детском лагере было достаточно, чтобы новые впечатления совершенно вытеснили из головы маленькой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта. Впрочем, это теперь не имело значения. Получу ее обратно по истечении приличного срока после венчания. «Букет венчальный на могиле едва увянуть бы успел», как выразился бы поэт. Но я не поэт. Я всего лишь очень добросовестный историограф.

Подумавши, я осмотрел содержимое кухонного холодильника и, найдя оное чрезмерно аскетическим, отправился в город и набрал самых пряных и жирных продуктов, какие были. Купил, кроме того, спиртных напитков высокого качества да несколько сортов витаминов. Я почти не сомневался, что с помощью этих возбуждательных средств да личных своих ресурсов мне удастся предотвратить некоторый, так сказать, конфуз, который мог бы произойти от недостатка чувства, когда придет время явить могучее и нетерпеливое пламя. Снова и снова изворотливый Гумберт вызывал подобие Шарлотты, каким оно виделось в замочную скважину мужского воображения. Тело у нее было холеное и стройное, с этим никто не спорил, и, пожалуй, я мог подпереться мыслью, что она как бы старшая сестра Лолиты — если только мне не представлялись чересчур реально ее тяжелые бедра, округлые колени, роскошная грудь, грубоватая розовая кожа шеи («грубоватая» по сравнению с шелком и медом) и все остальные черты того плачевного и скучного, именуемого: «красивая женщина».

Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру. Я опорожнил полный стакан спиртного. И еще один. И еще. Любимый напиток мой, джинанас — смесь джина и ананасного сока — всегда удваивает мою энергию. Решил подстричь запущенный лужок в нашем саду. Une petite attention^[48]. Он был засорен одуванчиками, и чья-то проклятая собака — не выношу собак — загадила каменные плиты, на которых некогда стояли солнечные часы. Почти все одуванчики уже превратились из солнц в луны. Джин и Лолита играли у меня в жилах, и я чуть не упал через складные стулья, которые хотел убрать. Краснополосые зебры! Бывает такая отрыжка, которая звучит овацией — по крайней мере моя так звучала. Ветхий забор позади сада отделял его от соседских отбросов и сирени; но никаких преград не было между передним концом нашего лужка (там, где он отлого спускался вдоль одной стороны дома) и улицей. Поэтому я мог выглядывать (с ухмылкой человека, собирающегося совершить доброе дело) возвращение Шарлотты: этот зуб следовало вырвать сразу. Валко напирая на увлекавшую меня вперед ручную косилку — причем сбритые травинки, подскакивая и словно чирикавая, поблескивали при низком солнце, — я не сводил глаз с видного мне отрезка пригородной улицы. Она загибалась к нам из-под свода огромных тенистых деревьев и затем быстро спускалась все круче и круче мимо кирпичного, виноградом увитого дома старушки Визави и ее пологого луга (значительно более опрятного, чем наш), чтобы наконец скрыться за нашим передним крыльцом, не видимым мне с того места, где я радостно порывивал и трудился. Одуванчики пали. Сочный травяной дух смешивался с ананасным. Две девочки, Марион и Мабель, за чьими прохождениями туда-сюда я, бывало, следил машинальным взглядом (но кто мог заменить мою Лолиту?), прошли по направлению проспекта (откуда спускалась наша Лоун Стрит): одна шла, толкая велосипед, другая на ходу питалась из бумажного мешочка, и обе говорили во весь голос, с солнечной звонкостью. Симпатичный Томсон, атлетический негр, служивший у старушки насупротив садовником и шофером, широко улыбнувшись мне издали, крикнул, и повторно крикнул, комментируя крик жестом, что я, мол, необычно энергичен нынче. Дурак-пес, принадлежавший соседу нашему,

разбогатевшему тряпичнику, бросился догонять синий автомобиль — не Шарлоттин. Та из двух девочек, что была покрасивее (Мабель, кажется), в коротких штанишках, в бюстодержателе с бридочками, которому нечего было держать, и такая ярковолосая (нимфетка, клянусь Паном!), пробежала обратно, уминая в руках пустой бумажный мешочек, и пропала из поля зрения зеленого сего козла, зайдя за фронтон виллы г-на и г-жи Гумберт. Автомобиль семейного типа выскочил из лиственной тени проспекта, продолжая тащить некоторую ее часть с собой, пока этот узор не распался у него на крыше, за край которой держался левой рукой, высунутой из окна, полуголый водитель машины; она промахнула идиотским аллюром, а рядом мчалась собака отставного тряпичника. Последовала нежная пауза — и затем, с неким трепетом в груди, я узрел возвращение Синего Седана. Он скользнул под гору и исчез за углом дома. Я различил мельком ее спокойный, бледный профиль. Мне подумалось, что покуда она не поднимется на второй этаж, она не будет знать, уехал ли я или нет. Минуту спустя, с выражением большого страдания на лице, она выглянула на меня из окошка Лолитиной комнатки. Я так скоро взбежал по лестнице, что успел достичь комнатки, до того как она вышла из нее.

Когда невеста — вдовица, а жених — вдовец; когда она прожила в «нашем славном городке» меньше двух лет, он — не больше месяца; когда мосье ждет не дождется, чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой; тогда свадьба обыкновенно бывает довольно «скромная». Невеста может обойтись и без тиары апельсиновых цветов, держащей на месте короткую фату, и без белой орхидеи, заложенной в молитвенник. Дочка невесты, пожалуй, внесла бы в церемонию бракосочетания Г. и Г. живой малиновый блик; но я чувствовал, как рискованно было бы с моей стороны оказать припертой к стенке Лолите слишком много ласки, и посему я согласился, что не стоит отрывать девочку от ее любимого «Ку».

Моя так называемая «страстная и одинокая» Шарлотта была в повседневной жизни практичной и общительной. Сверх того, я установил, что, хотя она не могла сдержать ни порывов сердца в повседневной жизни, ни криков на ложе любви, она была женщина с принципами. Как только она стала более или менее моей любовницей (невзирая на возбудительные средства, ее «нервный, нетерпеливый *chéri* ^[49]» — героический *chéri*, по правде сказать — не избежал некоторых первоначальных затруднений, за которые, впрочем, он вполне ее вознаградил прихотливейшим ассортиментом старосветских нежностей), милая Шарлотта учинила мне допросец насчет моих отношений с Господом Богом. Я мог бы ответить, что в этом смысле я был свободен ото всяких предубеждений; вместо этого я сказал — отдавая дань благостному общему месту, — что верю в одухотворенность космоса. Разглядывая ногти, она спросила еще, нет ли у меня в роду некоей посторонней примеси. Я ответил встречным вопросом — захотела ли бы она все-таки за меня выйти, если бы дед матери моего отца оказался, скажем, арабом. Она сказала, что это не имело бы никакого значения; но что если бы ей когда-нибудь стало известно, что я не верю в нашего христианского Бога, она бы покончила с собой. Она объявила это столь торжественно, что у меня прошел мороз по коже. Тогда-то я понял, что она женщина с принципами.

О, она была благовоспитаннейшей мещанкой! Говорила «извините», если случалось легчайшей отрыжке перебить ее плавную речь, произносила в английском *envelope* (конверт) первый слог в нос на французский манер и, говоря со знакомой дамой, называла меня «мистер Гумберт». Я подумал, что ей доставит удовольствие, если, входя в местное общество, я

приволоку за собой романтическую тень. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в светской рубрике рамздэльской газеты, с фотографией Шарлотты: одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер. Несмотря на эту беду, реклама согрела фарфоровые створки ее сердца и вызвала издевательское дребезжание моих змеиных гремушек. Тем, что она участвовала в работе церковно-благотворительных кружков, и тем еще, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мамашами Лолитиных товаров, Шарлотта за полтора года изловчилась стать если не перворазрядным, то во всяком случае приемлемым членом местного общества; но никогда еще не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную рубрику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту (этого «Эдгара» я подкинул из чистого ухарства), «писателю и исследователю». Репортер, брат моего Мак-Ку, записывая это, спросил, что именно я написал. Ответа моего не помню, но вышло у него так: «несколько трудов о Верлене, Рэмбодлере и других поэтах». В интервью было также отмечено, что мы с Шарлоттой были знакомы уже несколько лет и что я приходился дальним родственником ее первому мужу. Я намекнул, что у меня был с нею роман тринадцать лет тому назад, но в газете этого не появилось. Шарлотте я сказал, что светскую рубрику блески опечаток только красят.

Будем продолжать сию любопытную повесть. Когда от меня потребовалось пожать плоды моего повышения из жильцов в сожители, испытал ли я лишь горечь и неохоту? Нет. Гумберт не мог не признаться в легком зуде тщеславия, в едва уловимом умилении, даже в некоем узоре изящного раскаяния, шедшем по стали его заговорщического кинжала. Я бы никогда не подумал, что довольно нелепая, хоть и довольно благообразная, г-жа Гейз, с ее слепой верой в мудрость своей религии и своего книжного клуба, ужимками дикции, жестким, холодным, презрительным отношением к обольстительной, голорукой, пушистенькой двенадцатилетней девочке — может обратиться в такое трогательное, беспомощное существо, как только наложу на нее руки — что случилось на пороге Лолитиной комнатки, в которую она отступала, прерывисто бормоча: «нет, нет, пожалуйста, нет...»

Перемена пошла впрок ее внешности. Ее улыбка, бывшая до тех пор столь искусственной, отныне сделалась сиянием совершенного обожания, — сиянием, полным чего-то мягкого и влажного, в котором я с изумлением различал сходство с обаятельным, бессмысленным, потерянным взглядом Лолиты, упивающейся какой-нибудь новой смесью сиропов в молочном баре или безмолвно любующейся моими дорогими, всегда отлично выглаженными вещами. Я, как зачарованный, наблюдал за лицом Шарлотты, когда она, делясь родительскими тревожностями с другой дамой, делала американскую гримасу женской резигнации (с закатыванием глаз и свисанием одной стороны рта), более детский вариант которой я видел, бывало, на лице у Лолиты. Мы выпивали что-нибудь — виски или джину перед тем как лечь спать, и это помогало мне воображать дочку, пока я ласкал мать. Вот — белый живот, в котором моя нимфетка лежала свернутой рыбкой в 1934-ом году. Эти тщательно подкрашенные волосы, такие для меня безжизненные на ощупь и обоняние, приобретали иногда (при свете лампы, в двуспальной постели с четырьмя колонками по углам) оттенок, если не мягкость, Лолитиных локонов. Я все повторял себе, меж тем как орудовал моей только что сфабрикованной, в натуральный рост женой, что в биологическом смысле она собой представляет максимально доступное мне приближение к Лолите; что в Лолитином возрасте, Лотточка была школьницей не менее соблазнительной, чем теперь ее дочка, — и чем будет когда-нибудь дочка самой Лолиты. Я заставил жену извлечь — из-под целой коллекции башмаков (у покойного г-на Гейза была, как оказалось, чуть ли не патологическая страсть к обуви) — тридцатилетний альбом, дабы я мог посмотреть, как выглядела Лотта ребенком; и несмотря на неправильность освещения и неуклюжесть одежд, мне удалось разобрать первый неясный черновик Лолитиногo очерка, ее ног, маслачков, вздернутого носика. Лоттелита! Лолитхен!

Так, через изгороди времени, я запускал порочный взгляд в чужие мутные оконца. И когда путем жалких, жарких, наивно-похотливых ласок, она, эта женщина с царственными сосцами и тяжелыми лядвиями, подготавливала меня к тому, чтобы я мог наконец выполнить свою еженочную обязанность, то я и тут еще пытался напасть на пахучий след нимфетки, несясь с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса.

Просто не могу вам сказать, как кротка, как трогательна была моя бедная супруга! За утренним кофе, в угнетающем уюте кухни, с ее хромовым блеском, большим календарем (подарком кастрюльной фирмы) и хорошеньким уголком для первого завтрака (отделанным под стильный кафетерий, где Шарлотта и Гумберт будто бы ворковали вдвоем в студенческие дни), она сидела в красном капоте, облокотясь на пластиковую поверхность столика, подперев щеку кулаком и уставившись на меня с невыносимой нежностью во взгляде, пока я поглощал ветчину и яичницу. Хотя лицо Гумберта и подергивалось от невралгии, в ее глазах оно соперничало с солнечным светом и лиственными тенями, зыблущимися на белом холодильнике. Мою мрачность, мое раздражение она принимала за безмолвие любви. Мой небольшой доход в совокупности с ее еще меньшими средствами производил на нее впечатление блистательного состояния, и это не потому, что получавшейся суммы было теперь достаточно для среднебуржуазных нужд, а потому что даже мои деньги сверкали для нее волшебством моей мужественности, так что она представляла себе наш общий текущий счет в виде одного из тех бульваров на юге в полдень, с плотной тенью вдоль одной стороны и гладким солнцем вдоль другой, и этак до самого конца перспективы, где высятся розовые горы.

Пятидесятидневный срок нашего сожительства Шарлотта успела набить многолетней деятельностью. Бедняжка занялась всякими вещами, от которых ей приходилось прежде отказываться или которые никогда особенно ее не интересовали, как будто (чтобы продлить эту серию прустовских интонаций) тем самым, что я женился на матери любимого мною ребенка, я помог жене вернуть себе в изобилии юность по доверенности. С самозабвением пошлейшей «молодой хозяйки» она принялась «сублимировать домашний очаг». Я наизусть знал каждую щель этого «очага» — знал с тех пор, как, сидя у себя за столом, я наносил на мысленную карту Лолитин маршрут через весь дом; я душой давно породнился с ним — с его неказистостью и неубранностью, и теперь прямо чувствовал, как несчастный ежится в ужасном предвкушении ванны из экрю и охры и табачно-рыжей замазки, которую Шарлотта готовила ему. Она, слава Богу, до этого не дошла, но зато потратила огромное количество энергии, моя шторы, наващивая жалюзи, приобретая новые шторы и новые жалюзи, возвращая их магазину, замещая их другими и так далее, в постоянной смене света и мрака, улыбки и хмурости, сомнения и сожаления. Она возилась с кретоном и коленкором; она меняла масть дивана — священного того дивана, на котором в незабвенное утро во мне лопнул, замедленным темпом, пузырек райского блаженства. Она распределяла мебель и была довольна узнать из трактата о домашнем хозяйстве, что «вполне дозволено разъединить пару диванных комодиков и к ним относящиеся лампы». Следуя за авторшей книги «Твой Дом — это Ты», она возненавидела худосочные маленькие стулья и тонконогие столики. Она верила, что комната с широким размахом оконного стекла и обилием роскошных лакированных плоскостей представляла собой пример комнаты мужского типа, меж тем как женский тип определялся более легкими оконницами и более хрупкой деревянной отделкой. Романы, за чтением которых я застал ее при моем въезде, теперь были вытеснены иллюстрированными каталогами и руководствами по устройству дома. Фирме, находившейся в Филадельфии, Бульвар Рузвельта, дом 4640-ой, она заказала для нашей двуспальной постели особенный «штофом обитый пружинистый матрас, модель 312-я», — хотя старый казался мне достаточно упругим и выносливым для всего того, что ему приходилось выдерживать.

Происхождением она была со среднего Запада, как и ее первый муж, и перенесясь в жеманный Рамздэль, жемчужину одного из восточных штатов, прожила там слишком недолго, чтобы по-настоящему подружиться со всеми приличными людьми. Она слегка знала jovиального дантиста, жившего в чем-то вроде полуразвалившегося деревянного замка позади нашего сада. Она познакомилась на чае в прицерковном клубе со спесивой супругой отставного старьевщика, которому принадлежал страшный белый домике в так называемом «колониальном» стиле на углу проспекта. Время от времени она «наносила визиты» старушке Визави; но матроны познатнее из тех, которых она навещала или встречала на «садовых» приемах, или занимала длинными разговорами по телефону — изысканные дамы, как г-жа Шеридан, г-жа Мак-Кристал, г-жа Найт и прочие, — как-то редко заходили к моей пренебрегаемой светом Шарлотте. Единственно, с кем у нее сложились истинно-дружеские отношения, лишённые и задних мыслей и практических умыслов, это с четой по фамилии Фарло, которая вернулась из делового путешествия в Чили как раз вовремя, чтобы присутствовать на нашей свадьбе вместе с Чатфильдами, четой Мак-Ку и некоторыми другими (но не с г-жой Старьевщицей или с еще более высокомерной г-жой Тальбот). Джон Фарло был пожилой, спокойный, спокойно-атлетический, спокойно-удачливый торговец спортивными товарами, с конторой в Паркингтоне, в сорока милях от нас; это он снабдил меня амуницией для пресловутого Кольта и научил им пользоваться (как-то во время воскресной прогулки в приозерном бору); он также был «отчасти адвокатом» (как сам говорил с улыбкой) и в свое время привел в порядок некоторые Шарлоттины дела. Джоана, его моложавая жена, приходившаяся ему двоюродной сестрой, была долгоногая дама, в очках с раскосой оправой; у нее были два палевых бульдога, две острых грудки и большой красный рот. Она писала пейзажи и портреты — живо помню, как за рюмкой коктейля мне случилось похвалить сделанный ею портрет маленькой племянницы, Розалины Грац, грациозной, розовой красотицы в гёрлскаутской форме (берет из зеленой шерсти, зеленый вязаный пояс, прелестные кудри до плеч), и Джон вынул изо рта трубку и сказал, как жаль, что Долли (моя Доллита) и Розалина так неприязненно относятся друг к дружке в школе; впрочем, он выразил надежду, и мы все поддакнули, что они лучше сойдутся, когда вернутся, каждая из своего летнего лагеря. Мы поговорили о школе. У нее были свои недостатки и свои достоинства. «Конечно, среди наших торговцев много италийцев, — сказал рассудительный Джон, — но зато мы до сих пор были избавлены от жи —». Джоана стремительно перебила его: «Как было бы хорошо, если бы наши девочки проводили это лето вместе!» Внезапно я вообразил Лолиту по возвращении из лагеря — посмуглевшую, теплую, сонную, одурманенную — и готов был зарыдать от страсти и нетерпения.

Хочу написать еще несколько слов о г-же Гумберт, покуда пишется (скоро предстоит тяжкая катастрофа). Я всегда отдавал себе отчет в том, что в ее характере есть некоторая доля властности, но я никак не думал, что она может оказаться столь дико ревнивой ко всему, что в моей жизни не относилось к ней. У нее разыгралось ярое, ненасытное любопытство к моему прошлому. Она требовала, чтобы я воскресил всех женщин, которых в жизни любил, дабы заставить меня высмеять их, растоптать их и отречься от них, отступнически и до конца, тем самым уничтожив мое прошлое. Она вынудила у меня отчет о моем браке с Валерией, которая, конечно, была чрезвычайно смешна; но сверх того мне пришлось выдумать, или безсовестно разукрасить длинный ряд любовниц, чтобы Шарлотта могла злорадно на них любоваться. В угоду ей мне пришлось ей представить целый иллюстрированный каталог, снабдив этих дам

тонкими отличиями, согласно традиции американских объявлений, которые, используя для своих целей группу школьников, распределяют их по правилам изощренной расовой пропорции, а именно всегда помещают среди белолицых ребят одного — и только одного — но зато совершенного душку — круглоглазого, шоколадного цвета малыша, почти, но не совсем по самой середине первого ряда парт. Представляя ей моих дам, я заставлял их улыбаться и покачиваться, и все они — томная блондинка, темпераментная негритянка, рыжеволосая развратница — были выстроены, как на параде в веселом доме. Чем очевиднее и вульгарнее они у меня получались, тем больше нравился г-же Гумберт мой водевиль.

Никогда в жизни я не делал и не выслушивал такого множества признаний. Искренность и безыскусственность, с которыми она обсуждала то, что называла своей «любовной жизнью», начиная с первых затяжных поцелуев и кончая супружеской вольной борьбой, представляли в моральном смысле резкий контраст моему безпардонному вранью; но в техническом смысле, обе серии были однородны, ибо на обе влиял тот же материал (радиомелодрамы, психоанализ, дешевые романчики), из которого я извлекал своих действующих лиц, а она — свой язык и стиль. Меня немало позабавили некоторые необыкновенные половые причуды, свойственные почтенному Гарольду Гейзу, по словам Шарлотты, которая сочла гогот мой неприличным; вообще же говоря, ее раскрытие души оказалось столь же мало интересно, как было бы вскрытие ее тела. Никогда не видал я более здоровой женщины — несмотря на диетические голодовки.

О моей Лолите она говорила редко — реже, например, чем о том ребенке мужского пола, светловолосом, со смазанными чертами, фотография которого была единственным украшением нашей суровой спальни. Предаваясь безвкучному мечтанию, она изволила предвидеть, что душа умершего младенца возвратится на землю во образе дитяти, которое она родит в теперешнем своем браке. И хотя я не испытывал особого позыва к тому, чтобы пополнить родословную Гумберта слепком с плода Гарольда (Лолиту, не без сладкого чувства кровосмешения, я привык считать своим ребенком), мне пришло в голову, что продолжительные роды, с основательным кесаревым сечением и разными другими осложнениями, в укромном родильном приюте, этак будущей весной, дадут мне возможность побыть наедине с моей Лолитой несколько недель сряду — и закармливать размаянную нимфетку снотворными порошками.

Ах, как она ненавидела дочь! Особенно злостным мне казалось то, что она совершенно зря, но с громадным прилежанием, ответила на дурацкие вопросы в имевшейся у нее книге («Знай своего ребенка»), изданной в Чикаго. Этот вздор был растянут на несколько лет: мамаше полагалось делать нечто вроде инвентаря по прохождении каждого года в жизни ребенка. В день двенадцатой годовщины рождения Лолиты, 1-го января 1947 года, Шарлотта Гейз, до замужества Беккер, подчеркнула следующие эпитеты, десять из сорока (в рубрике «характер ребенка»): агрессивный, буйный, вялый, негативистический (подчеркнуто дважды!), недоверчивый, нетерпеливый, привередливый, пронырливый, раздражительный, угрюмый. Она не обратила никакого внимания на остальные тридцать прилагательных, среди которых были такие, как «веселый», «покладистый», «энергичный» и прочее. Это было просто невыносимо! Со свирепостью, которую в иное время я никогда не примечал в мягкой натуре моей любящей жены, она атаковала и обращала в бегство всякие маленькие принадлежности Лолиты, которые забирались в разные углы дома и там замирали, как загипнотизированные зайчики. Моей благоверной не могло и присниться, что однажды, воскресным утром, когда расстройство желудка (случившееся вследствие моих попыток улучшить ее соуса) помешало мне пойти с нею в церковь, я изменил ей с одним из Лолитиных белых носочков. А что за скверное отношение к письмам моего ландыша, моей душки!

«Дорогие Мамочка и Гумочка,

Надеюсь, вы здоровы. Большое спасибо за конфеты. Я (вычеркнуто и написано опять) я потеряла мой новый свитер в лесу. Последнее время погода была свежая. Мне очень тут.

Любящая вас Долли»

«Вот ведь безмозглая», сказала г-жа Гумберт, «пропустила слово после „очень“. Этот свитер был из чистой шерсти. И я, знаешь, просила бы тебя советоваться со мной, прежде чем посылать ей конфеты».

20

В нескольких милях от Рамздэля было в лесу озеро — так называемое Очковое Озеро (уже упомянутое мной); мы туда ездили ежедневно в течение одной особенно знойной недели в конце июля. Я теперь вынужден описать с довольно скучными подробностями последнее наше совместное купание там, как-то во вторник, в тропическое утро.

Оставив автомобиль в специально отведенном для этого месте, недалеко от шоссе, мы направлялись к озеру по тропинке, проложенной через сосновый лес, когда Шарлотта сказала, что Джоана Фарло, в погоне за редкостными световыми эффектами (Джоана принадлежала к старой школе живописи) в воскресенье видела, как Лесли Томсон купался, «в чем ночь родила» (как сострил Джон), в пять часов утра.

«Вода», сказал я, «должно быть, была прехолодная».

«Не в этом суть дела», возразила логичная, хоть и обреченная голубка. «Он, видишь ли, слабоумный. И признаюсь», продолжала она (с той свойственной ей тщательностью фразировки, которая уже начинала сказываться на моем здоровье), «я определенно чувствую, что наша Луиза влюблена в этого кретина».

Чувствовать. «Мы чувствуем, что Долли учится не так хорошо, как могла бы...» и прочее (из старого школьного отзыва).

Гумберты продолжали шествовать, в сандалиях и халатах.

«Знаешь, Гум, у меня есть одна дерзкая мечта», проговорила лэди Гум, опуская голову — как бы стыдясь этой мечты или ища совета у рыжей земли. «Мне бы так хотелось достать настоящую тренированную служанку вроде той немки, о которой говорили Тальботы; и чтобы жила у нас».

«Нет места», ответил я.

«Да что ты!» сказала она со своей мнимо-загадочной улыбкой, «право, chérgi, ты недооцениваешь возможностей гумбертовского дома. Мы бы поместили ее в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная и гадкая конура во всем доме».

«О чем ты, собственно, говоришь?» спросил я, причем кожа моих маслаков подтянулась (если я потрудился это отметить, то лишь потому, что кожа моей дочки делала то же, когда она то же испытывала: недоумение, отвращение, раздражение).

«Тебя, может быть, останавливают какие-нибудь романтические ассоциации?» поинтересовалась моя жена — намекая на наш первый поцелуй.

«А ну их», ответил я, «я просто хочу понять, куда ты поместишь дочь, когда достанешь своего гостя или свою горничную».

«О!» сказала г-жа Гумберт, мечтая, улыбаясь, продлевая это «О!», и в то же время приподымая одну бровь и нежно выдыхая воздух. «Боюсь, что маленькая Ло тут совершенно,

совершенно ни при чем. Маленькая Ло отправляется после лагеря прямо в пансионат — хороший пансионат со строгой дисциплиной и солидной программой религиозного образования. А затем — Бердслей Колледж. Все это у меня очень точно разработано, можешь не беспокоиться».

Она добавила, что она, Гумбертша, должна будет перебороть свою обычную леность и написать сестрице старухи Фален, которая преподавала в пансионате Св. Алгебры. Появилось между соснами ослепительное озеро. Я сказал, что забыл в автомобиле темные очки и сейчас догоню ее.

Мне всегда думалось, что ломание рук — жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала; но когда я теперь углубился в лес, чтобы предаться отчаянию и страшным размышлениям, именно этот жест («Погляди, Боже, на эти цепи!») лучше всего мог бы выразить без слов мое настроение.

Будь Шарлотта Валерией, я бы знал, как в данном случае действовать — да, «действовать» как раз подходящее слово; в доброе старое время мне достаточно было начать выворачивать толстой Валечке хрупкую кисть (ту, которую она повредила при падении с велосипеда) для того, чтобы она мгновенно изменила свое мнение; но в отношении Шарлотты все это было немыслимо. Хладнокровная американская Шарлотта на меня наводила страх. У меня ничего не вышло из беспечной идеи завладеть ее волей через ее любовь. Я не смел ничего сделать, что могло бы нарушить мой образ, который она создала, чтобы ему поклоняться. Я подлизывался к ней, пока она была грозной дуэньей моей душеньки, и нечто от этого пресмыкания сохранилось и теперь в моем отношении к ней. У меня был только один козырь — то, что она ничего не знала о моем чудовищном увлечении ее девочкой. Ее злило, что я девочке нравился; но моих собственных чувств она угадать не могла. Валерии я бы сказал: «Послушай-ка, толстая дура, *c'est moi qui décide*^[50], что хорошо для Долорес Гумберт». Шарлотте же я даже не смел сказать (с подобострастным спокойствием): «Извини меня, голубка, но я не согласен с тобой. Дадим девочке еще один шанс. Я готов учить ее дома год или два. Ты однажды сама говорила». Дело в том, что я не мог ничего сказать Шарлотте о девочке без того, чтобы не выдать себя. Ах, вы не можете себе представить (как и я никогда не представлял себе), какие они, эти женщины с принципами! Шарлотта, которая не замечала фальши обиходных условностей, правил поведения, патентованной пищи, книг и людей, на которых она молилась, немедленно различила бы неправильную интонацию, какие бы слова я ни произнес с целью удержать Лолиту около себя. Она была как музыкант, который может быть в жизни ужасным пошляком, лишенным интуиции и вкуса, но дьявольски-точный слух которого расслышит малейшую ноту в оркестре. Чтобы разбить силу ее воли, мне понадобилось бы разбить ей сердце. Если я разбил бы ей сердце, мой образ в нем разбился бы тоже. Если бы я ей сказал: «Или я делаю с Лолитой, что хочу — и ты помогаешь мне держать дело в тайне, — или же мы тотчас разводимся», — она бы побледнела, словно превратившись в матовое стекло, и неторопливо ответила бы: «Хорошо: чего бы ты теперь ни прибавил, чего бы ни взял обратно — это конец». И так оно и было бы.

Вот, значит, в какую беду я попал. Помню, как я дошел до площадки для парковки и как, накачав из фонтанчика пригоршню ржавой на вкус воды, хлебнул ее так жадно, как если бы она могла мне дать волшебную мудрость, юность, свободу, крохотную наложницу. Потом посидел — в фиолетовом своем халате, болтая ногами, на краю одного из грубо сколоченных пикниковых столов под широкошумными соснами. Поодаль две девочки в трусиках и лифчиках вышли из бликами испещренной будки клозета с пометой: Для Женщин. Жующая резину Мабель (или дублерша Мабели) медлительно, рассеянно полезла верхом на велосипед, а Марион, трясая волосами, чтобы отогнать мух, села сзади, с широко расставленными ногами; и, виляя, они медлительно, рассеянно слились со светом и тенью. Лолита! Отец и дочь,

исчезающие в тающей этой глухомани. Естественнейшим разрешением задачи было бы: уничтожить г-жу Гумберт. Но как?

Ни один человек не способен сам по себе совершить идеальное преступление; случай, однако, способен на это. Криминалисты помнят, например, знаменитое убийство некоей мадам Лякур в Арле, на юге Франции, в конце прошлого столетия. Неопознанный бородач саженого роста, который, может быть, был с этой дамой в тайной любовной связи, подошел к ней на многолюдной улице, несколько дней после того, что она вышла за полковника Лякура, и трижды вонзил ей кинжал в спину, покамест полковник, бульдожьего типа коротыш, продолжал висеть на руке у убийцы. По чудесному и прекрасному совпадению как раз в это мгновение, когда преступник стал разжимать челюсти сердитого маленького мужа (между тем как сбегался народ), — какой-то мечтатель-итальянец в доме, ближайшем к месту происшествия, совершенно случайно привел в действие взрывчатый снаряд, с которым возился; и немедленно улица обратилась в адский хаос дыма, падающих кирпичей и спасающихся людей. Взрыв, однако, никому вреда не нанес (если не считать того, что нокаутировал доблестного полковника Лякура); а мстительный любовник кинулся бежать, когда кинулись бежать остальные, после чего прожил долгую и счастливую жизнь.

Посмотрим теперь, что бывает, когда злоумышленник пробует сам устроить идеальное изъятие.

Я спустился к Очковому Озеру. Уголок, где мы и еще несколько «приличных» семейств (Фарло, Чатфильды) облюбовали место для купания, представлял собой небольшой затон; моей Шарлотте он нравился тем, что это было почти как «частный пляж». Публичный же пляж — со всеми удобствами для купающихся (или топящихся, как «Рамздэльский Листок» имел случай выразиться) — находился в левом (т. е. восточном) очке озера и не был виден из нашего затончика. Сосняк, бывший справа от нас, дальше сменялся болотом, после чего, описав полукруг, берег снова одевался бором по другой стороне западного очка.

Я опустил на песок рядом с женой так тихо, что она вздрогнула.

«Пошли в воду?» спросила она.

«Через минуточку. Дай мне продумать одну комбинацию». Я продолжал думать. Прошла минута с лишним. «Ладно. Пошли».

«А я участвовала в этой комбинации?»

«И как еще!»

«То-то же!» сказала Шарлотта, входя в воду. Вода вскоре дошла ей до толстых, покрытых гусиной кожей ляжек; затем, вытянув перед собой сложенные ладони, плотно сжав губы, с неожиданной простотой в оправе черного резинового шлема лицом, Шарлотта ринулась вперед с громким плеском.

Мы медленно плыли в озерном сверкании.

На противном берегу, по крайней мере в тысяче шагах от нас (если бы можно было шагать по воде), я различал крошечные силуэты двух человек, усердно работавших на своем куске берега. Я в точности знал, кто они: отставной полицейский польского происхождения и отставной водопроводчик, которому принадлежала большая часть леса на той стороне озера. Я тоже знал, чем они заняты — постройкой, для собственного дурацкого развлечения, деревянной пристани. Доносившийся до нас стук казался до странности значительнее, чем подходило бы их карликовым рукам и инструментам; можно было подумать, что заведующий звуковыми эффектами не сговорился с пупенмейстером, особенно потому что здоровенный треск каждого миниатюрного удара запаздывал по отношению к его зрительному воплощению.

Короткая светло-песчаная полоска «нашего» пляжа — от которого мы теперь несколько удалились, достигнув глубокой воды — бывала пуста в будни. Никого не было кругом, кроме

этих двух сосредоточенно работавших фигурок на том берегу, да темно-красного частного самолета, который высоко прожужжал и пропал в синеве неба. Лучшей декорации и придумать нельзя было для быстренького булькающего человекоубийства, и вот тончайшая пуанта: применитель закона и проводчик воды находились как раз достаточно близко, чтобы быть свидетелями несчастного случая, и как раз достаточно далеко, чтобы не разглядеть преступления. Они находились достаточно близко, чтобы услышать, как мечущийся в воде растерянный купальщик отчаянно ревет, призывая на помощь кого-нибудь, кто бы спас его тонущую жену; и они были слишком далеко, чтобы различить (ежели они посмотрели бы до времени), что отнюдь не растерянный купальщик как раз кончает затапывать жену под воду. Этой стадии я еще не достиг; я только хочу объяснить простоту действия, отчетливость постановки! Так вот, значит, Шарлотта подвигалась вплавь с неуклюжей добросовестностью (была она весьма посредственной ундиной), но и не без некоторого торжественного наслаждения (ведь ее водяной состоял при ней); и наблюдая все это с самодовлеющей ясностью будущего воспоминания (как, знаете ли, когда смотришь на вещи, стараясь увидеть их такими, какими будешь потом их вспоминать) — лоснящуюся белизну ее мокрого лица, весьма слабо загоревшего, невзирая на все ее старания, и бледные губы, и голый выпуклый лоб, и тесный черный шлем, и полную мокрую шею, — я знал, что мне только нужно слегка отстать, набрать побольше воздуха в легкие, затем схватить ее за щиколотку и стремглав нырнуть под воду с пленным трупом. Говорю «трупом», ибо неожиданность, испуг и неопытность заставили бы бедную ундину разом хлебнуть целое ведро смертоносной озерной воды; я же мог бы выдержать по крайней мере с минуту под водой, не закрывая при этом глаз. Роковое движение мелькнуло передо мной, как хвост падучей звезды, по черноте замышляемого преступления. Так, в безмолвном зловещем балете, танцор держит партнершу за ножку, стрелой уходя в чудно подделанную подводную мглу. Я бы всплыл за глотком воздуха, все еще держа ее под водой, и затем продолжал бы нырять столько раз, сколько оказалось бы нужным, и только когда над ней окончательно опустился бы занавес, я бы позволил себе позвать на помощь. И когда, минут через двадцать, те два человека с другого берега, равномерно увеличиваясь, приблизились бы в гребной лодке с одним свежее-покращенным боком, бедная г-жа Гумберт, жертва мышечной судороги или сердечного приступа, или и того и другого вместе, уже стояла бы на голове в чернильном иле, саженой на пять под смеющейся гладью Очково-змеинового озера.

Как просто, не правда ли? А вот подите же, судари мои, мне было абсолютно невозможно заставить себя это совершить!

Она плыла рядом со мной, как доверчивый, неповоротливый тюлень, и вся логика страсти кричала мне в уши: «Не жди!» А я, судари мои, не мог и не мог! Молча, я повернул к берегу, и степенно, добросовестно она повернула тоже, и охрипший от крика дьявол все еще повторял свой совет, и все еще я не мог заставить себя утопить это несчастное, скользкое, большедетелое создание. Крик становился все глуше по мере того, как я осознавал печальную истину, что ни завтра, ни в пятницу, и ни в какой другой день или ночь не удастся мне себя заставить ее убить. О, я мог вообразить, что ужасными шлепками нарушаю симметрию Валечкиных грудей, или что как-нибудь иначе причиняю ей боль, — и так же ясно мог увидеть себя всаживающим пулю в брюхо ее любовника, так чтобы он охнул и сел. Но Шарлотту убить я не мог — особенно когда, в общем, положение не было, может быть, столь безнадежным, как оно казалось на первый вздрог в то ужасное утро. Поймай я ее за сильную отбивающуюся ногу, увидь я ее изумленный взгляд, услышь я ее страшный голос, пройди я все-таки через это испытание, ее призрак преследовал бы меня всю жизнь. Быть может, если бы мы жили в 1447-ом году, а не в 1947-ом, я обманул бы свою кроткую природу, подсыпав ей классического яду из полого агата на перстне, напоив ее роковым сладким зельем. Но в нашу буржуазную эру, когда все суют нос в чужие

дела, это не сошло бы мне так, как сходило в обитых парчой глухих чертогах прошлого. В наши дни убийца должен быть химиком. Нет, нет, я не был ни тем ни другим. Господа присяжные, милостивые государи и столь же милостивые государыни! Большинство обвиняемых в проступках против нравственности, которые тоскливо жаждут хоть каких-нибудь трепетных, сладко-стонущих, физических, но не непременно соитием ограниченных отношений с девочкой-подростком — это все безвредные, никчемные, пассивные, робкие чужаки, лишь одного просящие у общества, а именно: чтобы оно им позволило следовать совершенно в общем невинным, аберративным, как говорится, склонностям и предаваться частным образом маленьким, приятно жгучим и неприятно влажным актам полового извращения без того, чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на них. Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это делают бравые солдаты. Мы несчастные, смирные, хорошо воспитанные люди с собачьими глазами, которые достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых, но готовы отдать много, много лет жизни за одну возможность прикоснуться к нимфетке. Подчеркиваю — мы ни в каком смысле не человекоубийцы. Поэты не убивают. О, моя бедная Шарлотта, не смотри на меня с ненавистью из твоего вечного рая посреди вечной алхимической смеси асфальта, резины, металла и камня — но, слава Богу, не воды, не воды!

Все же я был на волосок от беды, говоря совсем объективно. И теперь раскрывается суть моей притчи об идеальном убийстве.

Мы уселись на свои мохнатые полотенца, под жадным до нас солнцем. Она оглянулась кругом, освободила бридочки и легла ничком, дабы дать лучам полакомиться ее спиной. Сказала, что любит меня. Глубоко вздохнула, протянула руку к лежащему рядом халату и нащупала в его кармане пачку папирос. Перешла в сидячее положение, закурила. Изучила свое правое плечо. Наградила меня, открыв дымный рот, основательным поцелуем. Вдруг позади нас из-под кустов покатались по песчаному скату два-три камушка.

«Мерзкие, подглядывающие дети», проговорила Шарлотта, придерживая на груди объемистый черный лифчик и поворачиваясь опять на живот. «Мне придется поговорить об этом с Петром Крестовским».

У выхода тропинки раздался шорох, звук шагов, и появилась Джоана Фарло с мольбертом и другими принадлежностями.

«Ты напугала нас», сказала Шарлотта. Джоана объяснила, что была там над скатом, в тайнике зелени, и оттуда «шпионила за природой» (шпионов обычно расстреливают), стараясь дописать пейзаж — но ничего, мол, не вышло, таланта не хватало (что было совершенно верно).

«А вы, Гумберт, вы когда-нибудь пробовали рисовать?»

Шарлотта, которая немножко ревновала меня к Джоане, спросила, придет ли Джон?

Да, придет. Он собирался завтракать сегодня дома. Привез ее по дороге в Паркингтон и скоро теперь подберет. Какое прекрасное утро! Она всегда чувствовала себя изменницей по отношению к Мелампию и Кавалле, когда оставляла их привязанными дома в такие дивные дни. Села на белый песочек между Шарлоттой и мной. Ее длинные коричневые ноги в трусиках были для меня приблизительно столько же соблазнительными, как ноги гнедой кобылы. Она показывала десны, когда улыбалась.

«Я чуть не включила вас в свое озеро», сказала она. «Между прочим, я заметила кое-что, чего вы недосмотрели. Вы (обращаясь к Гумберту) забыли снять наручные часы, да, сэр, забыли».

«Уотерпруф» (непромокаемые), тихо произнесла Шарлотта, сложив губы по-рыбьи.

Джоана положила мою кисть к себе на колено и полюбовалась Шарлоттиным подарочком; затем положила руку Гумберта обратно на песок, ладонью кверху.

«Ты Бог знает что могла оттуда увидеть», заметила Шарлотта не без кокетства.

Джоана вздохнула. «Раз, вечером», сказала она, «я видела двух детей, мужского и женского пола, которые вот на этом месте, деятельно совокуплялись. Их тени были как гиганты. И я, кажется, говорила вам о Лесли Томсоне, который купается нагишом на заре. Я теперь все жду, что после черного атлета появится жирная котлета, Айвор Куильти (наш дантист), без ничего. Он, между прочим, невероятный оригинал — этот старик. Когда я у него была последний раз, он мне рассказал совершенно неприличную историю про племянника. Оказывается —»

«А вот и я», — раздался голос Джона.

Привычка хранить молчание, когда я гневался или вернее, холодная и как бы чешуйчатая сторона моего гневного молчания наводила, бывало, на Валерию невероятный страх: «Я не знаю, о чем ты думаешь, когда ты такой, и это меня сводит с ума», жаловалась она. Я старался наказать Шарлотту молчанием — но она как ни в чем не бывало продолжала щебетать или брала молчальника за подбородок. Поразительная женщина! Бормоча, что мне приходится как-никак писать ученый труд, я забирался в свою бывшую комнату; Шарлотта же все жизнерадостнее наводила красоту на нашу обитель, ворковала в телефон, писала письма. Из моего окна, сквозь глянцевитый перелив тополевой листвы, я мог видеть ее идущую через улицу и с довольным видом опускающую в ящик письмо к сестре мисс Фален.

Неделя сырой, пасмурной погоды, которая последовала за нашим только что описанным посещением молчаливых песков Очкового Озера, была одной из самых мрачных в моей жизни. Затем мелькнули два-три неясных луча надежды — перед окончательной вспышкой солнца.

Я смекнул, что у меня есть хороший мозг, что работает он великолепно и что следует этим воспользоваться. Пусть я не смел вмешиваться в планы жены для Лолиты (становившейся с каждым днем теплее и смуглее под ясным небом безнадежной дали), все же я мог найти какой-то основной способ для утверждения общего своего авторитета, который я бы мог впоследствии применить в частном случае. Однажды вечером Шарлотта сама дала мне подходящий повод.

«У меня для тебя есть сюрприз», сказала она, глядя на меня нежными глазами поверх ложки супа. «Осенью мы с тобой едем в Англию».

Я не спеша проглотил свою ложку супа, вытер губы розовой бумажкой (О, прохладное, тонкое полотно столового белья в моей «Миране»!) и сказал:

«У меня тоже есть для тебя сюрприз, моя милая. Мы с тобой не едем в Англию».

«Почему? В чем дело?» спросила она, наблюдая — с большим удивлением, чем я рассчитывал вызвать своим ответом — за моими руками (я невольно складывал, рвал, мял и опять рвал ни в чем неповинную розовую «салфетку»). Впрочем, моя улыбка несколько ее успокоила.

«Дело обстоит очень просто», сказал я. «Даже при самом гармоничном браке, как, например, наш, не все решения принимает супруга. Есть вопросы, для решения которых существует муж. Я хорошо могу себе представить волнующее удовольствие, которое тебе, как нормальной американке, должен доставить переезд через океан на том же трансатлантическом пароходе, что лэди Бимбом, кузина короля Англии, Билль Бимбом, король мороженого мяса, или голливудская шлюха. И я не сомневаюсь, что мы с тобой представили бы отличную рекламу для туристической конторы: ты с откровенным преклонением, а я, сдерживая завистливое восхищение, смотрим в Лондоне на дворцовую стражу, на этих малиновых гвардейцев, Бобровых Мясоедов, или как их там еще. У меня же, как раз, аллергия к Европе, включая добрую старую Англию. Как тебе хорошо известно, меня ничто, кроме самых грустных воспоминаний, не связывает со Старым, и весьма гнилым, Светом. Никакие цветные объявления

в твоих журналах этого не переменят»...

«Голубчик мой», сказала Шарлотта, «я право же —»

«Нет, погоди. Это — пустяк, частность; я, собственно, говорю в более широком смысле. Когда тебе захотелось, чтобы я проводил целые дни, загорая на озере, вместо того чтобы заниматься своей работой, я охотно подчинился и превратился ради тебя в представителя бронзовой молодежи, вместо того чтобы остаться литературоведом и... ну, скажем, педагогом. Когда ты меня ведешь на мост к милейшим Фарло, я кротко плетусь за тобой. Нет, пожалуйста, погоди. Когда ты декорируешь свой дом, я не мешаю твоим затеям. Когда ты решаешь — ну, решаешь всякие там вещи, я могу быть против, совершенно против — или скажем, отчасти; но я молчу. Я игнорирую отдельные случаи, но не могу игнорировать общий принцип. Я люблю, чтобы ты мной командовала, но во всякой игре есть свои правила. Нет, я не сержусь. Я вовсе не сержусь. Перестань это делать. Но я представляю собой половину семейного очага и имею собственный, небольшой, но отчетливый голос».

Она перешла между тем на мою сторону стола и, упав на колени, медленно, но настойчиво трясла головой и перебирала холеными ногтями по моим штанам. Сказала, что ей и в голову не приходило, что могу так думать. Сказала, что я ее божество и властелин. Сказала, что Луиза уже ушла, и мы можем немедленно предаться любви. Сказала, что я должен ее простить, или она умрет.

Этот маленький инцидент значительно меня ободрил. Я спокойно ответил ей, что дело не в прощении, а в перемене поведения; и я решил закрепить выигранное преимущество и проводить впредь много времени в суровом и пасмурном отчуждении, работая над книгой или хотя бы притворяясь, что работаю.

Кровать-кушетка в моей бывшей комнате давно была превращена просто в кушетку, чем, впрочем, всегда оставалась в душе, и Шарлотта предупредила меня в самом начале нашего сожительства, что постепенно комната будет переделана в настоящий писательский кабинет. Дня через два после «британского инцидента» я сидел в новом и очень покойном кресле с большим томом на коленях, когда, постучав в дверь колечком на пальце, всплыла Шарлотта. Как непохожи были ее движения на движения моей Лолиты, когда та, бывало, ко мне заглядывала, в своих милых, грязных, синих штанах, внося с собой из страны нимфеток аромат плодовых садов; угловатая и сказочная, и смутно порочная, с незастегнутыми нижними пуговками на мальчишеской рубашке. Но позвольте мне вам что-то сказать. Под зазорностью маленькой Гейз, как и под важностью большой Гейз, робко бежал *тот же* (и на вкус и на слух) ручеек жизни. Знаменитый французский врач как-то говорил моему отцу, что у близких родственников слабейшее бурчание в желудке имеет тот же музыкальный тон.

Итак, Шарлотта всплыла. Она чувствовала, что между нами не все благополучно. Накануне, как и за день до того, я сделал вид, что заснул, как только мы легли, а встал до того, как она проснулась. Она ласково спросила, не мешает ли.

«В эту минуту — нет», ответил я, поворачивая открытый на букве «К» том энциклопедии для девочек, так чтобы лучше рассмотреть картинку, напечатанную нижним краем вдоль обреза.

Она подошла к столику — он был из поддельного красного дерева с одним ящиком. Положила на столик руку. Столик был некрасивый, что и говорить, но он ни в чем не был перед ней виноват.

«Я давно хотела тебя спросить», сказала она (деловито, без всякой игривости), «почему он у тебя заперт? Ты хочешь, чтобы этот столик оставался в кабинете? Он ужасно какой-то гадкий».

«Оставь его в покое», процедил я. Я был с гэрл-скаутами в Кальгари.

«Где ключ?»

«Спрятан».

«Ах, Гумочка...»

«В нем заперты любовные письма».

Она бросила на меня взгляд раненой газели, который так бесил меня; и затем, не совсем понимая, шучу ли я, и не зная, как поддержать разговор, простояла в продолжение нескольких тихо поворачиваемых страниц (Канада, Кино, Конфета, Костер), глядя скорее на оконное стекло, чем сквозь него, и барабанила по нему острыми, карминовыми, миндалевидными ногтями.

Две минуты спустя (на Кролике или на Купании) она подошла к моему креслу и опустилась, увесистым крупом в шотландской шерсти, на ручку, обдав меня запахом как раз тех духов, которыми пользовалась моя первая жена. «Не желало ли бы ваше сиятельство провести осень вот здесь?» спросила она, указывая мизинцем на приторный осенний пейзаж в одном из восточных штатов. «Почему?» (чеканно и медленно). Она пожала плечом. (Вероятно, Гарольд любил уезжать в отпуск об эту пору. Охотничий сезон. Бабье лето. Условный рефлекс с ее стороны.)

«Мне кажется, я знаю, где это», сказала она, все еще указывая мизинцем. «Помню, там есть гостиница с романтическим названием: „Привал Зачарованных Охотников“. Кормят там божественно. И никто никому не мешает».

Она потерлась щекой о мой висок. Валечку я от этого отучил в два счета.

«Не хочешь ли ты чего-нибудь особенного к обеду, мой милый. Попозже зайдут Джон и Джоана».

Я хмыкнул. Она поцеловала меня в нижнюю губу и, весело сказав, что приготовит торт (с тех времен, когда я еще состоял в жильцах, сохранилась легенда, что я без ума от ее тортов), предоставила меня моему безделью.

Аккуратно положив открытую книгу на покинутое ею место (книга попыталась прийти в волнообразное движение, но всунутый карандаш остановил вращение страниц), я проверил, в сохранности ли ключ: он покоился в довольно неуютном месте, а именно под старой, но дорого стоявшей безопасной бритвой, которую я употреблял, пока жена не купила мне другую, лучше и дешевле. Спрашивалось: надежно ли ключ спрятан под этой бритвой, в бархатном футляре? Футляр лежал в сундуке, где я держал деловые бумаги. Нельзя ли устроить сохраннее? Удивительно, как трудно что-нибудь спрятать — особенно когда жена только и делает, что переставляет вещи.

Насколько помню, прошла ровно неделя с нашего последнего купания, когда полдневная почта принесла ответ от второй мисс Фален. Она писала, что только что вернулась в пансионат Св. Алгебры, с похорон сестры. «Евфимия в сущности никогда не оправилась после поломки бедра». Что же касается дочери г-жи Гумберт, она имела честь сообщить, что для поступления в этом году уже поздно, но что она (здравствующая Фален) почти не сомневается, что может принять ее в школу, если г-н и г-жа Гумберт привезут Долорес в январе. Райская передышка!

На другой день, после завтрака я заехал к «нашему» доктору, симпатичному невежде, чье умелое обхождение с больными и полное доверие к двум-трем патентованным лекарствам успешно маскировали равнодушие к медицине. Тот факт, что Ло должна была вернуться в Рамздэль, дивно озарял пещеру будущего. Я желал привести себя в совершенную готовность ко времени наступления этого события. Собственно, я начал кампанию еще до того, как Шарлотта приняла свое жестокое решение. Мне нужна была уверенность, что, когда моя прелестная девочка вернется, у меня будет возможность в ту же ночь, и потом ночь за ночью, покуда не

отнимет ее у меня Св. Алгебра, усыплять два живых существа так основательно, чтобы никакой звук и никакое прикосновение не могли перебить их сон. В течение июля я производил опыты с разными снотворными средствами, испытывая их на Шарлотте, большой любительнице пилюль. Последняя доза, которую я ей дал (она думала, что это слабый препарат брома для умягчения ее нервов), свалила ее на целых четыре часа. Я запускал радио во всю его силу. Направлял ей в лицо ярчайший луч фаллической формы фонарика. Толкал, тер, щипал, тыкал — и ничто не нарушало ритма ее спокойного и мощного дыхания. Однако от такой простой вещи, как поцелуй в ключицу, она проснулась тотчас, свежая и хваткая, как осьминог (я еле спасся). Значит, не годится, подумал я; следует достать нечто еще более надежное. Сначала д-р Байрон как будто не поверил, когда я сказал, что его последнее лекарство не совладало с моей бессонницей. Он посоветовал мне испробовать его еще несколько раз и на минуту отвлек мое внимание, начав показывать мне семейные фотографии: у него была обаятельная девочка Доллиных лет; но я понял, что он старался меня провести, и потребовал, чтобы он мне прописал самое сильное из существующих снотворных. Посоветовал играть в гольф, — но в конце концов согласился дать мне средство, которое «не могло не подействовать»; и, подойдя к шкафчику, болтун достал из него стеклянную трубку с лиловато-синими патрончиками, опоясанными с одного конца темно-фиолетовой полоской. Это было, по его словам, новое средство, только что выпущенное в продажу и предназначавшееся не для неврастеников, которых можно успокоить и глотком воды, если взяться умеючи, а только для великих бессонных художников, которым необходимо умереть на несколько часов, чтобы жить в веках. Я люблю дурачить докторов и, хотя я внутренне ликовал, положил в карман пилюли со скептическим пожатием плеч. Между прочим, мне приходилось быть с ним начеку. Однажды, совсем по другому случаю, я глупо оговорился — упомянул свою последнюю санаторию, и мне показалось, что он наострил уши. Вовсе не стремясь к тому, чтобы Шарлотте или кому-нибудь другому стал известен этот период моего прошлого, я поспешил объяснить, что мне пришлось предпринять некоторые изыскания в сумасшедших домах для романа. Но Бог с ним; одно несомненно, у пройдохи была премиленькая девчурка. А ведь странно подумать — все они теперь старые, семнадцатилетние...

Я вышел от него в отличнейшем настроении. Одним пальцем управляя жениным автомобилем, я благодушно катил домой. Рамздэль был в общем не лишен прелести. Свиристели цикады; бульвар был только что полит. С шелковистой гладкостью, я свернул вниз по нашей крутой улочке. Каким-то образом все в этот день складывалось так удачно. Так сине и зелено. Я знал, что сверкало солнце, оттого что никелированный ключ стартера отражался в переднем стекле; и я знал, что ровно половина четвертого, оттого что сестра милосердия, ежедневно приходившая массировать старушку Визави, семенила вниз по узкой панели в своих белых чулках и башмаках. Как обычно, истеричный сеттер бывшего старьевщика атаковал автомобиль при спуске, и, как обычно, местная газета лежала на крыльце, куда ее только что швырком доставил Кенни.

Накануне я прекратил режим отчуждения, который я сам себе предписал, и сейчас я испустил веселый клик, возвещавший мое прибытие, одновременно отворяя дверь гостиной. Повернутая ко мне каштановым шиньоном над сливочно-белой шеей, в той же желтой блузке и тех же темно-красных штанах, которые были на ней в день нашей первой встречи, Шарлотта сидела в углу за письменным столиком и строчила письмо. Еще не выпустив ручку двери, я повторил свой приветственный возглас. Ее рука перестала писать. С секунду Шарлотта сидела неподвижно; затем она медленно повернулась на стуле, положив локоть на его выгнутую спинку. Ее лицо, искаженное тем, что она испытывала, не представляло собой приятного зрелища. Упираясь взглядом в мои ноги, она заговорила:

«Гнусная Гейзиха, толстая стерва, старая ведьма, вредная мамаша, старая... старая дура... эта старая дура все теперь знает... Она... она...»

Моя прекрасная обвинительница остановилась, глотая свой яд и слезы. Что именно Гумберт Гумберт сказал — или пытался сказать — не имеет значения. Она продолжала:

«Вы — чудовище. Вы отвратительный, подлый, преступный обманщик. Если вы подойдете ко мне, я закричу в окно. Прочь от меня!»

Тут опять, я думаю, можно пропустить то, что бормотал Г. Г.

«Я уеду сегодня же. Это все ваше. Но только вам не удастся никогда больше увидеть эту негодную девчонку. Убирайтесь из этой комнаты».

Читатель, я подчинился. Я поднялся в мой экс-полукабинет. Руки в боки, я постоял в совершенной неподвижности и полном самообладании, созерцая с порога изнасилованный столик: ящик был выдвинут, из замочной скважины висел, зацепившись бородкой, подошедший наконец ключ, другие разнородные домашние отмычки лежали на столешнице. Я перешел через площадку лестницы в супружескую спальню Гумбертов и хладнокровно перевел мой дневничок из-под ее подушки в свой карман. После чего я отправился вниз, но остановился на полпути: она говорила по телефону, провод которого в этот день был случайно соединен со штепселем в столовой, возле двери, ведущей в гостиную. Хотелось послушать, что она говорит: отменила какой-то заказ и вернулась в гостиную. Я перевел дух и через прихожую прошел на кухню. Там я откупорил бутылку шотландского виски (перед скотчем она никогда не могла устоять). Затем я перешел в столовую и оттуда, через полуоткрытую дверь, поглядел на широкую спину Шарлотты.

«Ты разбиваешь и мою жизнь и свою», сказал я спокойно. «Давай обсудим дело, как двое культурных людей. Это все твоя галлюцинация. Ты, Шарлотта, не в своем уме. Эти записи, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Твое имя, и ее, были взяты случайно. Только потому что подвернулись под перо. Ты подумай об этом, а я тебе принесу выпить».

Она не ответила и не обернулась, продолжая бешеным темпом писать, что писала. Очевидно, третье по счету письмо (два уже запечатанных, с наклеенными марками, приготовлены были перед ней на столе). Я вернулся на кухню.

На кухне я достал два стакана (в Св. Алгебру? к Лолите?) и отпер электрический холодильник. Он яростно ревел на меня, пока я извлекал из его сердца лед. Написать всю штуку сызна. Пускай перечтет. Подробностей она не помнит. Изменить, подделать. Написать отрывок романа и показать ей или оставить лежать на виду? Почему иногда краны так ужасно визжат? Ужасное положение, по правде сказать. Подушечки льда — подушечки для твоего игрушечного полярного медвежонка, Ло! — издавали трескучие, истошные звуки по мере того, как горячая вода из-под крана освобождала их из металлических сот. Я поставил оба стакана рядом, налил в них виски и прибавил в каждый по унции сельтерской воды. Жаль, что наложила запрет на мой любимый джинанас. Холодильник рявкнул и грохнул. Неся стаканы, я прошел в столовую и сквозь дверь гостиной, теперь едва приоткрытую, так что я не мог просунуть локоть, сказал:

«Я приготовил тебе скотч».

Она не отозвалась, сумасшедшая стерва, и я поставил стаканы на буфет рядом с телефоном, который как раз зазвонил.

«Говорит Лесли — Лесли Томсон», сказал Лесли Томсон, тот самый, который любил купаться на заре. «Миссис Гумберт, сэр, попала под автомобиль, и вам бы лучше прийти поскорее».

Я ответил — может быть, не без раздражения — что моя жена цела и невредима, и все еще держа трубку, отпахнул толчком дверь и сказал:

«Вот он тут говорит, Шарлотта, что тебя убили».
Но никакой Шарлотты в гостиной не было.

Я выбежал наружу. Другая сторона крутой нашей улочки являла собой необыкновенное зрелище. На покатый газон мисс Визави въехал большой, черный, глянцеви́тый Пакар, круто свернув туда через панель (на которой холмился оброненный клетчатый плед), и стоял там, поблескивая на солнце, с раскрытыми, как крылья, дверцами и с колесами, глубоко ушедшими в букс. Справа от автомобиля, на аккуратной мураве ската, седоусый старец, весьма прилично одетый (серый двубортный костюм, галстук бабочкой в белую горошинку), лежал навзничь, сдвинув длинные ноги, как восковая фигура ростом с обыкновенного мертвеца. Мне нужно выразить толчок, разряд, молнию мгновенного впечатления чередой слов; их вещественное накопление на странице портит самое вспышку, острое единство картины: холмик пледа, машина, старик-мумия, старушкина массажистка, бегущая с крахмальным шелестом, держа в руке полупустой стакан, обратно к веранде, где подпертая подушками, пленная, дряхлая мисс Визави, наверное, выпускала вопли, недостаточно, впрочем, громкие, чтобы заглушить равномерное гавканье старьевщикова сеттера, переходящего от одной группы людей к другой — то к соседям, уже скопившимся на тротуаре, около клетчатой штуки, то назад к автомобилю (который ему наконец удалось затравить), то к группе, собравшейся на газоне, состоявшей из Лесли Томсона, двух полицейских и коренастого господина в роговых очках. Тут я должен пояснить, что незамедлительное появление дорожной полиции (не прошло и двух минут после несчастия) было следствием того, что патрульщики как раз в это время нацепляли штрафные билеты на автомобили, незаконно запаркованные в переулке, неподалеку от нас; что тип в очках был Фредерик Биэль-младший, водитель Пакара; что его семидесятидевятилетний отец, которого массажистка только что отпаивала на скошенной траве, где он лежал скошенным, так сказать, банкиром, был не в глубоком обмороке, а удобно и методически оправлялся от легкой сердечной схватки или возможности оной; и наконец, что плед на тротуаре, где жена так часто указывала мне с недовольством на кривые зеленые трещины, скрывал искалеченный труп Шарлотты Гумберт, которую переехал (а затем протащил несколько футов) автомобиль Биэлей в тот миг, когда она бежала через дорогу, чтобы опустить три письма в почтовый ящик, находившийся на углу участка мисс Визави. Эти письма подняла и передала мне хорошенькая девочка в грязном розовом платице, и я превратил их в клочья, растерзав их в кармане штанов.

Три доктора и чета Фарло вскоре прибыли на место происшествия и стали распоряжаться. Вдовец, человек наделенный исключительным самообладанием, не рыдал и не рвался. Он как будто малость пошатывался, это правда; но он разжимал уста только для того, чтобы сообщать те сведения и давать те разъяснения, которые были безусловно необходимы в связи с опознанием, осмотром и увозом покойницы, темя которой представляло собой кашу из костей, мозга, бронзоватых волос и крови. Солнце было еще ослепительным, когда друзья, добрый Джон и заплаканная Джоана, уложили вдовца в постель у Долли в комнате; сами же, чтобы быть поблизости, устроились в спальне Гумбертов на ночь — которую, не знаю, так ли они добродетельно провели, как того бы требовала торжественность случая.

Не вижу причины останавливаться — в этом очень специальном труде — на предпохоронных формальностях, требовавших от меня внимания, и на самых похоронах, не менее скромных, чем не так давно состоявшаяся свадьба; но несколько эпизодов, относящихся к тем четырем-пяти дням, следует все же отметить.

В первую ночь моего вдовства я был так пьян, что спал столь же крепко, как то дитя,

которое, бывало, спало в этой постели. На другое утро я первым делом обследовал клочки писем, оставшиеся у меня в кармане. Они слишком основательно перемешались, чтобы их можно было разделить на три законченных текста. Думаю, что слова «...и ты потрудишься найти его, так как я не могу покупать...» были из письма к Ло. Некоторые обрывки как будто указывали на намерение Шарлотты бежать с Ло в Паркингтон или даже обратно в Писки, дабы коршун не схватил ее драгоценного ягненка. Другие клочки и лоскутья (вот уж не предполагал я, чтобы у меня были такие сильные когти) явно относились к просьбе принять девочку не в пансионат Св. Алгебры, а в другую, тоже закрытую, школу, о которой говорили, что ее воспитательные приемы так суровы, скучны и сухи (хотя в проспекте упоминался крокет под ильмами), что заслужили школе кличку Исправительное Заведение для Благородных Девиц. Третье, наконец, послание было несомненно адресовано мне. Я разобрал такие кусочки фраз, как «...может быть, после года разлуки мы с тобой...», «...о, мой любимый, о, мой...», «...или, может быть, я умру...» Но в общем то, что я наскреб, было не очень содержательно: различные фрагменты этих торопливых посланий были так же спутаны у меня в ладонях, как основные их части у бедной Шарлотты в голове.

У Джона в тот день было свидание с клиентом, а Джоане нужно было накормить собак, так что я был временно лишен общества моих друзей. Добряки опасались, как бы я не покончил с собой, оставшись без призора, и за неимением других знакомых, которые могли бы их заменить (мисс Визави слегла, семейство Мак-Ку налаживало постройку нового дома в далеком районе, Чатфильдов только что вызвали в северный штат в связи с бедой, приключившейся с их собственным родственником), ко мне отрядили Луизу и Лесли под предлогом необходимости помочь мне разобрать и убрать множество осиротелых вещей.

В минуту восхитительнейшего вдохновения я показал милым и легковверным Фарло (вместе с которыми я поджидал прихода Лесли на платное свидание с Луизой) любительский снимочек, найденный мной среди Шарлоттиногo имущества. Стоя на валуне, она улыбалась сквозь разметанные ветром волосы. Фотография относилась к апрелю 1934-го года, памятная весна! Приехав в тот год в Америку по делам, я имел случай провести несколько месяцев в Писки. Мы познакомились — и между нами завязался неосторожный роман. Я, увы, был женат, она была невестой Гейза... По моем возвращении в Европу, мы переписывались через общего друга, ныне покойного. Джоана прошептала, что до нее дошли кое-какие слухи — и поглядела еще на снимок и, все еще глядя на него, передала его Джону, и Джон вынул трубку изо рта и тоже поглядел на прелестную, легкомысленную Шарлотту Беккер и вернул фотографию мне. Затем они на несколько часов уехали. В подвале довольная Луиза с воркующим смехом поругивала своего кавалера.

Не успели Фарло отбыть, как навестил меня священнослужитель с сизым подбородком — и я постарался до минимума сократить интервью, поскольку это было выполнимо без того, чтобы не оскорбить его чувств или не возбудить его подозрений. Да, собираюсь посвятить всю жизнь благополучию дитяти. Вот, кстати, тот крестик, который Шарлотта Беккер мне подарила, когда мы оба были молоды. У меня есть кузина, в Нью-Йорке, почтенная старая дева. Мы там с нею найдем хорошую частную школу для Долли. О хитрющий Гумберт!

К сведению Лесли и Луизы, которые, по моему (оказавшемуся правильным) расчету, должны были доложить об этом Джону и Джоане, я великолепно разыграл необыкновенно громкий иногородный монолог по телефону, симулируя разговор с Шерли Хольмс, начальницей лагеря «Ку». Когда вернулись Джон и Джоана, то я без труда провел их сообщением, нарочито-взволнованно и бессвязно пробормотанным, что, мол, Лолита ушла с промежуточной группой на пятидневную экскурсию и с ней невозможно снестись.

«Боже мой», воскликнула Джоана, «что же нам делать?» Джон сказал, что все чрезвычайно

просто: он устроит, чтобы тамошняя полиция немедленно разыскала бы экскурсантов — это у них и часа не займет; он, кстати, сам хорошо знает местность и —

«Послушайте», продолжал он, «почему бы мне теперь же не съездить туда на автомобиле, а вы пока переспите с Джоаной» (на самом деле, последней фразы он не добавил, но Джоана так страстно поддержала его предложение, что это могло подразумеваться).

Я разыграл истерику. Я стал заклинять Джона ничего не предпринимать. Сказал, что не мог бы вынести сейчас постоянное присутствие девочки, плачущей, цепляющейся за меня, — она такая впечатлительная, подобные потрясения могут отразиться на ее будущем, психиатры проанализировали такие случаи... Наступило внезапное молчание.

«Что ж, вам решать», проговорил наконец Джон довольно сухо. «Только, знаете, я все-таки был другом и советником Шарлотты. И вообще хотелось бы знать, что вы, собственно, собираетесь с девочкой делать».

«Джон!» крикнула Джоана. «Она его дочка, а не дочка Гарольда Гейза. Разве тебе не ясно? Бедный Гумберт — настоящий отец Долли!»

«Понимаю», сказал Джон, обратившись ко мне. «Прошу прощения. Понимаю. Вот оно что. Я не сразу смекнул... Это, разумеется, упрощает дело. Что подсказывает вам сердце, то и ладно».

Убитый горем отец объяснил, что отправится за хрупкой дочкой тотчас после похорон, а затем постарается ее развлечь пребыванием в совершенно другой обстановке — катнет с ней, может быть, в Новую Мексику или Калифорнию — если только не покончит с собой, конечно.

Настолько художественно изобразил я спокойствие предельного отчаяния, затишье перед безумной вспышкой, что безупречные Фарло увезли меня к себе. У них был недурной для Америки погреб, и это послужило мне на пользу, ибо я боялся бессонницы — и привидения.

Теперь мне следует объяснить настоящую причину, по которой я хотел временно держать Долорес в отдалении. Само собой разумеется, что вначале, когда Шарлотта только что оказалась ликвидированной и я вернулся к себе независимым отцом, и залпом проглотил один за другим оба приготовленных мною стакана виски, и вдогонку им отправил пинту-другую своего джинанаса, и заперся в ванной, спасаясь от соседей и друзей, — у меня было всего лишь одно на уме и в крови, а именно — сознание, что всего через несколько часов, тепленькая, русая, и вся, вся моя, Лолита в моих объятьях будет проливать слезы, а я стану их осушать поцелуями скорее, чем ее глаза будут ими наполняться. Но покамест я стоял перед зеркалом, весь красный, с расширенными зрачками, Джон Фарло деликатно постучал и спросил, благополучен ли я, — и я тотчас сообразил, что с моей стороны было бы безумием допустить ее возвращение в этот дом, где сновало столько чужих хлопотунов, готовых отнять ее у меня. Да и сама взбалмошная Ло могла ведь — как знать? — вдруг выказать глупое недоверие, неожиданную неприязнь, смутный страх и тому подобное — и прощай навек, в самый миг торжества, волшебная награда!

Кстати, о навязчивых людях: ко мне явился еще один посетитель, любезный Биэль (тот самый, который ликвидировал мою жену). Солидный и серьезный, похожий как-то на помощника палача, своими бульдожьими брылами, черными глазками, очками в тяжелой оправе и вывернутыми ноздрями. Его впустил Джон, который затем оставил нас, прикрыв дверь с величайшим тактом. Гладко начав с того, что у него двойня в одном классе с моей падчерицей, мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы. Это был «восторг», как выразилась бы моя падчерица, со множеством внушительных стрелок и пунктирных линий, проведенных разного цвета чернилами. Траекторию г-жи Г. Г. он иллюстрировал серией маленьких силуэтов, вроде символических фигурок, кадровых участниц женского военно-подсобного корпуса, которыми пользуются для наглядности в статистике. Очень ясно и убедительно этот путь приходил в

соприкосновение со смело начертанной извилиной, изображавшей два следующих друг за другом поворота, из которых один был совершен биэлевской машиной, чтобы избежать старьевщикова сеттера (не показанного на диаграмме), а второй, в преувеличенном виде повторяющий первый, имел целью предотвратить несчастье. Внушительный черный крестик отмечал место, где аккуратный маленький силуэт наконец лег на панель. Я поискал, нет ли соответствующего значка на скате, где отлеживался огромный восковой отец моего посетителя, но значка не оказалось. Старец, впрочем, расписался на документе, в качестве свидетеля, под подписями Лесли Томсона, мисс Визави и некоторых других.

Карандаш Фредерика с точностью и легкостью колибри перелетал с одного пункта в другой, по мере того как он демонстрировал свою совершенную неповинность и безрассудную неосторожность моей жены: в ту секунду, когда он объехал собаку, Шарлотта поскользнулась на свежеполитом асфальте и упала вперед, меж тем как ей следовало бы отпрянуть назад (Фред показал, как именно, сильно дернув своим подбитым ватой плечом). Я сказал, что он, конечно, не виноват, и следствие подкрепило мое мнение.

Сильно дыша сквозь напряженные черные ноздри, он удрученно потряс головой, одновременно трясая мою руку; затем, выказывая изысканную светскость и джентльменскую широту, предложил оплатить расходы похоронного бюро. Он ожидал, что я откажусь. С пьяным благодарственным всхлипом я принял его предложение. Не веря своим ушам, он отдельно повторил им сказанное, и я снова его поблагодарил, еще горячее, чем прежде.

В результате этого жутковатого свидания мое душевное онемение нашло на минуту некоторое разрешение. И немудрено! Я воочию увидел маклера судьбы. Я ощупал самую плоть судьбы — и ее бутафорское плечо. Произошла блистательная и чудовищная мутация, и вот что было ее орудием. Среди сложных подробностей узора (спешащая домохозяйка, скользкая мостовая, вздорный пес, крутой спуск, большая машина, болван за рулем) я смутно различал собственный гнусный вклад. Кабы не глупость (или интуитивная гениальность!), по которой я сберег свой дневник, глазная влага, выделенная вследствие мстительного гнева и воспаленного самолюбия, не ослепила бы Шарлотту, когда она бросилась к почтовому ящику. Но даже и так ничего бы, может быть, не случилось, если бы безошибочный рок, синхронизатор-призрак, не смешал бы в своей реторте автомобиль, собаку, солнце, тень, влажность, слабость, силу, камень. Прощай, Марлена! Рукопожатие судьбы (увесисто воспроизведенное Биэлем при прощании) вывело меня из оцепенения. И тут я зарыдал. Господа и госпожи присяжные, я зарыдал!

Ильмы и тополя поворачивались ко внезапно налетевшему ветру зыблущимися спинами и грозовая туча чернела над белой башней рамздэльской церкви, когда я осмотрелся в последний раз перед отъездом. Для неведомых приключений я покидал мертвенно-бледный дом, где нанял комнату всего десять недель тому назад. Уже спущены были жалюзи — недорогие, практичные жалюзи из бамбука. «Верандам и внутренней отделке дома их роскошный материал придает модерный драматический характер», говорил преискурант. После этого небесная обитель должна показаться довольно-таки голой. Капля дождя упала мне на костяшки руки. Я вернулся в дом за чем-то, пока Джон укладывал мои чемоданы в автомобиль, и тогда случилась курьезная вещь. Не знаю, достаточно ли я подчеркнул в этих невеселых заметках особое, прямо-таки одурманивающее действие, которое интересная внешность автора — псевдокельтическая, привлекательно обезьянья, мужественная, с примесью чего-то мальчишеского — производила на женщин любого возраста и сословия. Разумеется, такие заявления от первого лица могут показаться смешными; но время от времени я вынужден напомнить о моей наружности

читателю, как иной профессиональный романист, давший персонажу какую-нибудь ужимку или собаку, видит себя вынужденным предъявить эту собаку или эту ужимку всякий раз, что данный персонаж появляется. В отношении меня этот прием наделен, пожалуй, глубоким смыслом. Сумрачное обаяние моих черт должно оставаться в поле зрения читателя, желающего по-настоящему понять мою повесть. Малолетняя Ло млела от шарма Гумберта, как млела от судорожной музыки; взрослая Лотта любила меня с властной зрелой страстью, которую ныне жалею и уважаю в большей степени, чем дозволено мне сказать. Тридцатиднолетняя Джоана Фарло, будучи совершенной неврастеничкой, здорово, по-видимому, влюбилась в меня.

В ее красоте было что-то резкое, индейское. Загар у нее был терракотовый. Ее губы были как большие пунцовые слизни, и когда она раздражалась своим характерным лающим смехом, то показывала крупные, тусклые зубы и бескровные десны. Она была очень высокого роста, носила либо сандалии и узкие штаны, либо широкие юбки и балетные туфли; пила скотч в любом количестве; дважды выкинула; сочиняла рассказы о животных для юношества; писала, как известно моему читателю, озерные виды; уже носила в себе зачаток рака, от которого должна была умереть два года спустя. Она казалась мне безнадежно непривлекательной. Судите же о моем испуге, когда за несколько секунд до моего отъезда (мы с ней стояли в прихожей) Джоана взяла меня за виски своими всегда дрожавшими пальцами и со слезами в ярко-синих глазах попыталась, без большого успеха, присосаться к моим губам.

«Поберегите себя», сказала она, «и поцелуйте за меня дочь».

Удар грома прокатился через весь дом, и Джоана добавила:

«Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, при менее ужасных обстоятельствах мы еще увидимся». (Джоана! Чем бы ты ни была, где бы ты ни была, в минус-пространстве или в плюс-времени, прости мне все это — включая и эти скобки.)

Минуту спустя я уже обменивался и с ней, и с ним прощальными рукопожатиями, на улице, на крутой улице, и все вертелось, летело перед приближавшимся белым ливнем, и фургон с матрасом из Филадельфии самоуверенно катился вниз к опустевшему дому, и пыль бежала и вилась по той самой тротуарной плите, где Шарлотта, когда для меня приподняли плед, оказалась лежащей комочком, с совершенно нетронутыми глазами, с еще мокрыми черными ресницами, слипшимися, как твои, Лолита!

Казалось бы, теперь, когда все препятствия были удалены и передо мной открылась перспектива беспредельного блаженства, я мог мысленно откинуться назад со вздохом сладкого облегчения. Eh bien, pas du tout.^[51] Вместо того чтобы нежиться в лучах улыбавшейся судьбы, я был одержим чисто этическими сомнениями и страхами. Например: не найдут ли люди странным, что Лолиту так упорно не допускали к участию ни в радостных, ни в печальных семейных торжествах? Как вы помните, она не присутствовала на нашей свадьбе. Или еще вот что: если принять, что ни в чем неповинную женщину устранила протянувшаяся откуда-то длинная косматая рука совпадения, не могло ли оно в нехристианскую минутку забыть дело своей десницы и шуйцей передать Лолите чью-то несвоевременную записку соболезнавания? Правда, отчет о происшествии появился только в рамздэльской газетке; его не было ни в «Паркингтонских Ведомостях», ни в «Клаймаксовом Вестнике»: местные смерти лишены федерального интереса, а лагерь «Ку» находился не в нашем штате; но я не мог перестать воображать, что каким-то образом Долли Гейз уже извещена и что в то самое время, когда я за ней еду, неизвестные мне друзья мчат ее в Рамздэль. Еще тревожнее всех этих домыслов и забот было то, что Гумберт Гумберт, новоиспеченный американский гражданин довольно темного

европейского происхождения, не предпринял никаких шагов к тому, чтобы стать законным опекуном девочки (двенадцати лет и семи месяцев от роду), оставшейся после его покойной жены. Посмею ли предпринять эти шаги? Я не мог совладать с дрожью, когда случилось мне представить себе наготу свою, теснимую таинственными статутами в беспощадно резком свете свода гражданских законов.

Мой план был чудом первобытного искусства: я решил, что махну в лагерь «Ку», скажу Лолите, что ее мать собираются подвергнуть серьезной операции в несуществующей больнице и затем буду кочевать с моей сонной нимфеткой из одной гостиницы в другую, пока мать будет медленно, но верно поправляться и наконец умрет. Но по пути в лагерь я почувствовал нарастающее беспокойство. Меня угнетала мысль, что ее может уже не оказаться там или что найду вместо беспечной Лолиты испуганную сиротку, требующую с плачем присутствия каких-то близких друзей семьи. Чету Фарло, слава Богу, она едва знала, но не могло ли быть других, мне неизвестных лиц? В конце концов, я решил устроить тот междугородный разговор, который я недавно так удачно симулировал. Шел сильный дождь, когда я остановился у панели в загаженном ненастием предместии Паркинтона, как раз не доезжая разъезда, одна ветвь которого шла в обход города и вела к шоссе, пересекающему гряды холмов по направлению к Озеру Клаймакс и лагерю «Ку». Выключив мотор, я не меньше минуты просидел в автомобиле, собираясь с духом и глядя на дождь, на залитую панель, на гидрант, представляющий собой безобразную тумбу, покрытую толстым слоем красной и серебряной краски, протянувшую красные культипки, чтобы их мог отлакировать дождь, который, как стилизованная кровь, стекал по ее геральдическим цепям. Не мудрено, что запрещается автомобилям стоять подле этих страшных маленьких калек. Я пустил опять мотор и подъехал к телефонной будке. Когда наконец последняя из нужных монет со звяком провалилась, позволив другому голосу отозваться на мой, я получил сюрприз.

Шерли Хольмс, начальница лагеря, сообщила мне, что в понедельник (нынче была среда) моя Долли ушла со своей группой на экскурсию в горы и вернется только к ночи. Она предложила мне приехать на следующий день. Спросила, не случилось ли чего? Не входя в подробности, я ответил, что мою жену перевезли в клинику, что ее положение серьезное, что девочке не нужно говорить, что оно серьезное, но что она должна быть готова ехать со мной завтра днем. Наши голоса распростились под взрыв горячего благожелательства, и вследствие какого-то оригинального изъяна в механизме, все мои монеты вывалились обратно из автомата с тем бряцанием, которое сопровождает крупный выигрыш на игровых машинах в Неваде. Это меня рассмешило, несмотря на досадную необходимость отсрочить счастье. Спрашивается, не было ли это внезапное выделение, это судорожное возвращение денег каким-то образом связано в уме у Мак-Фатума с тем, что я выдумал экскурсию, прежде чем узнать о ней?

Что дальше? Я свернул в торговый район Паркинтона и остаток дня (погода прояснилась, весь город отливала стеклянским блеском) посвятил приобретению прелестных обнов для Ло. Господи, на какие прихотливые покупки толкнула Гумберта свойственная ему в эти дни слабость к клетчатым тканям, ярким ситцам, оборкам, пышным коротким рукавчикам, мягкой плиссировке, платьицам, тесно прилегающим наверху и очень широким внизу!

Полюбил я Лолиту, как Вирджинию — По,
И как Данте — свою Беатриче;
Закружились девчонки, раздувая юбчонки:
Панталончики — верх неприличия!

Ласковые голоса спрашивали меня, что именно я желал бы видеть? Купальные костюмы? Они у нас имеются во всех тонах: розовая греза, матовый аквамарин, лиловая головка, красный тюльпан, черный канкан. Как насчет пляжных вещей? А чехлы? Не нужно чехлов. Мы с Ло всегда их терпеть не могли.

Одним из руководств в этом деле послужила мне антропометрическая запись, сделанная ее матерью в день, когда исполнилось Л. 12 лет (читатель помнит, я думаю, книгу «Знай своего ребенка»). У меня было впечатление, что, движимая смутными побуждениями зависти и антипатией, Шарлотта прибавила где лишний дюйм, где лишний фунт; но так как нимфетка, несомненно, подросла за последние семь месяцев, я считал, что в общем могу положиться на эти последние январские измерения: в бедрах — двадцать девять дюймов; объем ляжки (под самым началом ягодицы) — семнадцать; объем икры и окружность шеи — одиннадцать; объем груди — двадцать семь; объем руки выше локтя — восемь; талия — двадцать три; рост — пятьдесят семь; вес — семьдесят восемь американских фунтов; строение — удлинненное; КУР (коэффициент умственного развития) — сто двадцать один; червовидный отросток — не вырезан (слава Богу).

Помимо этих измерений, я, конечно, видел перед собой Лолиту с близкой к галлюцинации ясностью; и так как у меня не переставало гореть лелеемое место у грудной кости, там, где ее шелковистая макушка раза два дошла до уровня моего сердца, и так как я не расставался с ощущением ее теплой тяжести на моих коленях (вследствие чего я всегда «носил» Лолиту, как женщина «носит» ребенка), я не удивился, когда в дальнейшем выяснилось, что мои вычисления более или менее правильны. К тому же, я недавно изучил каталог летних нарядов, что позволило мне выбирать с видом знатока разные миленькие вещи: спортивную обувь, тапочки, туфельки из мятой лайки для мятых девочек и прочее. Накрашенная продавщица в черном, которая помогала мне удовлетворить все эти острые потребности, превращала родительскую науку и точное описание размера в коммерческий эвфемизм «меньше среднего». Другая, постарше, в белом платье, с театральным гримом, казалась несколько потрясенной моими широкими познаниями в области мод для младшего поколения; думала, может быть, что сожительство с цирковой карлицей; посему, когда мне показали юбочку с двумя «пикантными» карманчиками спереди, я нарочно поставил наивный мужской вопрос и был вознагражден улыбками и демонстрацией того, как сзади действовала застежка-молния. Мне тоже доставили много удовольствия всякие трусики и плавки, в которых призраки миниатюрных Лолит егозили, плюхались, ездили на задочках по всему прилавку. Мы закончили сделку на двух скромных бумажных пижамах с круглым воротом фасона «ученик мясника». Мясника Гумберта.

Есть что-то мифическое, колдовское в этих больших магазинах, где, если верить объявлениям, конторская девица может одеться на все случаи дня — от утреннего прихода на службу до вечернего выхода с кавалером — и где ее сестренка может полюбоваться шерстяным свитером, мечтая о том дне, когда она, надев его в школу, заставит биться сердца отсталых гимназистов. Пластиковые манекены в натуральный рост, изображавшие курносых детей с бежевыми, оливковыми, буро-веснуцатыми личиками фавнят, наплывали на меня со всех сторон. Я вдруг заметил, что я единственный покупатель в этом довольно таинственном месте, где я передвигался, как рыба в зеленоватом аквариуме. Я чувал, что странные мысли возникают в уме у томных барышень, сопровождающих меня от прилавка к прилавку, от подводной скалы до заросли морских растений, и отбираемые мною кушачки и браслетики падали, казалось, из русалочьих рук в прозрачную воду. Наконец я купил изящный чемодан, велел сложить в него мои покупки и отправился в ближайшую харчевню, весьма довольный проведенным днем.

Каким-то образом в связи с этим тихим поэтическим миром изысканных товаров мне вспомнился отель с соблазнительным названием: «Привал Зачарованных Охотников», который

упомянула Шарлотта незадолго до моего раскрепощения. Из путеводителя я выяснил, что он находится в Брайсланде — уединенном городке в четырех часах езды от Лолитино лагеря. Я мог бы позвонить, но боясь, что потеряю власть над голосом и разражусь жеманным кваканием на ломаном английском языке, я решил заказать на будущую ночь по телеграфу комнату с двумя постелями. Каким я был неловким, неуверенным, смешным сказочным принцем! Как посмеются надо мной некоторые из моих читателей, узнав о моих затруднениях в составлении телеграммы! Что сказать: Гумберт и дочь? Гумбург с маленькой дочкой? Гомберг и малолетняя девочка? Гомбург и его дитя? Смешная ошибка, в конце концов оказавшаяся в телеграмме — эта буква «г» в конце имени — осталась как бы телепатическим отголоском моих колебаний.

А затем, в бархатном мраке летней ночи, мои мечтания над припасенным мной приворотным зельем. О, скупой Гамбург! Не был ли он сущим «зачарованным охотником» в эти минуты раздумья над своей коробочкой с волшебной амуницией? Мог ли он позволить себе, чтобы рассеять демонов бессонницы, самому испробовать одну из этих аметистовых капсуль? Их было всего сорок — сорок ночей в обществе хрупкого создания, спящего рядом с моим тугостучающим сердцем... Мог ли я в поисках сна лишиться самого себя одной такой ночи? Разумеется, нет! Слишком была драгоценна каждая из этих лилипутовых слив, каждый микроскопический планетарий с его живой россыпью звезд. О, дайте мне хоть разок посентиментальничать! Я так устал быть циником!

26

Меня не отпускает головная боль в тусклом воздухе этой склепоподобной темницы, но я не сдамся. Написал уже свыше ста страниц, а ни до чего еще не договорился. Мой календарь начинает путаться. Я поехал за ней этак в середине августа 1947-го года. Нет, кажется, больше не могу. Сердце, голова — словом, все плохо. Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита. Повторяй это имя, наборщик, пока не кончится страница.

27

Все еще в Паркингтоне. С трудом удалось уснуть на часок. Проснулся от бессмысленного и ужасно изнурительного соития с маленьким мохнатым, совершенно мне неизвестным гермафродитом. К тому времени было шесть часов утра, и мне вдруг пришло на ум, что, пожалуй, недурно приехать в лагерь раньше, чем условлено. Мне оставалось еще около ста миль езды, а потом предстояло добираться до Туманных Гор и Брайсланда. Если я сказал, что приеду за Долли в середине дня, то лишь потому, что мое нетерпеливое воображение требовало скорейшего наступления милосердной ночи; но теперь мне стали мерещиться всякие осложнения и я весь трясся от мысли, что за время отсрочки она может вдруг взять да и позвонить в Рамздэль. Однако, когда в девять тридцать утра я попытался завести мотор, оказалось, что батарея приказала долго жить, и был полдень, когда наконец я покинул Паркингтон.

Я домчался до места своего назначения в половине третьего; оставил автомобиль в сосновой роще, где хулиганского вида рыжий мальчишка в зеленой рубашке занимался в мрачном одиночестве старинной игрой — набрасыванием издали подков на вбитый в землю кол. Он молча указал мне на штукатурчатый домик, где находилась контора лагеря; мне пришлось, замирая от волнения, выслушивать в продолжение нескольких минут пронырливые соболезнования лагерной начальницы, неряшливой, жизнью потрепанной женщины с ржавого цвета волосами. Она сказала, что Долли уложилась и готова ехать; что девочка знает о болезни

матери, но не знает, насколько это серьезно. Не хочет ли г-н Гейз, т. е. г-н Гумберт, познакомиться с лагерными наставниками? Или взглянуть на домики, где помещаются девочки? Каждый из них носит имя одного из зверьков Вальтера Диснея. Или осмотреть Главный дом? А не то послать Чарли немедленно за ней? Девочки как раз кончают украшать столовую для вечеринки (может быть, потом Шерли Холмс расскажет кому-нибудь: на бедняге просто лица не было).

Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми ее мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывающая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом: «и вот еще десять!»; фотографии девчоночек; еще живая цветистая бабочка, надежно приколотая к стенке (отдел природоведения); обрамленный диплом лагерной диетистики; мои дрожащие руки; отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейз за июль («весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей»); шум деревьев и пение птиц, и мое колотящееся сердце...

Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой ее дыхание и голос. Она явилась, волоча свой подсакивавший тяжелый чемодан. «Здрасте, здрасте», и смиренно стала, глядя на меня лукавыми, радостными глазами и приоткрыв нежные губы, на которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка. Была она худее и выше, и на миг мне почудилось, что лицо у нее подурнело по сравнению с мысленным снимком, который я хранил больше месяца: щеки казались впавшими, и слишком частые веснушки как бы размазывали розовую деревенскую красоту ее черт. Это первое впечатление (узенький человеческий интервал между двумя ударами хищного сердца) ясно предугадывало одно: все, что овдовелому Гумберту следовало сделать, все, что он хотел и собирался сделать, — было дать этой осунувшейся, хоть и окрашенной солнцем сиротке *aux yeux battus*^[52] (и даже эти свинцовые тени под глазами были в веснушках) порядочное образование, здоровое, счастливое детство, чистый дом, милых подружек, среди которых (если Парки соблаговолят несчастного вознаградить) он, может быть, найдет хорошенькую отроковицу, предназначенную исключительно для герра доктора Гумберта. Впрочем, во мгновение ока, как говорят немцы, эта небесно-добродетельная линия поведения была стерта, и я догнал добычу (время движется быстрее наших фантазий!), и она снова была моей Лолитой — и даже была ею больше, чем когда-либо. Я опустил руку на ее теплую русую головку и подхватил ее чемодан. Она состояла вся из роз и меда; на ней было ее самое яркое ситцевое платье с узором из красных яблочек; руки и ноги покрывал густой золотисто-коричневый загар; царапинки на них походили на пунктир из крошечных запекшихся рубинов, а рубчатые отвороты белых шерстяных носков кончались на памятном мне уровне; и то ли из-за детской ее походки, то ли оттого, что я помнил ее всегда на плоских подошвах, но казалось, что ее коричнево-белые полуботинки ей слишком велики и что у них слишком высокие каблуки. Прощай, лагерь «Ку», веселый «Ку-ку», прощай, простой нездоровый стол, прощай, друг Чарли! В жарком автомобиле она уселась рядом со мной, прилепнула проворную муху на своей прелестной коленке, потом, энергично обрабатывая во рту резиновую жвачку и быстро вертя рукоятку, опустила окно на своей стороне и опять откинулась. Мы неслись сквозь полосатый, пятнистый лес.

«Как мама?» спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем еще установили, в чем дело. Во всяком случае что-то с желудком.

«Что-то жуткое?»

«Нет, с желудком».

Я объяснил, что нам придется оставаться некоторое время поблизости; больница находилась в деревне около веселого городка Лепингвиля, где в начале девятнадцатого века жил

знаменитый поэт и где мы пересмотрим все кинопрограммы. Она нашла, что проект — первый сорт и спросила, достигнем ли Лепингвиля до девяти вечера.

«Мы будем в Брайсланде к обеду», ответил я. «А завтра посетим Лепингвиль. Какова была вчерашняя экскурсия? Тебе было очень весело в лагере?»

«У-гу».

«Жаль уезжать?»

«Унг-унг».

«Говори, Ло, а не хрюкай. Расскажи мне что-нибудь».

«Что именно, па-па-ша?» (последнее слово она произнесла очень отдельно и не без иронии).

«Все равно что».

«Можно вас называть на ты и папа?» (при этом прищурилась, глядя на дорогу).

«Можно».

«Вот умора! Когда это вы в маму успели втюриться?»

«Придет день, милая Ло, когда ты поймешь многие чувства и положения, как, например, гармонию и красоту чисто духовных отношений».

«Как же!» произнесла грубая нимфетка.

В диалоге наступила неопределенная пауза, заполненная живописной окрестностью.

«Посмотри-ка, Ло, сколько там коров на том склоне!»

«Мне кажется, меня вырвет, если посмотрю на еще одну корову».

«Знаешь, Ло, я ужасно скучал по тебе».

«А вот я по тебе не скучала. Мало того — мерзко изменяла, но это ровно ничего не значит, так как ты все равно перестал мной интересоваться. Вы здорово лупите, господин. Гораздо скорее, чем мама».

Я перешел со слепой скорости в семьдесят миль в час на полуслепую в пятьдесят.

«Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться?»

«Ну, во-первых, ты меня еще не поцеловал».

Внутренне обмирая, внутренне изнывая, я смутно увидел впереди сравнительно широкую обочину и с подскоками и покачиванием съехал на траву. Помни, что это ребенок, помни, что это...

Не успел автомобиль остановиться, как Лолита так и всплыла в мои объятия. Не смея, не смея дать себе волю — не смея позволить себе понять, что именно *это* (сладкая влажность, зыбкий огонь) и есть начало той несказанной жизни, которую усилием воли при умелой поддержке судьбы я наконец заставил осуществиться — не смея по-настоящему ее целовать, я прикоснулся к ее горячим раскрывающимся губам с величайшим благоговением, впивал ее мелкими глотками — о, совершенно безгрешно! Но она, нетерпеливо ерзнув, прижала свой рот к моему так крепко, что я почувствовал ее крупные передние зубы и разделил с ней мятный вкус ее слюны. Я, конечно, знал, что с ее стороны это только невинная игра, шалость подростка. Подражание подделке в фальшивом романе. Всякий душеврачитель, как и всякий растлитель, подтвердит вам, что пределы и правила этих детских игр расплывчаты или, во всяком случае, слишком по-детски subtilны, чтобы их мог уловить взрослый партнер, а потому я ужасно боялся зайти слишком далеко и заставить ее отпрянуть с испуганным отвращением, и так как мне больше всего, и мучительнее всего, хотелось поскорее пронести ее под полой в герметическое уединение «Зачарованных Охотников», куда было еще восемьдесят миль, благословенное наитие разомкнуло наше объятие — за четверть секунды до того, как автомобиль дорожной полиции затормозил около нас.

Его краснолицый и густобровый водитель уставился на меня:

«Скажите, вас не обогнал у перекрестка синий седан, той же фирмы, как ваш? Не заметили?»

«Мы не видели», сказала Ло, услужливо-поспешно перегнувшись через меня и положив невинные руки ко мне на колени; «только вы совсем уверены, что он был синий, потому что —»

Патрульщик (за какой нашей тенью гнался он?) наградил красоточку лучшей своей улыбкой и произвел полный поворот.

Мы поехали дальше.

«Экий балда!» воскликнула Ло. «Он должен был *тебя* сцапать».

«Помилуй, почему же — меня?»

«Потому что предельная скорость в этом дурацком штате всего пятьдесят миль в час, а мы — Нет, нет, не замедляй, ты тоже глуп как пуп. Он теперь далеко».

«Нам еще предстоит длинный перегон», сказал я, «и мне хотелось бы быть там до темноты. Так что теперь води себя как хорошая девочка».

«Скверная, скверная девочка», уютно проговорила Ло. «Малолетняя деликвенточка, несмотря на прямоту и симпатичность. А свет был красный. Я никогда не видала такой езды».

Мы безмолвно прокатили через безмолвный городишко.

«Вот бы мама взбесилась, если бы узнала, что мы с тобой любовники!»

«Господи, Лолита, как можно говорить такие вещи?»

«Но мы действительно любовники, правда?»

«Никак нет. Погода что-то опять портится. Не желаешь ли ты мне рассказать про эти твои маленькие проказы в лагере».

«Ты что-то очень книжно выражаешься, милый папаша».

«А тебя легко ошарашить?»

«Нет. Говори».

«Настойчиво прошу ответить».

«Давай остановимся на тихой боковой дорожке, и я тебе расскажу».

«Ло, я серьезно прошу тебя не дурачиться. Ну?»

«Ну — я принимала деятельное участие в лагерной жизни».

«Ensuite?»^[53]

«Ансуит, меня учили жить групповой жизнью, счастливой и полной жизнью, и при этом развивать собственную гармоничную личность. Словом, быть паинькой».

«Да, я видел что-то в этом роде в вашей брошюрке».

«Мы любили петь хоровые песни у большого камина или под паршивым звездным небом, и звучание собственного счастья в каждой из нас сливалось с голосом группы».

«У тебя чудная память на цитаты, Ло, но я бы тебя попросил воздержаться от бранных словечек».

«Гэрл-скаутский девиз», продолжала Лолита восторженно, «это также и мой девиз. Я наполняю жизнь достойными делами, как, например — нет, лучше без примеров. Мой долг быть полезной. Я друг всех животных мужского пола. Я исполняю их прихоти. Я всегда в хорошем настроении. Вот проехала еще полицейская машина. Я экономна и всегда грешу мыслью, словом и делом».

«Теперь надеюсь, что это все, моя остроумная детка».

«Да, все. Впрочем, погоди-ка. Вот еще что: мы пекли пироги на солнечной плите с рефлектором. Как интересно, правда?»

«Конечно, интересно».

«За это время мы вымыли разбильон тарелок. „Разбильон“ — это значит „много — много — много“ на сюсюкающем учительском диалекте. Ах да, чуть не забыла главнейшее, как

выражается мама. Мы делали рентгеновские снимки. Это считалось страшно забавным».

«C'est bien tout?»^[54]

«C'est. Не считая малюсенькой вещи, о которой не могу рассказать без того, чтобы не покраснеть сплошь».

«Расскажешь после?»

«Да — если будем сидеть в темноте и можно будет говорить шепотом. Ты что — спишь в комнате по-старому или в одной куче с мамой?»

«У себя по-старому. Твоя мать подвергнется, может быть, очень серьезной операции, Ло».

«Остановись-ка вот там у молочного бара», сказала Ло.

Сидя на высоком табурете, с полосой солнца, пересекающей ее голую коричневую руку, Лолита получила башню разнородного мороженого, политого каким-то синтетическим сиропом. Оно было воздвигнуто и подано ей ядреным, прыщавым парнем в засаленном галстучке бабочкой, который глазел на мою хрупкую, легко одетую девочку с плотоядным бесстыдством. Нетерпение добраться до Брайсланда и «Зачарованного Привала» становилось невыносимым. К счастью, она справилась с мороженым в два счета, как всегда.

Я спросил: «Сколько у тебя есть мелочи?»

«Ни одного гроша», ответила она, грустно поднимая брови и показывая мне пустую внутренность кошелька.

«Это будет исправлено, но все в свое время», напыщенно проговорил я. «Ну что же — пошли?»

«Слушай, где у них тут уборная?»

«Я туда тебя не пущу. Это, наверное, грязнящая дыра. Ну, пойдем же».

Была она, в сущности, послушной девчоночкой, и я не удержался и поцеловал ее в шею, когда мы опять сели в автомобиль.

«Не смей этого!» сказала она, глядя на меня с непритворным удивлением. «Я не люблю, чтобы меня лизали. Противный развратник!»

Приподняв плечико, она потерлась об него шеей.

«Виноват», пробормотал я. «Я к тебе очень привязан, вот и все».

Мы продолжали путь под хмурым небом вверх по извилистой дороге, а потом опять вниз.

«Что же, и я к тебе вроде как бы привязана», сказала Лолита замедленно-нежным тоном и, вроде как бы вздохнув, вроде как бы подвинулась ближе ко мне.

(О, Лолита моя, мы никогда не доедем!)

Сумерки уже начинали пропитывать прелестный маленький Брайсланд, его архитектуру в ложноколониальном стиле, сувенирные лавки и европейские липы, когда мы поехали по его слабоосвещенным улицам в поисках «Зачарованного Привала». Воздух, весь бисерный от ровной мороси, оставался тепл и зелен, и длинная очередь, состоявшая главным образом из детей и стариков, уже образовалась перед кассой кинематографа, струящегося огнистыми самоцветами.

«Ах, этот фильм я очень хочу посмотреть! Пойдем сразу после обеда. Пожалуйста, пойдем!»

«Что же, можно», протянул Гумберт, хотя он-то, хитрый, распаленный чорт, отлично знал, что к девяти часам вечера, когда начнется его собственное представление, она будет спать мертвым сном у него в объятиях.

«Полегче!» вскрикнула Ло, которую бросило вперед, когда проклятый грузовик перед нами, с запульсировавшими карбункулами на задку, остановился у перекрестка.

Я подумал, что, если мы не доедем до гостиницы, — мигом, чудом, на ближайшем углу, — я утрачу всякую власть над Гейзовским рыдваном с его беспомощными «дворниками» и

сумасбродными тормозами. Увы, прохожие, к которым я обращался за указаниями, либо сами не знали города, либо переспрашивали, морщась: «Зачарованных...?» — точно я был сумасшедший; а не то пускались в такие замысловатые объяснения, с геометрическими жестами, географическими рассуждениями и чисто местными приметами (...затем поверните на юг... не доезжая здания суда...), что я не мог не сбиться с пути в лабиринте их доброжелательного вздора. Лолита, чьи прелестные разноцветные внутренности уже переварили съеденное лакомство, предвкушала плотный обед и начинала егозить. Для меня же, хоть я давно примирился с существованием некой вторичной судьбы (незадачливой секретарши Мак-Фатума, так сказать), лезущей с пустяками и мешающей грандиозным планам великодушного начальника, эти скрежещущие остановки, это передвижение наугад по бульварам Брайсланда были, пожалуй, самым тяжким испытанием, до сих пор выпавшим на мою долю. Впоследствии я не раз смеялся, вспоминая свою неопытность — как я с мальчишеским упрямством хотел найти именно эту гостиницу с прихотливым названием, — тогда как вдоль всего нашего пути неоновые знаки бесчисленных мотелей предлагали свободные комнаты, готовые принять кого угодно — коммивояжеров, беглых каторжников, импотентов, большие семьи, а также самые блудливые и ненасытные пары. О, мирные автомобилисты, скользящие сквозь черноту летней ночи, какие игры, какие извороты похоти вы могли бы узреть с вашего безупречно гладкого шоссе, если бы эти комфортабельные шалаши, вдруг лишившись всякой пигментации, стали прозрачны, как ларчики из стекла!

Чудо, которого я жаждал, все-таки свершилось. Мужчина и девушка, более или менее сопряженные в темноте автомобиля, стоявшего под древесной капелью, сообщили нам, что мы находимся в самом сердце городского парка, но что, стоит только взять влево у следующего светофора, и мы будем у цели. Никакого светофора мы не нашли — парк был черен как грех, которому он служил прикрытием, — но вскоре, подпав под плавные чары хорошо спланированного поворота, мы сквозь туман разглядели алмазное мреяние огней, затем — ночной блеск озера, и вот он предстал перед нами, дивно и неотвратимо, под призрачными деревьями, наверху, где кончался обсыпанный гравием въезд — белый чертог «Зачарованных Охотников»!

Сначала показалось, что запаркованные автомобили, устроившиеся рядом, как у корыта свиньи, закрывают подступ; но вдруг, как по волшебству, внушительных размеров открытая машина, отливавшая вишневым лоском под освещенным огнями дождем, пришла в движение, энергично попятилась под управлением широкоплечего господина — и мы благодарно скользнули в образовавшееся пространство. Я тут же попенял на свою поспешность, заметив, что мой предшественник теперь воспользовался чем-то вроде гаражика, под навесом которого было достаточно места и для второго автомобиля; но мое нетерпение не позволило мне последовать его примеру.

«Ну и шик!» заметила моя вульгарная красотка, щурясь на лепной фасад. Она вылезла из автомобиля в шелест морозящего дождя и рывком детской ручки оправила платье, застрявшее между щечками персика, — перефразирую Роберта Браунинга. При свете, обливающим фронтон, шарахались и качались на белых колоннах увеличенные силуэты каштановых листьев. Я отпер багажник. Седой горбатый негр в довольно приблизительной ливрее положил на тачку наши чемоданы и медленно покатыл их в холл. Холл был полон старых дам и священников. Лолита опустила на корточки, чтобы осыпать ласками бледномордого, в синих веснушках, с черными висячими ушами кокер-спаньеля, который на флоре ковра прямо-таки таял под ее ладонью — да и кто бы не таял, о мое бедное сердце...

Я же тем временем прочищал горло и, сквозь толпу, себе путь к отельной конторе. Там лысый, пороссячьего вида, старик — все были стары в этой старой гостинице — осмотрел меня,

подозрительного брюнета, с учтивой улыбкой, засим неторопливо достал мою (исковерканную) телеграмму, не поборол темных сомнений, обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, и наконец сказал, что «очень извиняется» — держал комнату с двумя постелями до половины седьмого вечера, а теперь она сдана: церковный съезд, видите ли, совпал с выставкой цветов в Брайсланде.

«Мое имя», холодно перебил я, «не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт, и мне все равно, пусть будет одиночный номер, только прибавьте койку для моей маленькой дочери, ей десять лет, и она очень устала».

Розовый старец добродушно поглядел на Лолиту, которая все еще стояла на корточках, полуоткрыв губы, слушая в профиль, что говорила ей из глубин кретонового кресла хозяйка собаки, древняя старуха, обвитая фиолетовыми вуалями.

Какие бы сомнения ни мучили подлеца, они рассеялись от вида моей арийской розы. Он сказал, что, пожалуй, найдется кое-что, да — номер с двойной постелью. Что же касается кровати —

«Мистер Ваткинс, как насчет лишней кровати...?» Кроваткинс, тоже розовый и лысый, с белыми волосками, растущими из ушных и других дыр, подошел и заговорил, а я уже развинчивал вечное перо. Нетерпеливый Гумберт!

«Наши двойные постели — в сущности тройные», уютно говорил он, укладывая спать отца и дочку. «Помнится, был у нас как-то особенно большой наплыв, и мы положили в одну постель трех дам и вот такую девочку, как вашу. Мне даже кажется, что одна из дам была переодетый мужчина (моя отсебятина). Впрочем, нет ли лишней койки в номере сорок девятом, мистер Швайн?»

«Боюсь, ее дали семейству Свун», сказал Швайн, первый из двух шутов.

«Мы уж как-нибудь справимся», сказал я. «Попозже к нам, может быть, присоединится моя жена — но даже так, я думаю, мы справимся».

К этому времени обе розовых свиньи уже забыли свое гумбергофобство. Медленным и ясным почерком злоумышленника я написал: Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью, 342, Лоун Стрит, Рамздэль. Ключ (номер 342!) был мне мельком показан (так фокусник показывает монету, которую он собирается спальмировать) и тут же передан Дяде Тому. Лолита, оставив собаку (так и меня она оставит), поднялась с корточек; дождевая капля упала на могилу Шарлотты; спустившаяся с небес миловидная негритянка отворила изнутри дверь лифта, и обреченное дитя вошло в него, а за ней последовали ее покашливающий отец и Том с чемоданами, как распыленный краб.

Пародия на гостиничный коридор. Пародия на тишину и на смерть.

«Смотри, ведь это номер нашего дома», весело воскликнула Лолита.

Двухспальная кровать, зеркало, двухспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, та же кровать в шкафовом зеркале, два кресла, стол со стеклянным верхом, два ночных столика, двухспальная между ними кровать: точнее, большая кровать полированного дерева с бархатистым покрывалом пурпурного цвета и четой ночных ламп под оборчатými красными абажурами.

Мне очень хотелось положить пятидолларовую бумажку на эту бледно-бурую ладонь, но побоялся, что такая щедрость может быть неправильно истолкована, а потому положил четвертак. Прибавил еще один. Он удалился. Щелк. Enfin seuls.^[55]

«Как же так — мы будем спать в одной комнате?» сказала Лолита, динамически гримасничая, как делала, бывало, без гнева, без гадливости (хотя явно на границе этих чувств), а именно динамически, когда хотела нагрузить свой вопрос особенно истовой значительностью.

«Я просил у них добавочную койку. Которую, если хочешь, я возьму себе».

«Ты с ума сошел», сказала Лолита.

«Почему же, моя дорогая?»

«Потому, да-ра-гой, что когда да-ра-гая мама узнает, она с тобой разведется, а меня задушит».

Просто — динамически; не принимая всерьез.

«Послушай меня», сказал я садясь; она же стояла в двух шагах от меня и с удовольствием смотрела на свое отражение, приятно удивленная им, наполняя собственным розовым светом удивленное и довольное зеркало шкафной двери. «Послушай меня, Лолита. Давай установим кое-что раз навсегда. В чисто практическом смысле, я — твой отец. Я к тебе очень нежно привязан. В отсутствие твоей матери я отвечаю за твое благополучие. Мы небогаты, и поскольку мы путешествуем, нам придется — нам придется быть много вместе. Когда двое живут в одной комнате, неизбежно получается — как бы это назвать — получается некоторое...»

«Кровосмешение», подсказала Лолита — и вошла в шкаф, вышла из него с молодым золотым гоготком, отворила смежную дверь, и, предусмотрительно заглянув туда своими странными дымчатыми глазами, чтобы не ошибиться опять, удалилась в ванную.

Я растворил окно, сорвал с себя пропитанную потом рубашку, переделся, проверил в кармане пиджака, там ли пилюли, и отпер чемодан.

Она выплыла из ванной. Я попробовал ее обнять — так, невзначай, капля сдержанной нежности перед обедом.

Она сказала: «Предлагаю похерить игру в поцелуй и пойти жрать».

Тут-то я поднес свой сюрприз.

Ах, мечта мечты моей! Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах (что у нее с глазами, подумал я, с этими большими серыми глазами, или мы оба погружены в один и тот же заколдованный туман?). Она подступала к ней, довольно высоко поднимая ноги на довольно высоких каблуках и сгибая очаровательно мальчишеские колени так медленно, в расширившемся пространстве, словно шла под водой или как в тех снах, когда видишь себя невесомым; затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую, медного шелка, кофточку, все так же медленно, все так же молча, расправив ее перед собой, как если бы была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенистых крыльев. Затем стала вытаскивать (пока я стоял и ждал ее) медленную змею блестящего пояса и попробовала на себе.

Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз — ни дать ни взять банальнейшая шлюшка. Ибо вот кому подражают нимфетки — пока мы стонем и умираем.

«Чем поцелуй пыл блох?» пробормотал я, дыша ей в волосы (власть над словами ушла).

«Если уж хочешь знать», сказала она, «ты делаешь не так, как надо».

«Накажи, как».

«Все в свое время», ответила виновница моего косноязычия. *Seva ascendes, pulsata, brulans, kitzelans, dementissima. Elevator clatterans, pausa, clatterans, populus in corridoro. Hanc nisi mors mihi adimet niemo! Juncea puellula, jo pensavo fondissime, nobserva nihil quidquam;* но разумеется, в следующую минуту я мог бы совершить какую-нибудь ужасную оплошность; к счастью, она вернулась к сокровищнице.

Из ванной, где мне пришлось довольно долго переключаться для скромной нужды, я слышал (стоя, попадая мимо, задерживая дыхание) «ахи» и «охи» девочкиного восхищения.

Руки она вымыла только потому, что ей понравилось отельное мыльце-образчик.

«Пора идти, милая; я думаю, ты так же проголодалась, как и я».

И вот мы отправились к лифту, дочка — покачивая своей старой белой сумочкой, отец — на шаг впереди (*nota bene*: никогда не идти позади нее, ведь она не дама). Пока мы стояли (теперь уже рядом), дожидаясь лифта, она закинула голову, безудержно раззевалась и тряхнула кудрями.

«В котором часу вас будили в лагере?»

«В половине» — она подавила новый зевок — «седьмого», дозевнула до конца с содроганием всего тела. «Седьмого», повторила она, и горло у нее снова стало наполняться.

Гостиничный ресторан приветствовал нас запахом жареного жира и стеклянистой улыбкой. Это было обширное и претенциозное помещение с жеманными фресками по стенам, изображающими охотников, зачарованных в разнообразных положениях среди множества неинтересных животных, дриад и деревьев. Несколько рассыпанных по зале старых дам, два священника и широкоплечий господин в клетчатом пиджаке молча кончали обедать. Ресторан закрывался в девять, и каменнолицые подавальщицы в зеленой форме отчаянно спешили — на мое счастье — от нас отделаться.

«Посмотри, как он похож, как невероятно похож на Куильти», вполголоса проговорила Лолита, острым загорелым локтем не то что указывая, но страстно стремясь указать на одинокого господина в спортивном пиджаке, сидящего в дальнем углу залы.

«На кого — на нашего толстого дантиста?»

Лолита задержала во рту только что взятый глоток воды и поставила обратно на стол свой затанцевавший стакан.

«Да глупости», сказала она, поперхнувшись смехом, «я говорю о том писателе, который на папиросных рекламах».

О, слава! О, женщины!

Когда принесли и бухнули на стол сладкое — для барышни огромный клин вишневого торта, а для ее покровителя бомбочку сливочного мороженого (значительную часть которого она, не задумываясь, прибавила к своему торту), — я вынул из кармана пузырек, содержащий ПАПИНЫ Пилюли. Оглядываясь ныне на бледную немочь этих фресок, на этот странный, чудовищный миг, могу объяснить свое тогдашнее поведение только механическим действием безвоздушного пространства, присущего снам, в котором вращается поврежденный ум; но в тот миг все мне казалось совершенно простым и неизбежным. Я оглядел зал, убедился, что последний из обедавших ушел, откупорил пузырек и с величайшим хладнокровием наклонил его над ладонью. Я не раз прорепетировал перед зеркалом этот жест, которым быстро подносишь пустую горсть ко рту и отправляешь в него несуществующую пилюлю. Как я и ожидал, она набросилась на пузырек с крупными, обольстительно-яркими капсюлями, начиненными дурманом Спящей Красавицы.

«Синенькие!», воскликнула она, «лилово-синенькие. Из чего они сделаны?»

«Из летнего неба», ответил я, «из слив, из смокв, из виноградной крови царей!»

«Нет, серьезно... Пожалуйста!»

«Ах, это просто Фиалкапсюли. Витамин Икс. Делает тебя сильным, как бык-с или штык-с. Хочешь попробовать?»

Лолита протянула руку, энергично кивая.

Я надеялся, что зелье подействует быстро. Оно подействовало молниеносно. Позади был длинный день, утром она каталась на лодке с Варварой (сестра которой заведовала водяным спортом, как моя упоительно-доступная нимфетка начала теперь мне рассказывать промеж полураздавленных небораспирающих зевков, которые все увеличивались в объеме) и еще занималась кой-чем. Кино, смутно мечтавшееся ей, было, конечно, забыто к тому времени,

когда мы покинули ресторан. Стоя со мной в лифте, она прислонилась ко мне, полуулыбаясь («Сказать ли, чем я занималась?»), полусмежая темные веки. «Спать хочется, небось?» спросил Дядя Том, который орудовал лифтом, поднимавшим тихого джентльмена франко-ирландского происхождения и его сонную дочку, а также двух увядших женщин, экспертов по розам, которые тоже глядели участливо на мою хрупкую, загорелую, пошатывающуюся, розовую, одурманенную душеньку. Мне чуть ли не на руках пришлось внести ее в номер. Она села на край постели, слегка качаясь, и заговорила каким-то воркотливо-тусклым растянутым тоном.

«Если я тебе скажу... если я тебе скажу, ты мне обещаешь (такая сонная! Головка валится, глаза гаснут...), обещаешь не жаловаться на лагерь?»

«После, Лолита. Теперь ложись. Я тебя оставлю одну, чтобы ты легла. Даю тебе десять минут».

«Ах, какая я была гадкая», продолжала она, трясая волосами, снимая с них медленными пальцами черную бархатную ленточку. «Дай-ка я тебе скажу».

«Завтра, Лолита. Ложись, ложись. Ради Бога ложись».

Ключ я сунул в карман и спустился по лестнице.

Милостивые господа присяжные! Будьте терпеливы со мной! Позвольте мне отнять частичку вашего драгоценного времени! Итак, наступил *le grand moment*^[56]. Я оставил Лолиту, все еще сидящую на краю бездонной постели, дремотно поднимающую ногу, вяло возящуюся со шнурками и при этом показывающую неполную сторону голой ляжки до самого шва штанишек в паху — она всегда со странной рассеянностью или бесстыдством, или со смесью того и другого относилась к подобному оголению. Вот, значит, каков был заветный образ ее, который я запер в комнате, предварительно удостоверившись, что на двери нет задвижки снутри. Ключ с нумерованным привеском из резного дерева тотчас же превратился в увесистое «сезам — отворись», в сказочную отмычку, могущую отпереть блаженное и страшное будущее. Он был мой, он был часть моего горячего, волосистого кулака. Через несколько минут — скажем, двадцать, скажем, полчаса (*sicher ist sicher*^[57], как говаривал мой дядя Густав), я отопру дверь номера 342 и найду мою нимфетку, мою красу и невесту, в темнице хрустального сна. Присяжные! Если бы мой восторг мог звучать, он бы наполнил эту буржуазную гостиницу оглушительным ревом. И единственное, о чем жалею сегодня, это что я не оставил молча у швейцара ключ 342-ой и не покинул в ту же ночь город, страну, материк, полушарие и весь земной шар.

Позвольте объяснить. Меня не слишком смутили ее покаянные иносказания. Я все еще был твердо намерен придерживаться решения щадить ее чистоту, работая лишь под покровом ночи над совершенно усыпленной наркозом голенькой крошкой. «Сдержанность и благоговение» — вот был мой всегдашний девиз. Я намерен был придерживаться его, даже если бы эту чистоту (между прочим, основательно развенчанную современной наукой) слегка подпортило какое-нибудь ребячье эротическое переживание (по всей вероятности, гомосексуального порядка) в этом ее мерзостном лагере. Конечно, в силу старомодных европейских навыков я, Жан-Жак Гумберт, принял на веру, когда впервые ее увидел, два с половиной месяца тому назад, что она так непорочна, как полагается по шаблону быть «нормальному ребенку» с самой той поры, когда кончился незабвенный античный мир с его увлекательными нравами. В нашу просвещенную эру мы не окружены маленькими рабами, нежными цветочками, которые можно сорвать в предбаннике, как делалось во дни Рима; и мы не следуем примеру величавого Востока в еще более изнеженные времена и не ласкаем спереди и сзади услужливых детей, между

бараниной и розовым шербетом. Все дело в том, что старое звено, соединявшее взрослый мир с миром детским, теперь оказалось разъятым новыми обычаями и законами. Хотя я и интересовался одно время психиатрией и общественным призрением, я в сущности почти ничего не знал о детях. Ведь все-таки Лолите было только двенадцать лет, и какие бы я поправки ни делал на среду и эпоху (даже принимая во внимание разнузданность американских детей школьного возраста), мне казалось, что развратные игры между этими резвыми подростками происходят все-таки позже, да и в другой обстановке. Посему (подбираю опять нить моего рассуждения) моралист во мне обходил вопрос, цепляясь за условные понятия о том, что собой представляют двенадцатилетние девочки. Детский психиатр во мне (шарлатан, как большинство из них, но это сейчас неважно) пережевывал новофрейдистский гуляш и воображал мечтательную и экзальтированную Лолиту в «латентной» фазе девичества. Наконец, сексуалист во мне (огромное и безумное чудовище) ничего бы не имел против наличия некоторой порочности в своей жертве. Но где-то по ту сторону беснующегося счастья совещались растерянные тени — и как я жалею, что им не внял! Человеческие существа, слушайте! Я должен был понять, что Лолита уже оказалась чем-то совершенно отличным от невинной Аннабеллы и что нимфическое зло, дышащее через каждую пору замороженной девочки, которую я готовил для тайного услаждения, сделает тайну несбыточной и услаждение — смертельным. Я должен был знать (по знакам, которые мне подавало что-то внутри Лолиты, — настоящая детская Лолита или некий изможденный ангел за ее спиной), что ничего, кроме терзания и ужаса, не принесет ожидаемое блаженство. О, крылатые господа присяжные!

Она моя, моя, ключ в кулаке, кулак в кармане, она моя! Путем заклинаний и вычислений, которым я посвятил столько бессонниц, я постепенно убрал всю лишнюю муть и, накладывая слой за слоем прозрачные краски, довел их до законченной картины. На этой картине она являлась мне обнаженной — ничего на ней не было, кроме одного носочка да браслета с брелоками; она лежала, раскинувшись, там, где ее свалило мое волшебное снадобье; в одной ручке была еще зажата бархатная ленточка, снятая с волос; ее прянично-коричневое тело, с белым негативом коротенького купального трико, отпечатанным на загаре, показывало мне свои бледные молодые сосцы; в розовом свете лампы шелковисто блестел первый пух на толстеньком холмике. Огромный ключ со смуглым ореховым привеском был у меня в кармане.

Я бродил по различным залам, озаренный снутри, сумрачный снаружи: ведь лицо вождения всегда сумрачно; вождение никогда не бывает совершенно уверенным — даже и тогда, когда нежная жертва заперта у тебя в крепости, — что какой-нибудь дьявол-конкурент или влиятельный божок не норовит отменить приготовленный для тебя праздник. Выражаясь вседневным языком, надо было выпить, но бара не оказалось в этой старой почтенной гостинице, полной запревших филистеров и стилизованных вещей.

Меня отнесло в мужскую уборную. Покидавший ее посетитель в клерикально-черном костюме, с душой, *comme on dit*^[58], нараспашку, проверяя гульфик (жест, который венский мудрец объясняет желанием посмотреть, все ли взято), спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я (Сигизмунд Второй) сказал, что Пар — парень на ять, после чего я смял в комочек бумажную салфеточку, которой вытирал кончики пальцев — они у меня весьма чувствительные — и, ловко метнув его в приготовленный для этого ресептакль, выплыл в холл. Удобно опершись обоими локтями на край конторки, я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала; и как насчет койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила (покойница, разумеется, звонить не могла) и что если мы останемся, покойку поставят завтра. Из большого многолюдного помещения с надписью над дверью «Охотничий Зал» доносился гул многих голосов, обсуждавших не то садоводство, не то бессмертие души. Другая комната, под названием «Малиновая», вся облитая

светом, со сверкающими столиками и одним длинным столом с морсом и бисквитами, была еще пуста, ежели не считать отессы (увядшей женщины с характерной для отесс стеклянистой улыбкой и Шарлоттиной манерой говорить), которая, вся струясь, подошла ко мне и осведомилась, не господин Брэддок ли я, потому что, если так, мисс Борода меня как раз искала. «Вот уж имя для женщины», заметил я и не спеша вышел.

Приливала и отливала моя радужная кровь. Я решил ждать до половины десятого. Вернувшись в холл, я застал там перемену: некоторое число лиц, в цветистом шелку или черном сукне, образовало отдельные небольшие группы, и эльф случая потешил мой взгляд прелестным ребенком Лолитиных лет, в платье Лолитиногo фасона, но белом, и с белой ленточкой, придерживавшей ее черные волосы. Она не была особенно хорошенькая, но она была нимфетка, и ее голые, бледно-фарфоровые ноги и лилейная шея образовали на одно незабвенное мгновение чрезвычайно приятную антифонию (если можно выразить музыкальным термином ощущение в спинном мозгу) к моей жажде Лолиты, румяной и загорелой, возбужденной и оскверненной. Бледненькая девочка почувствовала мой взгляд (который был, впрочем, совершенно небрежным и благодушным) и, будучи до смешного застенчивой, ужасно смутилась, закатывая глаза, и прижимая тыл руки к щеке, и одергивая платице, и наконец повернулась ко мне худыми подвижными лопатками, нарочито разговаривая со своей коровистой мамашей.

Я покинул шумный холл и вышел наружу; некоторое время я стоял на белых ступенях, глядя на карусель белесых ночных мотыльков, вертевшихся вокруг фонаря в набухшей сыростью черноте зыбкой беспокойной ночи, и думал: все, что сделаю, все, что посмею сделать, будет, в сущности, такая малость... Вдруг я почуял в сумраке, невдалеке от меня, чье-то присутствие: кто-то сидел в одном из кресел между колоннами перрона. Я, собственно, не мог его различить в темноте, но его выдал винтовой скрежет открываемой фляжки, за которым последовало скромное бульканье, завершившееся звуком мирного завинчивания. Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос:

«Как же ты ее достал?»

«Простите?»

«Говорю: дождь перестал».

«Да, кажется».

«Я где-то видал эту девочку».

«Она моя дочь».

«Врешь — не дочь».

«Простите?»

«Я говорю: роскошная ночь. Где ее мать?»

«Умерла».

«Вот оно что. Жаль. Скажите, почему бы нам не пообедать завтра втроем? К тому времени вся эта сволочь разъедется».

«Я с ней тоже уеду. Спокойной ночи».

«Жаль. Я здорово пьян. Спокойной ночи. Этой вашей девочке нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?»

«Спасибо, сейчас не хочу».

Он чиркнул спичкой, но оттого, что он был пьян, или оттого, что пьян был ветер, пламя осветило не его, а какого-то глубокого старца (одного из тех, кто проводит остаток жизни в таких старых гостиницах) и его белую качалку. Никто ничего не сказал, и темнота вернулась на прежнее место. Затем я услышал, как гостиничный старожил раскашлялся и с могильной гулкостью отхаркнулся.

Я покинул веранду. В общем прошло уже полчаса. Напрасно я не попросил у него глотка

виски. Напряжение начинало сказываться. Если скрипичная струна может страдать, я страдал, как струна. Однако было бы неприлично показать, что спешу. Пока я пробирался сквозь созвездие людей, застывших в одном из углов холла, ослепительно блеснул магний — и ослабившийся пастор Брэддок, две дамы патронессы с приколотыми на груди неизбежными орхидеями, девочка в белом платье и, по всей вероятности, оскаленные зубы Гумберта Гумберта, протискивающегося боком между зачарованным священником и этой девочкой, казавшейся малолетней невестой, были тут же увековечены, — поскольку бумага и текст маленькой провинциальной газеты могут считаться вековыми. У лифта стояла другая щебечущая кучка. Я опять предпочел лестницу. Номер 342 находился около другой, наружной лестницы для спасения на случай пожара. Можно было еще спастись — но ключ повернулся в замке, и я уже входил в комнату.

Дверь освещенной ванной была приоткрыта; кроме того, сквозь жалюзи пробивался скелетообразным узором свет наружных фонарей; эти скрещивающиеся лучи проникали в темноту спальни и позволяли разобраться в следующем положении.

Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Ее сквозящее через легкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки — и свою и мою; кудри были растрепаны; полоса бледного света пересекала ее верхние позвонки.

Я сбросил одежду и облачился в пижаму с той фантастической мгновенностью, которую принимаешь на веру, когда в кинематографической сценке пропускается процесс переодевания; и я уже поставил колено на край постели, как вдруг Лолита повернула голову и уставилась на меня сквозь полосатую тень.

Вот этого-то вошедший не ожидал! Вся затея с пилюлькой-люлькой (подловатое дело, *entre nous soit dit*^[59]) имела целью навеять сон, столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить, а вот, подите же, она вперилась в меня и, с трудом ворочая языком, называла меня Варварой! Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для нее тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадежным вздохом, Долли отвернулась, приняв свое первоначальное положение. Минуты две я стоял, напряженный, у края, как тот парижский портной, в начале века, который, сшив себе парашют, стоял, готовясь прыгнуть с Эйфелевой башни. Наконец я взгромоздился на оставленную мне узкую часть постели; осторожно потянул к себе концы и края простынь, сбитых в кучу на юге от моих каменно-холодных пяток; Лолита подняла голову и на меня уставилась.

Как я узнал впоследствии от услужливого фармацевта, лиловая пилюля не принадлежала даже к большому и знатному роду барбиталовых наркотиков: неврастенику, верящему в ее действие, она, пожалуй, помогла бы уснуть, но средство было слишком слабое, чтобы надолго уложить шуструю, хоть и усталую нимфетку. Неважно, был ли рамздэльский доктор шарлатаном или хитрецом. Важно, что я был обманут. Когда Лолита снова открыла глаза, я понял, что, даже если снотворное и подействует через час или полтора, безопасность, на которую я рассчитывал, оказалась ложной. Тихо отвернувшись, она уронила голову на подушку — на ту, которой я был несправедливо лишен. Я остался лежать неподвижно на краю бездны, вглядываясь в ее спутанные волосы и в проблески нимфеточной наготы, там, где смутно виднелась половинка ляжки или плеча, и пытаюсь определить глубину ее сна по темпу ее дыхания. Прошло некоторое время; ничего не изменилось, и, набравшись смелости, я решил слегка пододвинуться к этому прелестному, с ума сводящему мерцанию. Но едва я вступил в его

теплую окрестность, как ровное дыхание приостановилось, и на меня нашло ужасное подозрение, что маленькая Долорес совершенно проснулась и готова разразиться криками, если к ней прикоснусь любой частью своего жалкого, ноющего тела. Читатель, прошу тебя! Как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц! Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь; попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония; давай даже улыбнемся слегка. Например, — мне негде было преклонить голову (чуть не написал: головку), и к общему моему неудобству прибавилась мерзкая изжога (от жаренного в сале картофеля, который они смеют тут называть «французским»!).

Она опять крепко спала, моя нимфетка; однако я не дерзал пуститься в волшебное путешествие. «La Petite Dormeuse ou l'Amant Ridicule»^[60]. Завтра накормлю ее теми прежними таблетками, от которых так основательно цепенела ее мать. Где они — в переднем ящичке автомобиля или в большом саквояже? Может быть, подождать часок и тогда опять попробовать подползти? Наука нимфетолепсии — точная наука. Можно ровно в секунду, если прижаться. На расстоянии в один миллиметр надо считать секунд десять. Подождем.

Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы, — причем заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на «изящность быта» и все такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в двадцати шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных маневров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха (а лежал я навзничь, не смея повернуть более гнусную свою сторону по направлению дымчатого бедра моей соложницы), коридор наполнялся до краев жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это наконец прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия — дрожала стена за моим изголовием. Затем, в южном направлении от меня, кого-то стало невероятно рвать — человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной, сразу за нашей, обрушивался сущей Ниагарой. Когда же наконец все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы, на запад от моего бдения — благоустроенный, величавый, подчеркнуто-неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, — выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотающих во мгле сырой и ветреной ночи.

А между тем, меньше чем в шести вершках от меня и моей пылающей жизни находилась дымчатая Лолита! После долгого периода неподвижного бодрствования я снова стал добираться до нее щупальцами, и на этот раз скрип матраца не разбудил ее. Мне удалось пододвинуть мою тяжкую, алчущую плоть так близко, что я почуял на щеке, словно теплое дыхание, ауру ее обнаженного плеча. Тут она приподнялась, охнула, затараторила с бредовой быстротой что-то о лодках, дернула простыню и впала обратно в свое темное, цветущее, молодое бесчувствие. Она заметалась в этом обильном потоке сна, и одна голая рука, недавно коричневая, теперь лунная, с размаху легла через мое лицо. Был миг, когда я держал пленницу, но она высвободилась из моих едва наметившихся объятий, причем сделала это не сознательно, не резко, не с какой-либо личной неприязнью, а просто — с безотносительно-жалобным бормотанием ребенка, требующего полагающегося ему покоя. И все вернулось в прежнее состояние: Лолита, повернутая изогнутым хребтом к Гумберту; Гумберт, подложивший под голову руку и терзающийся вожделением и изжогой.

Последняя принудила меня пойти в ванную за глотком воды: для меня это лучшее

лекарство, не считая, быть может, молока с редисками; и когда я снова вступил в диковинную, бледно-полосатую темницу, где Лолитины старые и новые одежды расположились в различных зачарованных положениях, на разных частях как бы плавучей мебели, моя невозможная дочь подняла голову и отчетливыми тоном объявила, что тоже хочет пить. Теневою рукой она взяла у меня упругий и холодный бумажный стаканчик и, направив на его край длинные свои ресницы, залпом выпила содержимое; после чего младенческим движением, исполненным большей прелести, чем сладострастнейшая ласка, маленькая Лолита вытерла губы о мое плечо. Она откинулась на свою подушку (мою я изъял, пока она пила) и немедленно опять заснула.

Я не посмел предложить ей вторую порцию снотворного, да и не расставался еще с надеждой, что первая в конце концов упрочит ее сон. Я все подступал к ней, готовый к любому огорчению; знал, что лучше ждать, но ждать был не в силах. Моя подушка пахла ее волосами. Я пододвигался к моей мерцающей голубке, останавливаясь и втягиваясь всякий раз, что она, казалось, шевелилась или собиралась шевельнуться. Ветерок из Страны Чудес уже стал влиять на мои мысли; они казались выделенными курсивом, как если бы поверхность, отражавшая их, зыблилась от этого призрачного дуновения. Временами мое сознание не в ту сторону загибалось, мое ползком перемещавшееся тело попадало в сферу сна и опять из него выползало; а раза два я ловил себя на том, что невольно начинаю издавать меланхоличный храп. Туман нежности обволакивал горы тоски. Иногда мне сдавалось, что зачарованная добыча готова на полпути встретить зачарованного ловца; что ее бедро добровольно подвигается ко мне сквозь сыпучий песок далекого, баснословного побережья; но эта дымка с ямочкой вдруг вздрагивала, и я понимал, что Лолита дальше от меня, чем когда-либо.

Я тут задерживаюсь так долго на содроганиях и подкрадываниях той давно минувшей ночи, потому что намерен доказать, что я никогда не был и никогда не мог быть brutальным мерзавцем. Нежная мечтательная область, по которой я брел, была наследием поэтов, а не притоном разбойников. Кабы я добрался до цели, мой восторг был бы весь негa: он бы свелся к внутреннему сгоранию, влажный жар которого она едва бы ощутила, даже если бы не спала. Однако я еще надеялся, что ее постепенно охватит такое полное оцепенение, что мне удастся насладиться не только одним мерцанием ее наготы. Так, между пробными приближениями и смещением чувств, преображавшим ее то в глазчатое собрание лунных бликов, то в пушистый, цветущий куст, мне снилось, что я не сплю, снилось, что таюсь в засаде.

Настало некоторое затишье перед утром в бессонной жизни гостиницы. Затем, около четырех, коридорный клозет хлынул каскадом и стукнула дверь. В самом начале шестого часа начал доходить в нескольких, так сказать, выпусках звучный монолог, происходивший на каком-то внутреннем дворе или на автомобильной стоянке. Это, собственно, был не монолог, ибо говоривший останавливался каждые несколько секунд для того, чтобы выслушать подразумеваемого собеседника, чей голос не достигал меня, вследствие чего никакого настоящего смысла нельзя было извлечь из слышимой половины беседы. Ее будничные интонации, однако, расчистили путь рассвету, и комната уже наполнилась сиренево-серой мутью, когда несколько трудолюбивых уборных стали действовать одна за другой и гремющий, воющий лифт стал ходить вверх и вниз; несколько минут я уныло дремал, и Шарлотта была русалкой в зеленоватом водоеме, и где-то в коридоре рано вставший пастор кому-то сказал сочным голосом: «с добрым утречком!», — и птицы возились в листве, и вот — Лолита зевнула.

Девственно-холодные госпожи присяжные! Я полагал, что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем я посмею открыться маленькой Долорес Гейз; но к шести часам она совсем проснулась, а уже в четверть седьмого стала в прямом смысле моей любовницей. Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила.

Услышав ее первый утренний зев, я изобразил спящего, красивым профилем

обращенного к ней. По правде сказать, я совершенно не знал, как быть. Не возмутится ли она, найдя меня рядом, а не на запасной койке? Что она сделает — заберет одежду и запрется в ванной? Потребуется, чтобы ее немедленно отвезли в Рамздэль? В больницу к матери? Обратно в лагерь? Но моя Лолиточка была резвой девчонкой, и когда она издала тот сдавленный смешок, который я так любил, я понял, что она до этого созерцала меня играющими глазами. Она скатилась на мою сторону, и ее теплые русые кудри прильнули к моей правой ключице. Я довольно бездарно имитировал пробуждение. Сперва мы лежали тихо. Я тихо гладил ее по волосам, и мы тихо целовались. Меня привело в какое-то блаженное смущение то, что ее поцелуй отличался несколько комическими утонченностями в смысле трепетания пытливого жала, из чего я заключил, что ее натренировала в раннем возрасте какая-нибудь маленькая лесбиянка. Таким изощрениям никакой Чарли не мог ее научить! Как бы желая посмотреть, насытился ли я и усвоил ли обещанный давеча урок, она слегка откинулась, наблюдая за мной. Щеки у нее разгорелись, пухлая нижняя губа блестела, мой распад был близок. Вдруг, со вспышкой хулиганского веселья (признак нимфетки!), она приложила рот к моему уху — но рассудок мой долго не мог разбить на слова жаркий гул ее шепота, и она его прерывала смехом, и смахивала кудри с лица, и снова пробовала, и удивительное чувство, что живу в фантастическом, только что созданном, сумасшедшем мире, где все дозволено, медленно охватывало меня по мере того, как я начинал догадываться, что именно мне предлагалось. Я ответил, что не знаю, о какой игре идет речь, — не знаю, во что она с Чарли играла. «Ты хочешь сказать, что ты никогда — ?», начала она, пристально глядя на меня с гримасой отвращения и недоверия. «Ты — значит, никогда — ?» начала она снова. Я воспользовался передышкой, чтобы потыкаться лицом в разные нежные места. «Перестань», гнусаво взвизгнула она, поспешно убирая коричневое плечо из-под моих губ. (Весьма курьезным образом Лолита считала — и продолжала долго считать — все прикосновения, кроме поцелуя в губы да простого полового акта, либо «слюнявой романтикой», либо «патологией».)

«То есть, ты никогда», продолжала она настаивать (теперь стоя на коленях надо мной), «никогда не делал этого, когда был мальчиком?»

«Никогда», ответил я с полной правдивостью.

«Прекрасно», сказала Лолита, «так посмотри, как это делается».

Я, однако, не стану докучать ученому читателю подробным рассказом о Лолитиной самонадеянности. Достаточно будет сказать, что ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конце развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде гэрл-скаутских костров и тому подобное. Для нее чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это совершенно ее не занимало. Жезлом моей жизни Лолиточка орудовала необыкновенно энергично и деловито, как если бы это было бесчувственное приспособление, никак со мною не связанное. Ей, конечно, страшно хотелось поразить меня молодецкими ухватками малолетней шпаны, но она была не совсем готова к некоторым расхождениям между детским размером и моим. Только самолюбие не позволяло ей бросить начатое, ибо я, в диком своем положении, прикидывался безнадежным дураком и предоставлял ей самой трудиться — по крайней мере пока еще мог выносить свое невмешательство. Но все это, собственно, не относится к делу; я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий подвиг манит меня: определить раз навсегда губительное очарование нимфеток.

Я должен ступать осторожно. Я должен говорить шепотом. О, ты, заслуженный репортер по уголовным делам, ты, старый и важный судебный пристав, ты, некогда всеми любимый полицейский, ныне сидящий в одиночном заключении (а ведь сколько лет был украшением перекрестка около школы!), ты, в страхе живущий отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах! Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту! Будь я живописцем и случись так, что директор «Привала Зачарованных Охотников» вдруг, в летний денек, потерял бы рассудок и поручил мне переделать по-своему фрески в ресторане его гостиницы, вот что я бы придумал (описываю лишь фрагменты):

Было бы озеро. Была бы живая беседка в ослепительном цвету. Были бы наблюдения натуралистов: тигр преследует райскую птицу, змея давится, натягиваясь на толстого выхухоля, с которого содрали кожу. Был бы султан с лицом, искаженным нестерпимым страданием (страданием, которому противоречила бы округлость им расточаемых ласок), помогающий маленькой невольнице с прелестными ягодицами взобраться по ониксовому столбу. Были бы те яркие пузырьки гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов. Были бы всякие лагерные развлечения для промежуточной группы, Какао, Катание, Качели, Коленки и Кудри на солнечном берегу озера. Были бы тополя, яблоки, воскресное утро в пригородном доме. Был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвущая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя.

31

Я пишу все это отнюдь не для того, чтобы прошлое пережить снова, среди нынешнего моего беспросветного отчаяния, а для того, чтобы отделить адское от райского в странном, страшном, безумном мире нимфолепсии. Чудовищное и чудесное сливались в какой-то точке; эту-то границу мне хочется закрепить, но чувствую, что мне это совершенно не удастся. Почему?

Согласно римскому праву, лицо женского пола может вступить в брак в двенадцать лет; позже этот закон был одобрен церковью и до сих пор сохраняется, без особой огласки, в некоторых штатах Америки. Пятнадцатилетний же возраст допускается законом везде. Нет ровно ничего дурного (твердят в унисон оба полушария) в том, что сорокалетний изверг, благословенный служителем культа и разбухший от алкоголя, сбрасывает с себя насквозь мокрую от пота праздничную ветошь и въезжает по рукоять в юную жену. «В таких стимулирующих климатических условиях умеренного пояса (говорится в старом журнале из тюремной библиотеки), как те, что находим в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати, девушка достигает половой зрелости в конце двенадцатого года жизни». Долорес Гейз родилась менее, чем в трехстах милях от стимулирующего Цинциннати. Я только следую за природой. Я верный пес природы.

Откуда же этот черный ужас, с которым я не в силах справиться? Лишил ли я ее девственности? Милостивые государины, чуткие госпожи присяжные: я даже не был ее первым любовником!

32

Она рассказала мне, как ее совратили. Мы поедали в постели пресно-мучнистые бананы, подбитые персики да весьма вкусные картофельные чипсы, и die Kleine^[61] мне все рассказала.

Ее многословную, но сбивчивую повесть сопровождала не одна забавная моше. Как я, кажется, уже отметил, мне особенно памятна одна такая ужимочка, основанная на подразумеваемом звуке «Ы», с искривлением шлепогубного рта и закаченными глазами, выражающими шаблонную смесь комического отвращения, покорности и терпимого отношения к заблуждениям молодости.

Ее поразительный рассказ начался со вступительного упоминания о подруге, которая с ней делила палатку, в предшествующее лето, в другом лагере, «очень шикарном», как она выразилась. Эта сожительница («настоящая беспризорница», «полусвихнувшаяся» девчонка, но «молодчина») научила ее разным манипуляциям. Сперва лояльная Лолита отказалась назвать ее.

«Это была, может быть, Грация Анджел?» спросил я.

Она отрицательно покачала головой. «Нет, совсем другая. Ее отец — большая шишка. Он —»

«Так, может быть — Роза Кармин».

«Конечно, нет. Ее отец —»

«Не Агнеса Шеридан, случайно?»

Она переглотнула и покачала головой, — а потом как спохватится!

«Слушай, откуда ты знаешь всех этих девчонок?»

Я объяснил.

«Словом, это другая», сказала она. «У нас много паскудниц в гимназии, но такой не сыщешь. Если уж хочешь все знать, ее зовут Елизабет Тальбот. Ее братья учатся у нас, а она перешла в дорогую частную школу; ее отец — директор чего-то».

Я вспомнил, с забавным уколом в сердце, как бедная Шарлотта, когда бывала в гостях, всегда норовила впустить в разговор всякие фасонистые штучки вроде: «Это было, когда моя дочь совершала экскурсию с маленькой Тальбот...»

Я спросил, узнали ли матери об этих сапфических развлечениях.

«Ах, что ты», выдохнула Лолита, как бы вся осев и прижав мнимо-трепещущую руку к белой груди, чтобы изобразить испуг и облегчение.

Меня, однако, больше занимали гетеросексуальные шалости. Она поступила в гимназию одиннадцати лет после того, что переехала с матерью в Рамздэль со «среднего Запада». Что же именно делали эти ее «паскудные» одноклассники и одноклассницы?

«Известно что... Близнецы, Антоний и Виола Миранда, не даром спали всю жизнь в одной постели, а Дональд Скотт, самый большой балда в школе, занимался этим с Гэзель Смит в дядюшкином гараже, а спортсмен Кеннет Найт выставлял свое имущество напоказ при всяком удобном и неудобном случае, а —»

«Перелетим-ка в лагерь Ку», сказал спортсмен Гумберт, «но сперва — перерыв». И после перерыва я узнал все подробности.

У Варвары Бэрк, крепкого сложения, блондинки, на два года старше моей душеньки и, безусловно, лучшей пловчихи в лагере, была какая-то особенная байдарка, которую она делила с Лолитой, «потому что я единственная из всех других девочек могла доплыть до Ивового Острова» (какое-нибудь, полагаю, спортивное испытание). В продолжение всего июля месяца, каждое утро — заметь, читатель, каждое проклятое утро — Варваре и Лолите помогал нести байдарку из Оникса в Эрикс (два небольших озера в лесу) тринадцатилетний Чарли Хольмс, сынок начальницы лагеря и единственный представитель мужского пола на две-три мили кругом (если не считать дряхлого, кроткого, глухого работника, да соседа фермера, который иногда посещал Лагерь на старом форде, чтобы сбыть яйца, как это делают фермеры); каждое утро — о, мой читатель! — эти трое ребят, срезая путь, шли наискосок через прекрасную невинную чащу, наполненную до краев всеми эмблемами молодости, росой, грибами, черникой,

пением птиц, и в определенном месте, среди пышной чащобы, Лолита оставалась стоять на страже, пока Варвара и мальчик совокуплялись за кустом.

Сначала моя Лолита отказывалась «пробовать»; однако любопытство и чувство товарищества взяли верх, и вскоре она и Варвара отдавались по очереди молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, который, как кавалер, был едва ли привлекательнее сырой морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных чехольчиков, которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего другие размером и посещаемостью и называвшегося Озеро Клаймакс по имени соседнего фабричного города, столь бурно разросшегося за последнее время. Хотя, признавая, что это было «в общем ничего, забавно» и «хорошо против прыщиков на лице», Лолита, я рад сказать, относилась к мозгам и манерам Чарли с величайшим презрением. Добавлю от себя, что этот блудливый мерзавчик не разбудил, а пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину, несмотря на «забавность».

Было уже около десяти утра. Утомилась страсть, и ужасное сознание беды опустилось на меня, как пепел, что поощрялось будничной реальностью тусклого, невралгического дня, от которого ныло в висках. Коричневая, голенькая, худенькая Лолита, обращенная узкими белыми ягодицами ко мне, а лицом к дверному зеркалу, стояла, упершись руками в бока и широко расставив ноги (в новых ночных туфлях, отороченных кошачьим мехом), и сквозь свесившийся локон морщила нос перед хмурым стеклом. Из коридора доносились гулюкающие голоса чернокожих уборщиц, и немного погодя была сделана вкрадчивая попытка, прерванная моим громовым окриком, отворить дверь в наш номер. Я велел Лолите отправиться в ванную и хорошенько намылиться под душем, в котором она весьма нуждалась. Постель была в невероятном беспорядке, и вся в картофельных чипсах. Девочка примерила костюмчик из синей шерсти, потом другой, состоявший из блузки без рукавов и воздушной, клетчатой юбочки, но первый показался ей тесен, а второй — велик; когда же я стал просить ее поторопиться (положение начинало меня тревожить), она злобно швырнула мои милые подарки в угол и надела вчерашнее платье. Наконец, она была готова; я снабдил ее напоследок чудной сумочкой из поддельной телячьей кожи (всунув целую горсточку центов и два совсем новеньких гривенника) и сказал ей купить себе какой-нибудь журнальчик в холле.

«Буду внизу через минутку», добавил я, «и на твоём месте, голубка, я бы не говорил с чужими».

Кроме моих бедных маленьких даров, укладывать было почти нечего; но мне пришлось посвятить некоторое время (что было рискованно — мало ли чего она могла натворить внизу) приведению постели в несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорницы-дочки, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шлюхами. Затем я оделся и распорядился, чтобы коридорный пришел за багажом.

Все было хорошо. Там, в холле, сидела она, глубоко ушедшая в кроваво-красное кожаное кресло, глубоко погруженная в лубочный кинематографический журнал. Сидевший напротив господин моих лет в твидовом пиджаке (жанр гостиницы преобразился за ночь в сомнительное подражание британскому усадебному быту) глядел, не отрываясь, через вчерашнюю газету и потухшую сигару на мою девочку. Она была в своих почти форменных белых носочках и пегих башмаках и в столь знакомом мне платьице из яркого ситца с квадратным вырезом; в желтоватом блеске лампы был заметнее золотистый пушок вдоль загорелых рук и икр. Одна нога была закинута через другую, высоко и легкомысленно; ее бледные глаза скользили по строкам, то и дело перемигивая. Жена Билля преклонялась перед ним задолго до первой встречи; втайне любовалась этим знаменитым молодым киноартистом, когда он, бывало, ел мороженое у стойки в аптекарском магазине Шваба. Ничего не могло быть более детского, чем

ее курносое веснучатое личико, или лиловый подтек на голой шее, к которой недавно присосался сказочный вурдалак, или невольное движение кончика языка, исследующего налет розовой сыпи вокруг припухших губ; ничего не могло быть безгрешнее, чем читать о Джиль, деятельной старлетке, которая сама шьет свой гардероб и штудировать «серьезную литературу»; ничего не могло быть невиннее, чем пробор в блестящих русых кудрях и шелковистый отлив на виске; ничего не могло быть наивнее... Но что за тошную зависть испытал бы вон тот мордастый развратник, кто бы он ни был (а смахивал он, между прочим, на моего швейцарского дядю Густава, тоже очень любившего *le découvert*^[63]), если бы он знал, что каждый мой нерв все еще как кольцом охвачен и как елеем смазан ощущением ее тела — тела бессмертного демона во образе маленькой девочки.

Был ли мистер Швайн абсолютно уверен, что моя жена не звонила? Да — уверен. Если она еще позвонит, не будет ли он так добр передать ей, что мы поехали дальше, направляясь к местожительству тети Клэр? О, разумеется, передаст. Я заплатил по счету и, вернувшись к Лолите, заставил ее вылезти из кресла. Она продолжала читать свой журнал все время, пока мы шли к автомобилю. Все еще читая, она была отвезена в загородную кофейню. Съела она там порядочный брекфаст, я не мог пожаловаться; даже отложила журнал, чтобы есть; но она, такая всегда веселая, была до странности скучная. Я знал, что Лолиточка может быть здорово неприятной, а потому старался держать себя в руках и с храброй улыбкой ожидал бури. Я не принял ванны, не побрился, и у меня не подействовал желудок. Шалили нервы. Мне не нравилось, как моя маленькая любовница пожимала плечиками и раздувала ноздри, когда я старался занять ее безобидной болтовней. Я мягко спросил, например, знала ли что-нибудь о забавах в лесу Филлис Чатфильд, которая покинула лагерь несколько раньше, чтобы поехать к родителям в Мэн? «Послушай», сказала Лолита, сделав плачущую гримасу, «давай найдем другую тему для разговора». Затем я попробовал — безуспешно, как я ни причмокивал — заинтересовать ее дорожной картой. Позволю себе напомнить терпеливому читателю (чей кроткий нрав Лолите следовало бы перенять!), что целью нашего путешествия был веселый городок Лепингвиль, находившийся где-то поблизости гипотетического госпиталя. План был вполне произвольным (как, увы, произвольной оказалась в дальнейшем не одна намеченная цель путешествия), и у меня дрожали поджилки, когда я спрашивал себя, как сделать, чтобы все предприятие оставалось правдоподобным, и какой придумать другой правдоподобный маршрут после того, что мы пересмотрим все кинодрамы в Лепингвиле. Другими словами, Гумберту становилось все больше и больше не по себе. Оно было очень своеобразное, это ощущение: томительная, мерзкая стесненность — словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной.

При движении, которое сделала Лолита, чтобы влезть опять в автомобиль, по ее лицу мелькнуло выражение боли. Оно мелькнуло опять, более многозначительно, когда она уселась подле меня. Не сомневаюсь, что второй раз это было сделано специально ради меня. По глупости я спросил, в чем дело. «Ничего, скотина», ответила она. Я не понял и переспросил. Она промолчала. «Вы покидаете Брайсланд», провозгласил плакат над дорогой. Словоохотливая же Лолита молчала. Холодные пауки ползали у меня по спине. Сирота. Одинокое, брошенное на произвол судьбы дитя, с которым крепко-сложенный, дурно-пахнущий мужчина энергично совершил половой акт три раза за одно это утро. Может быть, воплощение долголетней мечты и превысило все ожидания; но, вернее, оно взяло дальше цели — и перенеслось в страшный сон. Я поступил неосторожно, глупо и подло. И уж если во всем признаваться, скажу: где-то на дне темного омута я чувствовал вновь клочкотание похоти — так чудовищно было влечение, возбуждаемое во мне этой несчастной нимфеткой! К терзаниям совести примешивалась мучительная мысль, что ее скверное настроение, пожалуй, помешает мне опять овладеть ею, как

только найду тихую, деревенскую дорогу, где мы могли бы остановиться на минутку. Словом, бедный Гумберт был в ужасном состоянии, и пока с бессмысленной неуклонностью автомобиль приближался к Лепингвиллю, водитель его тщетно старался придумать какую-нибудь прибаутку, под игривым прикрытием которой он посмел бы обратиться к своей спутнице. Впрочем, она первая прервала молчание:

«Ах» воскликнула она, — «раздавленная белочка! Как это жалко...»

«Да, не правда ли», поспешил поддержать разговор подобострастный, полный надежды Гум.

«Остановись-ка у следующей бензинной станции», продолжала Лолита. «Мне нужно в уборную».

«Мы остановимся, где хочешь», сказал я. И затем, когда красивая, уединенная, величавая роща (дубы, подумал я — о ту пору я совершенно не разбирался в американских деревьях) принялась отзывать зеленым эхом на гладкий бег машины, и вдруг сбоку, песчаная, окаймленная папоротником тропа оглянулась на нас, прежде чем вильнуть в чащу, я предложил, что мы —

«Продолжай ехать!» визгливо перебила Лолита.

«Слушаюсь. Нечего сердиться». (Куш, бедный зверь, куш!)

Я искоса взглянул на нее. Слава Богу, малютка улыбалась!

«Кретин!» проговорила она, сладко улыбаясь мне, «гадина! Я была свеженькой маргариткой, и смотри, что ты сделал со мной. Я, собственно, должна была бы вызвать полицию и сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, грязный старик!»

Она не шутила. В голосе у нее звенела зловещая истерическая нотка. Немного погодя, она стала жаловаться, втягивая с шипением воздух, что у нее «там внутри все болит», что она не может сидеть, что я разворотил в ней что-то. Пот катился у меня по шее, и мы чуть не переехали маленькое животное — не белку, — перебежавшее шоссе с поднятым трубой хвостом, и опять моя злая спутница обозвала меня негодяем. Когда мы остановились у бензинного пункта, она выкарабкалась без единого слова и долго отсутствовала. Медленно, ласково, пожилой друг со сломанным носом обтер мне переднее стекло — они это делают по-разному в каждом месте, употребляя целую гамму приспособлений, от замшевой тряпки до намыленной щетки: этот орудовал розовой губкой.

Наконец она появилась: «Слушай», — сказала она тем нейтральным тоном, от которого мне делалось так больно: «Дай мне несколько пятак и гривенников. Я хочу позвонить маме в больницу. Как номер?»

«Садись в автомобиль», ответил я. «Ты не можешь звонить по этому номеру».

«Почему?»

«Влезай — и захлопни дверь».

Она влезла и захлопнула дверь. Старик-гаражист улыбнулся ей лучезарно. Мы вымахнули на дорогу.

«Почему я не могу позвонить маме, если хочу?»

«Потому», сказал я, «что твоя мать умерла».

В веселом Лепингвиле я купил ей четыре книжки комиксов, коробку конфет, коробку гигиенических подушечек, две бутылки кока-колы, маникюрный набор, дорожные часы со светящимся циферблатом, колечко с настоящим топазом, теннисную ракету, роликовые коньки, приделанные к высоким белым сапожкам, бинокль, портативную радиолку, жевательной

резины, прозрачный пластиковый макинтош, темные очки, много еще носильных вещей — модных свитеров, штанишек, всяких летних платьев...

В тамошней гостинице у нас были отдельные комнаты, но посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти.

Конец Первой Части

Тогда-то, в августе 1947-го года, начались наши долгие странствия по Соединенным Штатам. Всем возможным привалам я очень скоро стал предпочитать так называемые «моторкорты», иначе «мотели» — чистые, ладные, укромные прибежища, состоящие из отдельных домиков или соединенных под одной крышей номеров, идеально подходящие для сна, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви. Сначала, из страха возбудить подозрения, я охотно платил за обе половины двойного номера, из которых каждая содержала двуспальную кровать. Недоумеваю, для какого это квартета предназначалось вообще такое устройство, ибо только очень фарисейская пародия уединения достигалась тем, что не доходящая до потолка перегородка разделяла комнату на два сообщающихся любовных уголка. Постепенно, однако, я осмелел, подбодренный странными возможностями, вытекающими из этой добросовестной совместности (можно было представить себе, например, две молодых четы, весело обменивающихся сожителями, или ребенка, притворяющегося спящим, с целью подслушать те же звуковые эффекты, какими сопровождалось его собственное зачатие), и я уже преспокойно брал однокомнатную кабинку с кроватью и койкой или двумя постелями, райскую келью с желтыми шторами, спущенными до конца, дабы создать утреннюю иллюзию солнца и Венеции, когда на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь.

Мы узнали — *pous connûtes*, если воспользоваться флоберовской интонацией — коттеджи, под громадными шатобриановскими деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные, расположенные на том, что путеводитель, издаваемый американской автомобильной ассоциацией, называл «тенистыми», «просторными», «планированными» участками. Были домики избяного типа, из узловатой сосны, балки которых своим золотисто-коричневым гляncем напоминали Лолите кожу жареной курицы. Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот или какой-либо другой мрачно-стыдливой вонью и не могшие похвастать ничем (кроме «удобных постелей»), неулыбающаяся хозяйка которых всегда была готова к тому, что ее дар («...ну, я могу вам дать...») будет отвергнут.

Nous connûtes — (эта игра чертовски забавна!) их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия — все эти «Закаты», «Перекааты», «Чудодворы», «Красноборы», «Красногоры», «Просторы», «Зеленые Десятины», «Мотели-Мотыльки»... Иногда реклама прибегала к особой приманке, например: приглашаем детей, обожаем кошечек (ты приглашаешься, тебя обожают!). Ванне в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй, с одной общей, определенно не Лаодикийской склонностью: они норовили при употреблении вдруг обдать либо зверским кипятком, либо оглушительным холодом в зависимости от того, какой кран, холодный или горячий, повернул в эту минуту купальщик в соседнем помещении, тем самым лишивший тебя необходимого элемента смеси, тщательно составленной тобою. На стенках в некоторых мотельных ваннах были инструкции, наклеенные над унитазом (на заднем баке которого были негигиенично навалены чистые ваннные полотенца), призывающие клиентов не бросать в него мусора, жестянок из-под пива, картонных сосудов из-под молока, выкидышей и прочее; в иных мотелях были особые объявления под стеклом, как, например: «Местные Развлечения: Верховая Езда. На главной улице можно часто видеть верховых, возвращающихся с романтической прогулки при лунном свете...»; «...и будящих тебя в три часа утра», глумливо

замечала неромантическая Лолита.

Nous sonnâmes разнородных мотельщиков — исправившегося преступника или неудачника-дельца, среди директоров, а среди директрис — полублагородную даму или бывшую бандершу. И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, кричали поезда, с душераздирающей и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле.

Мы избегали так называемых «ночлегов для туристов» (приходившихся сродни похоронным салонам), т. е. сдаваемых в частных домах, и в сугубо мещанском вкусе, без отдельной ванной, с претенциозными туалетными столиками в угнетающе бело-розовых спальнях, украшенных снимками хозяйских детей во всех стадиях развития. Изредка я уступал уговорам Лолиты, любившей «шик», и брал номер в «настоящей» гостинице. Она выбирала в путеводителе (пока я ласкал ее в темном автомобиле, запаркованном среди тишины таинственной, томно-сумеречной, боковой дороги) какой-нибудь восторженно рекомендованный приозерный «отель-замок», обещавший множество чудес — несколько, пожалуй, преувеличенных светом электрического фонарика, которым она ездила по странице — как-то: конгениальное общество, еда в любое время, ночные пикники — и многое другое, что у меня в уме вызывало только мерзкие представления о зловонных гимназистах в майках и о чьей-то красной от костра щеке, льнувшей к ее щеке, пока бедный профессор Гумберт, обнимая только собственные костистые колени, прохлаждал геморрой на сыром газоне. Ее также соблазняли те в колониальном стиле «инны», которые, кроме «элегантной атмосферы» и цельных окон, обещали «неограниченное количество упоительнейшей снеди». Заветные воспоминания о нарядном отцовском отеле иногда побуждали меня искать чего-нибудь подобного в диковинной стране, по которой мы путешествовали. Действительность меня скоро расхолодила; но Лолиточка все продолжала нестись по следу пряных пищевых реклам, меж тем как я извлекал не одно только финансовое удовлетворение из таких придорожных вывесок, как: «Гостиница „Лесная Греза“! Дети моложе четырнадцати лет даром!» С другой же стороны, меня бросает в дрожь при одном воспоминании о том будто бы «высшего ранга» курорте в среднезападном штате, где гостиница объявляла, что допускает «налеты на холодильник» для подкрепления посреди ночи, и где расистского пошиба дирекция, озадаченная моим акцентом, хотела непременно знать девичье имя и покойной моей жены и покойной моей матери. Там у меня взяли за два дня двести двадцать четыре доллара! А помнишь ли, помнишь, Миранда (как говорится в известной элегии), тот другой «ультрашикарный» вертеп с бесплатным утренним кофе и проточной ледяной водой для питья, где не принимали детей моложе шестнадцати лет (никаких Лолит, разумеется)?

Немедленно по прибытии в один из более простеньких мотелей (обычных наших стоянок), она запускала жужжащий пропеллер электрического вентилятора или заставляла меня вложить четвертак в комнатную радиолу, или же принималась читать проспекты — и подвывающим тоном спрашивать, почему ей нельзя поехать верхом по объявленной в них горной дорожке или поплавать в местном бассейне с теплой минеральной водой. Чаще же всего, слоняясь, скучая по усвоенной ею манере, Лолита разваливалась, невыносимо желанная, в пурпурном пружинистом кресле или в саду на зеленом шезлонге, или палубной штучке из полосатой парусины, с такой же подставкой для ног и балдахином, или в качалке, или на любой садовой мебели под большим зонтом на террасе, и у меня уходили часы на улещивания, угрозы и обещания, покамест я мог уговорить ее мне предоставить на несколько секунд свои пропитанные солнцем молодые прелести в надежном укрытии пятидолларового номера перед тем, как дать ей предпринять все то, что предпочитала она моему жалкому блаженству.

Сочетая в себе прямодушие и лукавость, грацию и вульгарность, серую хмурь и розовую

прыть, Лолита, когда хотела, могла быть необыкновенно изводящей девчонкой. Я, признаться, не совсем был готов к ее припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда, вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском, цинично-озорном духе. Ее внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным: сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики и так далее — вот очевидные пункты в ее списке любимых вещей. Один Бог знает, сколько пятаков скормил я роскошно освещенным изнутри музыкальным автоматам в каждом посещаемом нами ресторанчике! У меня в ушах все еще звучат гнусавые голоса всех этих невидимых исполнителей посвященных ей серенад, всех этих Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пэгги, и Гай, и Рекс, с их модными романсиками, столь же на слух неразличимыми, как неразличимы были на мой вкус разноименные сорта поглощаемых ею сладостей. С какой-то райской простодушностью она верила всем объявлениям и советам, появлявшимся в читаемых ею «Мире Экрана» и «Мираже Кинолюбви»: «Наш СУПР сушит прыщики» или «Вы, девушки, которые не заправляете концов рубашки в штаны, подумайте дважды, так как Джиль говорит, что та мода кончена!» Если вывеска придорожной лавки гласила: «Купите у нас подарки!» — мы просто должны были там побывать, должны были там закупить всяких дурацких индейских изделий, кукол, медных безделушек, кактусовых леденцов. Фраза «Сувениры и Новинки» прямо околдовывала ее своим хореическим ритмом. Если какой-нибудь кафетерий объявлял «Ледяные Напитки», она механически реагировала на приглашение, даром что все напитки везде были ледяные. Это к ней обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась — безуспешно — обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайнса, автора гастрономического гида, сошел на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом.

В те дни ни я, ни она еще не додумались до системы денежных взяток, которым немного позже суждено было так пагубно отразиться на моих нервах и на ее нравственности. Я полагался на другие приемы для того, чтобы держать мою малолетнюю наложницу в покорном состоянии и сносном настроении. За несколько лет до того она провела дождливое лето под тусклым оком мисс Фален, в Вермонте, в полуразрушенном деревенском доме, некогда принадлежавшем корявому, как дуб, Джонатану Гейзу, родоначальнику семьи. Дом все еще стоял среди густо поросшего канадским златотысячником поля, на опушке дремучего леса, в конце вечно размытой дороги, в двадцати милях от ближайшего сельца. Лолиточка хорошо запомнила это облезлое строение, одиночество, старое пастбище, превратившееся в болото, постоянный ветер, все это разбухшее от сырости захолустье; и отвращение свое она выражала особой гримасой в ходу у американских детей, при которой растягивается рот и утолщается полувысунутый язык. И вот там-то она будет со мной жить, угрожал я ей, в многомесячном и, может быть, многолетнем, заточении, учась у меня французскому и латыни, ежели не изменится ее «теперешняя позиция». О Шарлотта, я начинал тебя понимать!

Простоватая моя девочка орала: «нет!» — и в безумном страхе хватала мою рулевую руку всякий раз, что я поворачивал автомобиль посередине шоссе, как бы намереваясь тут же ее умчаты в ту темную и безвыходную глушь. Чем дальше, однако, мы отъезжали на запад, тем отвлеченнее становилась угроза, и мне пришлось обратиться к новым методам убеждения.

С глубочайшим стоном стыда вспоминаю один из них, а именно вызывавшийся мной призрак исправительного заведения. У меня достало ума, с самого начала нашего сожительства, учесть, что мне необходимо заручиться ее полным содействием для того, чтобы держать наши отношения в тайне; что это содействие должно стать для нее как бы второй природой, невзирая

ни на какое озлобление против меня и ни на какие другие находимые ею утехи.

«Поди-ка сюда и поцелуй папашу», говорил я, бывало. «Выйди из этого вздорного настроения! В свое время, когда я еще был для тебя идеалом мужчины (читатель заметит, как я силился подделаться под Лолитин язык), ты обмирала, слушая пластинки первейшего специалиста по вздрогу-и-всхлипу, боготворимого твоими соотроковицами (Лолита: „моими что? Говори по-человечески“). Этот идол твоих товаров тебе казался похожим на таинственного Гумберта. Но теперь я попросту старый папаша — сказочный отец, оберегающий сказочную дочь».

«Ma chère Dolores!^[64] Я хочу тебя защитить, милая, от всех ужасов, которые случаются с маленькими девочками в угольных складах и глухих переулках, а также, comme vous le savez trop bien, ma gentille,^[65] в лесах, полных синих ягодок в синейшее время года. Что бы ни произошло, я останусь твоим опекуном и, если ты будешь вести себя хорошо, надеюсь, что в близком будущем суд узаконит мое опекунство. Забудем, однако, Долорес Гейз, так называемую судебную терминологию — терминологию, находящую рациональным определение: „развратное и любострастное сожительство“. Я вовсе не преступный сексуальный психопат, позволяющий себе непристойные вольности с ребенком. *Растлением* занимался Чарли Хольмс; я же занимаюсь *растением*, детским растением, требующим особого ухода: обрати внимание на тонкое различие между обоими терминами. Я твой папочка, Ло. Смотри, у меня тут есть ученая книжка о девочках. Смотри, моя крошка, что в ней говорится. Цитирую: „нормальная девочка“ — нормальная, заметь — „нормальная девочка обычно прилагает все усилия к тому, чтобы понравиться отцу. Она в нем чувствует предтечу желанного, неуловимого мужчины“ („неуловимого“ — хорошо сказано, клянусь тенью Полония!). Мудрая мать (а твоя бедная мать стала бы мудрой, если бы осталась в живых) поощряет общение между отцом и дочерью, ибо понимает (прости пошлый слог), что девочка выводит свою мечту об уходе и замужестве из общения с отцом. Но что именно хочет сказать эта бодрая книжка словом „общение“, какое такое „общение“ рекомендует она? Опять цитирую: „Среди сицилийцев половые сношения между отцом и дочерью принимаются, как нечто естественное, и на девочку, участвующую в этих сношениях, не глядит с порицанием социальный строй, к которому она принадлежит“. Я высоко уважаю сицилийцев, — это великолепные атлеты, великолепные музыканты, великолепные, честнейшие люди, Лолита, и великолепные любовники. Но обойдемся без отступлений. Еще на днях мы с тобой читали в газете какую-то белиберду о каком-то нарушителе нравственности, который признался, что преступил закон, проведенный Манном, и перевез прехорошенькую девятилетнюю девочку из штата в штат с безнравственной целью — не знаю, что он под этим подразумевал. Долорес, душка моя! Тебе не девять, а скоро тринадцать, и я бы не советовал тебе видеть в себе маленькую белую рабыню, а, кроме того, я не могу одобрить этот самый Mann Act, хотя бы потому, что он поддается скверному каламбуру, если принять имя почтенного члена конгресса за эпитет „мужской“: так мстят боги семантики мещанам с туго застегнутыми гильфиками. Я твой отец, и я говорю человеческим языком, и я люблю тебя».

«И наконец, давай посмотрим, что получится, если ты, малолеточка, обвиненная в соращении взрослого под кровом добропорядочной гостиницы, обратилась бы в полицию с жалобой на то, что я тебя умыкнул и изнасиловал. Предположим, что тебе поверят. Малолетняя, позволившая совершеннолетнему познать ее телесно, подвергает свою жертву обвинению в „формальном изнасиловании“ или в „содомском грехе второй степени“, в зависимости от метода; и максимальная за это кара — десять лет заключения. Итак, я сажусь в тюрьму. Хорошо-с. Сажусь в тюрьму до 1957 года. Но что тогда происходит с тобой, моя сиротка? О, разумеется, твое положение лучше моего. Ты попадаешь под опеку Департамента

Общественного Призрения — что, конечно, звучит довольно уныло. Отличная суровая надзирательница, вроде мисс Фален, но менее уступчивая и непьющая, заберет твой губной карандаш и наряды. Никаких больше гулянок! Не знаю, слыхала ли ты про законы, относящиеся к зависимым, заброшенным, неисправимым и преступным детям? Пока я буду томиться за решеткой, тебе, счастливому, заброшенному и так далее ребенку, предложен будет выбор между несколькими обиталищами, в общем довольно между собой схожими; дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны, и получают олады на прогорклом сале по воскресеньям. Туда-то ты попадешь, Лолита: *моя Лолита, эта Лолита*, покинет своего Катулла, чтобы жить там с другими свихнувшимися детьми. Попросту говоря, если нас с тобой поймают, тебя проанализируют и заинтернируют, котенок мой, *c'est tout* ^[66]. Ты будешь жить, *моя Лолита* будет жить (поди сюда, мой коричневый розан) с тридцатью девятью другими дурочками в грязном дортуаре (нет, пожалуйста, позволь мне...), под надзором уродливых ведьм. Вот положение, вот выбор. Не находишь ли ты, что, при данных обстоятельствах, Долорес Гейз должна оставаться верной своему старому папану?»

Вдалбливая все это, я успешно терроризировал Лолиточку, которая, невзирая на некоторую нахальную живость ухваток и внезапные проявления остроумия, была далеко не столь блестящей девчонкой, как можно было заключить по ее «умственному коэффициенту», выработанному ее наставниками. Но если мне удалось установить, как основу то, что и тайну и вину мы должны с ней делить, мне гораздо труднее было поддерживать в ней хорошее настроение. Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоявшей ей приманки — определенной цели во времени и пространстве, — которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. Иначе костяк ее дня, лишенный формирующего и поддерживающего назначения, оседал и разваливался. Поставленная цель могла быть чем угодно — маяком в Виргинии, пещерой в Арканзасе, переделанной в кафе, коллекцией револьверов и скрипок где-нибудь в Оклахоме, точным воспроизведением Лурдского Грота в Луизиане, или убогими фотографиями времен процветания рудокопного дела, собранными в Колорадском музее — все равно чем, но эта цель должна была стоять перед нами, как неподвижная звезда, даже если я и знал наперед, что, когда мы доберемся до нее, Лолита притворится, что ее сейчас вырвет от отвращения.

Пустив в ход географию Соединенных Штатов, я часами старался создать в угоду ей впечатление, что мы живем «полной жизнью», что катимся по направлению к некоему необыкновенному удовольствию. Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу сорока восьми штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе; в упоенном молчании мы скользили по их черному, бальному лоску. Лолита не только была равнодушна к природе, но возмущенно сопротивлялась моим попыткам обратить ее внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта, ценить который я сам научился только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути. Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды североамериканской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребенка зелеными деревенскими видами, запечатленными на них — матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьем, мутной белизной каких-то неясно цветущих плодовых садов и, пожалуй, еще изгородью, сложенной из камней, или гуашевыми холмами. Постепенно, однако,

встречаемые теперь прообразы этих элементарных аркадий становились все страннее на глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними. За обработанной равниной, за игрушечными кровлями медлила поволока никому ненужной красоты там, где садилось солнце в платиновом мареве, и теплый оттенок, напоминавший очищенный персик, расходился по верхнему краю плоского сизого облака, сливающегося с далекой романтической дымкой. Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лоррэна были вписаны в отдаленнейшую, туманнейшую лазурь, причем одна только их кучевая часть ясно вылеплялась на неопределенном и как бы обморочном фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями, и виднелся мельком фермер с затылком мумии, а за ним тянулись полосы ртутью блестящей воды между полосками резко-зеленой кукурузы, и все это сочетание раскрывалось веером — где-то в Канзасе.

Там и сям, в просторе равнин, исполинские деревья подступали к нам, чтобы сбиться в подобострастные купы при шоссе и снабдить обрывками гуманитарной тени пикниковые столы, которые стояли на бурой почве, испещренной солнечными бликами, сплюснутыми картонными чашками, древесными крылатками и выброшенными палочками от мороженого. Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными — ее пленяли их надписи: «Парни» — «Девки», «Иван да Марья» «Он» и «Она», и даже «Адам» и «Ева»; и, пока она там пребывала, я терялся в поэтическом сне, созерцая добросовестную красочность бензиновых приспособлений, выделяющуюся на чудной зелени дубов, или какой-нибудь дальний холм, который выкарабкивался, покрытый рубцами, но все еще неприрученный, из дебрей агрикультуры, старавшихся им завладеть.

По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные и гигантские рождественские елки, поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика. И снова, на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселенного неба, и Лолита требовала прохладительного напитка; ее щеки энергично вдавались внутрь, над соломинкой, и когда мы возвращались в машину, температура там была адская; перед нами дорога переливчато блестела; далеко впереди встречный автомобиль менял, как мираж, очерк в посверке, отражающем его, и как будто повисал на мгновение, по-старинному квадратный и лобастый, в мерцании зноя. И по мере того, как мы продвигались все дальше на запад, появлялись в степи пучки полыни, «сейджбраш» (как назвал ее гаражист) и мы видели загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курганы в кляксах можжевельника, и затем настоящая горная гряда, бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый, и вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов на мучимых ветром блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении (хвост налево, белые ресницы направо), противоречившем всем человеческим правилам дорожного движения.

Мой адвокат советует мне дать отчетливое и прямолинейное описание нашего маршрута, и теперь я, кажется, достиг точки, где не могу избежать сей докуки. Грубо говоря, в течение того сумасшедшего года (с августа 1947-го до августа 1948-го года) наш путь начался с разных извилин и завитков в Новой Англии; затем зазмеился в южном направлении, так и сая, к океану и от океана; глубоко окунулся в се qu'on appelle «Dixieland» [\[67\]](#); не дошел до Флориды (оттого что там были в это время Джон и Джоана Фарло); повернул на запад; зигзагами прошел через хлопковые и кукурузные зоны (боюсь, милый Клэрэнс, что выходит не так уж ясно, но я ничего не записывал, и теперь для проверки памяти у меня остался в распоряжении только до ужаса

изуродованный путеводитель в трех томиках — сущий символ моего истерзанного прошлого); пересек по двум разным перевалам Скалистые Горы; закрутился по южным пустыням, где мы зимовали; докатился до Тихого Океана; поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам; почти дошел до канадской границы; и затем потянулся опять на восток, через солончаки, иссеченные яругами, через равнины в хлебах, назад к грандиозно развитому земледелию (где мы сделали крюк, чтобы миновать, несмотря на визгливые возражения Лолиточки, родной город Лолиточки, в кукурузно-угольно-свиноводческом районе); и, наконец, вернулся под крыло Востока, пунктирчиком кончившись в университетском городке Бердслей.

2

Просматривая следующие страницы, читатель должен считаться не только с общим маршрутом, намеченным выше, с его многочисленными побочными заездами, туристическими тупиками, вторичными кругами и прихотливыми отклонениями, но также с тем фактом, что, далеко не будучи беспечной *partie de plaisir* ^[68], наше путешествие представляло собой крутое, тугое, телеологическое изветвление, чья единственная *raison d'être* ^[69] (эти французские клише показательны) сводилась к тому, чтобы держать мою спутницу в приличном расположении духа от поцелуя до поцелуя.

Перелистываю мой потрепанный путеводитель и смутно вижу опять тот парк Магнолий в южном штате, обошедшийся мне в четыре доллара, который, судя по объявлению, следовало посетить по трем причинам: раз — потому что Джон Галсворти (посредственный, давно окаменевший писатель) провозгласил этот парк прекраснейшим в мире; два — потому что Бэдекер в 1900-ом году его отметил звездочкой; и три — потому что... о читатель, о мой читатель, угадай!., потому что дети (и не была ли моя Лолита, чорт подери, дитятей?) «пройдут, полные благоговения, с сияющими от умиления глазами, через это предвкушение Рая, впивая красоту, могущую наложить отпечаток на всю их жизнь». «Не на мою», мрачно заметила Лолита и уселась на скамейку с воскресным приложением двух газет на своих хорошеньких коленках.

Мы вновь и вновь прошли через всю гамму американских придорожных ресторанов, от простецкого «Ешь!» с его оленьей головой (помню темный след длинной слезы у внутреннего угла стеклянного глаза), будто бы «юмористическими» цветными открытками с задницами, немецкого «курортного» типа, бумажками оплаченных счетов, посаженными на кол, леденцами в виде лилипутовых спасательных кругов, черными очками на продажу, рекламно-небесными видениями разных родов мороженого по стенам, половиной шоколадного торта под стеклом и несколькими отвратительно опытными мухами, извилисто и быстро ползущими по липкой сахарной сыпалке на мерзком прилавке; и до самого верхнего разряда, до дорогого кабаре с притушенным светом, уморительно жалким столовым бельем, нелепыми официантами (бывшими каторжниками или подрабатывающими студентами), гнедой спиной киноактрисы, соболиными бровями ее хахаля, да оркестром, состоящим из стилиг с саксофонами.

Нами были осмотрены многие достопримечательности (слоновое слово!): величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере, где три юго-восточных штата празднуют географическую встречу (плата за осмотр в зависимости от возраста: с мужчин — один доллар; с едва опушившихся девочек — шестьдесят центов); гранитный обелиск в память баталии под Блю-Ликс, с древними костями и индейскими горшками в музее по соседству (гривенник с Лолиточки — очень недорого); вполне современная изба, смело поддельвающаяся под былую избу, где родился Линкольн; скала с металлической доской в память автора стихотворения

«Деревья» (мы заехали тут в Тополевый Дол, Северная Каролина, куда ведет дорога, которую мой добрый, терпимый, обычно столь сдержанный гид гневно называет «весьма узкой и запущенной», под чем я, хоть и не будучи поклонником поэта Кильмера, готов подписаться). С борта нанятой моторной лодки, которой управлял пожилой, но все еще отталкивающе красивый русский белогвардеец и даже, говорили, барон (у моей дурочки сразу вспотели ладошки), знавший в бытность свою в Калифорнии любезного Максимовича и его Валерию, нам было дано разглядеть недоступную Колонию Миллионеров на острове в некотором расстоянии от берега штата Георгии. Далее, мы осмотрели: собрание европейских отельных открыток в миссиссипийском музее, посвященном коллекционерским причудам, где с горячим приливом гордости я выискал цветную фотографию отцовской «Мираны», ее полосатые маркизы, ее флаг, развевающийся над ретушированными пальмами. «Ну и что?» рассеянно отозвалась Лолита, а сама искоса поглядывала на бронзово-загорелого хозяина дорогой машины, последовавшего за нами в этот «музей причуд». Реликвии хлопковой эры. Лес в Арканзасе, и на ее смуглом плече розово-лиловое вздутие (работа комара или мухи), которое я сжал между длинными ногтями первых пальцев, чтобы выдавить из него чудный прозрачный яд, а потом долго высасывал, пока не насытился вдоволь ее пряной кровью. Улица Бурбона (в городе Новый Орлеан), где тротуары, по словам путеводителя, могут (интересная возможность) служить подмошкой для негритят, которые нет-нет (интересный слог) да и спляшут чечотку за несколько пенни (вот весело!), между тем как его многочисленные маленькие интимные ночные кабачки битком набиты посетителями (ишь, шалуны!). Образцы пограничного фольклора. Усадьбы времен до гражданской войны с железными балконами и ручной работы лестницами — теми лестницами, по которым в роскошном цветном кино актрисочка с солнцем обласканными плечами сбегает, подобрав обеими ручками — преграциозно — перед юбки с воланами (а на верхней площадке преданная, непременно чернокожая, служанка качает головой). Меннингерский Институт, психиатрическая клиника (посещенная чисто из лихости). Участок глинистой почвы в изумительном узоре эрозии, а вокруг цветы юкки, такие чистые, восковые, но отвратительно кишащие какой-то белой молью. Индепенденс, Миссури, где начинался в старину Орегонский Путь; и Абилин, Канзас, где происходят состязания ковбоев под эгидой какого-то «Дикого Билля». Отдаленные горы. Близкие горы. Еще горы: синеватые красавицы, недостижимые или вечно превращающиеся, одна за другой, в обитаемые холмы; горы восточных штатов — неудачницы, в рассуждении Альп, недоростки; западные колоссы, пронзающие сердце и небо: их серые в снеговых жилах, непреклонные вершины, внезапно появляющиеся при повороте шоссе; заросшие лесом громады, под темной черепицей аккуратно заходящих одна за другую елок, местами прерванной дымчато-бледным осинником; горные формации розовой и лиловой окраски; фараонические, фаллические, «чересчур допотопные» (по выражению блазированной Ло); сопки из черной лавы; апрельские горы с шерсткой по хребту, вроде как у слоненка; горы сентябрьские, сидящие сидья, с тяжелыми египетскими членами, сложенными под опаданиями изношенного желтого бархата; белесые выцветшие горы в зеленых круглых пятнах дубов; одна последняя ярко-рыжая гора с пышным синим ковром люцерны у подножия.

Еще и еще достопримечательности. Малое Айсберговое Озеро, где-то в Колорадо; сугробы вдоль асфальта, подушечки крохотных альпийских цветочков и снежный склон, по которому Ло, в красной кепке с козырьком, пыталась съехать и распищалась, и попала под обстрел каких-то мальчишек, запустивших в нее снежками, и отвечала той же серебряной монетой. Скелеты обгорелых осин, группы остроконечных синих соцветий. Разные аттракционы живописной дороги в горах, сотни живописных дорог в горах, тысячи Медвежьих Затонов, Шипучих Источников, Крашенных Каньонов. Техас: засухой пораженная равнина. Зал Хрусталей в длиннейшей в мире пещере, вход для детей моложе двенадцати лет свободен (за Лолиту уже

плати!). Коллекция домодельных статуэток, оставленная городу местной скульпторшей: закрыто по понедельникам — ужаснейший понедельник, пыль, ветер, сушь. Парк Непорочного Зачатия, в городке на мексиканской границе, через которую я не смел переехать. Там и в других садах, множество сумеречных существ вроде сереньких колибри, пытающих как бы хоботком венчики неясных цветов. Шекспир, вымерший город в Новой Мексике, где семьдесят лет тому назад бандит «Русский Билль» был повешен со всякими красочными подробностями. Рыборазводная станция. Соты жилищ в отвесной скале. Мумия девочки (индейской современницы флорентийской Беатрисочки). Адский Каньон — двадцатый по счету. Наше пятидесятое преддверие какого-то парадиза, по словам путеводителя, обложка которого к этому времени пропала. Сиеста под елками. Клещ у меня в паху. Всегда те же трое стариков, в шляпах и подтяжках, прохлаждающихся летним вечерком на скамье у городского фонтана. Туманно-голубая бездна за перилами на горном перевале и спины семьи, наслаждающейся видом (меж тем как Лолита — горячо, радостно, дико, напряженно, с надеждой, без всякой надежды — шептала: «Смотри, это Мак-Кристал с семьей, пожалуйста, я прошу тебя, поговорим с ними — поговорим с ними, читатель! — пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь, ах, пожалуйста...»). Индейские ритуальные танцы, чисто коммерческого сорта. ART, не «искусство» по-английски, а «Американская Рефрижераторская Транзитная» фирма. Очевидная Аризона, индейские поселения, туземные иероглифы, след динозавра в песчаном ущелье — отпечатанный там тридцать миллионов лет тому назад, когда я был ребенком. Худощавый, саженого роста, бледный юнец с подвижным кадыком, пожирающий глазами Лолиту и ее оранжево-коричневый животик между лифчиком и трусиками (который я поцеловал пять минут спустя, мой бедный друг). Зима в пустыне, весна в предгорье, цветущий миндаль. Рино — скучнейший город в Неваде, с ночной жизнью «космополитной и хорошо развитой» (гид). Винный завод в Калифорнии, с церковью, построенной в виде бочки. Долина Смерти. Замок Скотта. Сомнительные произведения искусства, собиравшиеся неким Роджерсом в течение многих лет. Уродливые виллы красивых киноактрис. След ноги английского писателя Р. Л. Стивенсона на потухшем вулкане. Миссия Долорес: славное заглавие для романа. Фестоны, вырезанные в песчанике океанским прибоем. Человек, бьющийся в бурном эпилептическом припадке на голой земле, в штатном парке Русской Теснины. Синее, синее Кратерное Озеро. Рыборазводная станция в штате Идаго и тамошняя каторжная тюрьма. Угрюмый Еллоустон Парк и его цветные горячие источники, малютки-гейзеры, булькающие радужные грязи (символы моей страсти). Стадо антилоп в заповеднике. Наша сотая пещера — со взрослых доллар, с Лолиты полтинник. Замок, построенный французским маркизом в Северной Дакоте. Дворец Кукурузы в Южной Дакоте; и гигантские головы президентов, вырубленные в граните реющей вершины. Придорожные плакаты с рекламными стишками бритвенного крема: «Наши строки прочла бородастая Ната, и теперь она стала женою магната». Зоологический парк в Индиане с большой компанией обезьян, обитающей на бетонной реконструкции флагманской каравеллы Христофора Колумба. Миллиарды дохлых, рыбой пахнущих эфемерид на стекле каждого ресторанного окна вдоль песчаного, скучного озерного берега. Жирные чайки на больших камнях — увиденные с парома «Сити оф Шебойган», чей бурый, мохнатый дым склонялся дугой над зеленой тенью, отбрасываемой им же на голубую поверхность озера. Вонючий мотель с нагнетательной трубой вентилятора, проходившей под городской канализацией. Дом Линкольна, в большей своей части фальсификация, с настольными книгами и мебелью соответствующего периода, набожно принимаемыми за его личное имущество рядовыми посетителями.

Между нами происходили скандалы, большие и маленькие. Самые крупные произошли в следующих местах: Ажурные Коттеджи, Виргиния; Парковый Проспект, Литль Рок, возле

школы; Мильнеровский Перевал, на высоте 10 759 футов, в Колорадо; угол Седьмой Улицы и Центрального Проспекта, в городе Феникс; Третья Улица в Лос Анжелосе (из-за того, что билеты на посещение какой-то киносъемки оказались распроданными); мотель «Тополевая Тень», Юта, где шесть молодых деревьев были ростом не выше Лолиты и где она, à propos de rien^[70], спросила меня, сколько еще времени я собираюсь останавливаться с нею в душных домиках, занимаясь гадостями и никогда не живя как нормальные люди. Северный Проспект в Бэрксе, Орегон, угол Западной Вашингтонской улицы, против гастрономического магазина; какой-то городишко в Солнечной Долине, Идаго, перед кирпичной гостиницей с приятно перемежающимися бледно-розовыми и румяными кирпичами и с тополем напротив, чья струистая тень играла по памятной доске местного Списка Падших. Полынная пустошь между Пайндэлем и Фарсоном. Где-то в Небраске, Главная улица (близ Первого Национального Банка, основанного в 1839 году), с каким-то железнодорожным переездом в пролете улицы, а за ним — белыми органами трубами силоса. И Мак-Евенская улица, угол Уитонского проспекта, в мичиганском городе, носящем его, его имя.

Нам стал знаком странный человеческий придорожник, «Гитчгайкер», Номо pollex ученых, ждущий, чтобы его подобрала попутная машина, и его многие подвиды и разновидности: скромный солдатик, одетый с иголочки, спокойно стоящий, спокойно сознающий прогонную выгоду защитного цвета формы; школьник, желающий проехать два квартала; убийца, желающий проехать две тысячи миль; таинственный, нервный, пожилой господин, с новеньким чемоданом и подстриженными усиками; тройка оптимистических мексиканцев; студент, выставляющий напоказ следы каникулярной черной работы столь же гордо, как имя знаменитого университета, вытканное спереди на его фуфайке; безнадежная дама в непоправимо испортившемся автомобиле; бескровные, чеканно очерченные лица, глянцевитые волосы и бегающие глаза молодых негодяев в крикливых одеждах, энергично, чуть ли не приапически выставляющих напряженный большой палец, чтобы соблазнить одинокую женщину или сумрачного коммивояжера, страдающего прихотливым извращением.

«Ах, подберем непременно!» часто умоляла Лолита, потирая друг о дружку, ей одной свойственным движением, голые коленки, когда какой-нибудь особенно отталкивающий экземпляр Номо pollex, мужчина моих лет и столь же широкий в плечах, с face à claques^[71] безработного актера, шел, оборотясь к нам и пятясь, прямо перед нашим автомобилем.

О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой млеющей Лолитой! Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо-томное свечение, приводившее гаражистов, отельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракотовых идиотов у синькой крашенных бассейнов в состояние припадочной похотливости, которая бы льстила моему самолюбию, если бы не обостряла так мою ревность; ибо маленькая Лолита отдавала себе полный отчет в этом своем жарком свечении, и я не раз ловил ее, coulant un regard^[72] по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла, с мускулистой золотисто-коричневой обнаженной по локоть рукой в браслетке часов, и не успевал я отойти (чтобы купить этой же Лолите сладкую сосульку), как уже она и красавец механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт.

Когда, во время наших более длительных привалов, я оставался, бывало, в постели, отдыхая после особенно пламенной утренней деятельности, и по доброте душевной (насытившийся, снисходительный Гум!) разрешал ей выйти в сад полюбоваться на розы или даже перейти через улицу и посетить детскую библиотеку в обществе мотельной соседки, некрасивой маленькой Мэри, и восьмилетнего ее братишки, Лолита возвращалась с часовым опозданием: босоногая

Мэри плелась далеко позади, а вместо братишки было двое верзил-старшекласников, золотоволосых гнусов, состоявших из мускулов и гонорей. Читатель может легко представить себе, что я отвечал баловнице, когда она — довольно неуверенно, надобно признать — спрашивала меня, может ли она пойти с представленными мне Карлом и Фредом на роликовый каток.

Помню, как в другом месте, в первый раз, в пыльный, ветреный день, я действительно позволил ей покататься на роликах. Она имела жестокость заметить мне, что ей не будет никакого удовольствия, если я тоже пойду, так как в выбранный ею час ринг специально предназначается для молодежи. После долгого спора мы выработали компромисс: я остался сидеть в автомобиле, остановившись среди других (пустых) машин, поставленных носом к роликовому катку на вольном воздухе; я мог видеть, как под его парусиновым шатром около пятидесяти подростков, многие парами, бесконечно катились по кругу под автоматическую музыку, и ветер серебрил деревья. Моя Долли была в синих ковбойских штанах и белых сапожках, как большинство девочек на катке. Я считал обороты ровно гремящей толпы — и вдруг хватился ее. Когда она опять проехала, то была в сопровождении трех фертов, разговор которых я подслушал несколько минут тому назад: стоя вне ринга, они обсуждали катавшихся девочек — и измывались над прелестной, долголягой красоточкой, явившейся в красных трусиках вместо длинных штанов.

Автомобилиста при въезде в Аризону и Калифорнию спрашивают, не ввозит ли он фруктов или растительных продуктов, и на этих пунктах, бывало, инспектор так пристально всматривался в нас, что бедное мое сердце давало перебой. «А меду не везете?» интересовался он, и моя медовая дурочка покатывалась со смеху. До сих пор вибрирует у меня вдоль оптического нерва образ Лолиты, едущей верхом, — звено в цепи платного тура по व्यючным тропам: она тряслась шагом, за дряхлой наездницей и перед красношеим хлыщем-ранчором, а позади него ехал я и глядел на его жирный торс в цветистой рубашке еще более злобно, чем глядит автомобилист на медленный грузовик, поднимающийся перед ним по горной дороге. А не то, в лыжном курорте, я видел ее, уплывавшую от меня, небесную, отрешенную, на эфирном подъемном стуле, все выше и выше, по направлению к сверкающей вершине, где дожидались ее смеющиеся, голые по пояс атлеты.

В каком бы городе мы ни останавливались, я первым делом осведомлялся, с присущей европейцу учтивостью, о местонахождении публичных бассейнов для плавания, музеев, местных школ, о числе детей в ближайшей школе и так далее; и в час отбытия школьного автобуса, улыбаясь и слегка подергиваясь (я обнаружил этот нервный свой тик оттого, что жестокая Лолита первая передразнила его), я останавливался в стратегическом пункте, с моей беглой гимназисткой, сидевшей рядом со мной в машине, и наблюдал за тем, как девочки выходят из школы, — картина всегда прелестная. Эти остановки стали вскоре надоедать моей нетерпеливой Лолите, и лишенная, как это случается с детьми, всякого сочувствия к маленьким чужим прихотям, она грубой бранью осыпала меня за требование, чтобы она меня ласкала, пока синеглазые брюнеточки в синих трусиках, рыженькие в зеленых курточках без рукавов, и мальчишеского вида дымчатые блондиночки в полинявших бумажных штанах проходили мимо в сиянии солнца.

Делая некоторую уступку и ее капризам, я широко поддерживал всюду и всегда совместное ее купание с другими девочками. Она обожала сверкающие бассейны и была очень ловкой ныряльщицей. Я же, в комфортабельном халате, садился в пеструю четырехчасовую тень после собственного скромного погружения в воду, и вот блаженствовал, с фиктивной книгой, или мешочком конфет, или с тем и с другим, или ни с чем, кроме тайно горящих желез, глядя, как она резвится, в резиновом чепчике, вся бисерная от влаги, ровно загорелая, радостная, как на

каникулярной рекламе, в своих тесных атласных плавках и сборчатом лифчике. Двенадцатилетняя зазноба! Как самодовольно дивился я тому, что она — моя, моя, моя, как нежно я пересматривал наш недавний полдневный сеанс под стоны диких голубей и планировал следующий, предвечерний, и я щурился в стрельчатых лучах и сравнивал мою Лолиту с другими нимфетками, которых скуповатый случай собирал вокруг нее для моего антологического услаждения и разбора; и нынче, положив руку на больное сердце, я, право, не скажу, чтобы кто-нибудь из них возбудил во мне более острое влечение, чем она, или если и возбудил, так только в двух-трех исключительных случаях, при особом свете, при особой смеси ароматов в воздухе — однажды (случай безнадежный) бледная испанская девочка, дочка аристократа с тяжелой челюстью, а другой раз — *mais je divague*^[73].

Разумеется, мне приходилось быть всегда начеку, ибо я, проникательный ревнивец, отчетливо понимал всю опасность этих ослепительных игр. Стоило мне отвернуться — отойти, например, несколько шагов, чтобы посмотреть, кончили ли убирать нашу хижину — как уже, по возвращении, я заставлял внезапную перемену: Лолиточка, *les yeux perdus*^[74], окуная и полоща длиннопалые ножки в воде, сидела развалясь на каменном краю бассейна, меж тем как с каждой стороны от нее полулежал *un brun adolescent*^[75], которого русая ее красота и ртуть в младенческих складочках живота несомненно — думал я, о Бодлер! — заставят *se tordre*^[76] в повторных снах в течение многих ночей...

Я попробовал научить ее играть в теннис, дабы иметь с нею больше общих забав; но хотя я в свое время отлично играл, учителем я оказался прескверным; поэтому, в Калифорнии, я настоял, чтобы она взяла некоторое число дорогих уроков у знаменитого бывшего чемпиона, долговязого, морщинистого старика с целым гаремом мячиковых мальчиков. Вне площадки он казался ужасной развалиной, но иногда во время урока, когда для продления обмена, он позволял себе удар, чистый, как кактусовый цветок, и со струнным звоном возвращал мяч ученице, эта божественная смесь нежной точности и державной мощи напоминала мне, что тридцать лет тому назад, в Канн, я видел, как именно он в пух разбил великого Гобера! До того, как она стала заниматься с ним, я думал, что она никогда не научится играть. На какой-нибудь отечной площадке я, бывало, тренировал мою бездарную девочку, — и передо мной возникали те далекие дни, когда при сильном горячем ветре, в вихре пыли, в тумане странной усталости, я давал мяч за мячом веселой, невинной, изящной Аннабелле (блеск браслетки, плиссированная юбочка, черная бархатка вокруг лба). Каждое мое слово, каждый настойчивый совет только усугубляли угрюмую злобу Лолиты. Странно сказать, нашим упражнениям она предпочитала — по крайней мере, до приезда в Калифорнию — бесформенный перешлеп (и бесконечные поиски мячей) с тоненькой, слабенькой, но удивительно хорошенькой — в стиле *ange gauche*^[77] — сверстницей. В качестве зрителя, всегда готового оказать помощь, я подходил к этой чужой девочке и вдыхал ее легкий мускусный запах, пока трогал ее голую руку и держал ее за кисть с выдающейся косточкой или перемещал туда-сюда напором ладони ее прохладную ногу, чтобы добиться лучшей постановки для удара слева. Тем временем Ло, нагнувшись вперед, с солнечно-русыми волосами, падающими через лицо, вбивала ракету, как трость калеки, в землю и выпускала страшный крик отвращения, вызванного моим вмешательством. Я оставлял их в покое и, сидя в стороне, с шелковым шарфом вокруг шеи, продолжал на них смотреть и сравнивать их телодвижения. Было это в южной Аризоне, кажется, где зимние дни с ленцой, с теплым исподом. Неуклюжая Лолиточка промахивалась и ругалась или попадала примитивной подачей в сетку и в отчаянии поднимала к небу ракету, показывая влажный, блестящий молодой пух под мышкой, между тем как ее еще более нелепая и не менее прелестная партнерша прилежно кидалась на каждый мяч и все всегда мазала; но обе они развлекались необычайно и

ясными, звенящими голосами, не переставая, вели точный счет в этой своей бессмысленной игре.

Помню, я как-то предложил достать им холодных напитков: поднялся по гравием посыпанной тропинке и вернулся, неся два высоких стакана ананасного сока, с газированной водой и янтарным льдом. Вдруг я почувствовал пустоту в груди и остановился: девочек не было на площадке. Я наклонился, чтобы поставить стаканы на скамью — и почему-то с какой-то ледяной ясностью увидел лицо только что убитой Шарлотты. Я огляделся, и мне показалось, что мелькнула фигура Лолиты в белых трусиках, удалявшаяся сквозь пятнистую тень по садовой дорожке в сопровождении высокого мужчины, который нес две ракеты. Я ринулся за ними, но когда я стал пробиваться с треском через кустарник, то увидел, в вариантном поле зрения (как если бы линия жизни то и дело раздваивалась), мою Лолиту в длинных штанах и ее подругу в трусиках, шагающих взад и вперед по плевелистой полянке и хлещущих ракетами по кустам в беспорядочных поисках последнего потерянного мяча.

Перебирать эти светлые мелочи побуждает меня главным образом желание доказать моим судьям, что я прямо из сил выбивался, чтобы доставить моей Лолите всевозможные удовольствия. Как восхитительно было видеть ее, ребенка, показывающей другому ребенку одно из немногих своих достижений, например, особый способ прыгать со скакалкой! Меньшая нимфетка, прозрачно-бледная красotka с незагорелыми лопатками, держа правой рукой кисть левой за спиной, смотрела во все глаза — как смотрело и павлиное солнце, лежавшее на гравии под цветущими деревьями, посреди моего многоочитого рая — смотрела, как моя веснушчатая и вульгарная егоза подпрыгивала, повторяя движения стольких других играющих девочек, видом которых я так упивался на испещренных солнцем, обильно политых, свежее пахнувших тротуарах и парапетах древней Европы. Немного погодя, она возвращала скакалку своей маленькой испанской подруге и в свою очередь смотрела, наблюдая за повторением урока, иногда отводя волосы со лба, или складывая на груди руки и наступая носком одной ноги на подъем другой, или легко опустив руки на свои еще мальчишеские бедра, и я шел проверить, кончили ли наконец проклятые мотельные горничные убирать наш коттедж; убедившись в этом, я на прощание ласково кивал застенчивой, черноволосой девочке — пажу моей принцессы — и, отеческим жестом глубоко запустив пальцы под кудри Лолиточки, а затем нежно, но крепко обхватив ее за шею, вел мою артачившуюся детку в наш укромный домик для быстрого сопряжения перед обедом.

«Чья это кошка так расцарапала вас, бедного?» восклицала спелая, мясистая, красивая женщина — отталкивающего для меня типа, из тех, которым я всегда особенно нравился, — обращаясь ко мне за табль-д'отом в «большом доме» во время обеда, после которого должны были начаться обещанные Лолите танцы. Вот почему я старался держаться подальше от людей, между тем как Лолита, напротив, делала все возможное, чтобы вовлечь в свою орбиту наибольшее число потенциальных свидетелей.

Она, образно говоря, виляла хвостиком — и даже всем своим маленьким задом, как это делают сучки — когда, бывало, к нам подсыпался ослабившийся незнакомец и заводил бодрый разговор, исходя из сравнения географических данных на номерных знаках наших машин: «Далеко же вы заехали!» Любознательные родители, желая выкачать из Лолиты что-нибудь обо мне, предлагали ей пойти с их детьми в кино, но я всегда за нее отказывался. Мы с ней несколько раз едва не попались. Каскады клозетов преследовали меня, конечно, во всех наших караван-сараях; но я никогда не представлял себе, до чего тонки эти вафельные перегородки в мотелях «соединенного» типа, покуда, как-то вечером, после слишком громких с моей стороны стонов наслаждения, мужское покашливание за стеной заполнило паузу столь же отчетливо, как если бы я сам прочистил горло; а на другое утро, пока я пил утреннее кофе в молочном баре

(Лолита всегда спала поздно и любила, чтобы я ей приносил кувшинчик горячего кофе в постель), мой давешний сосед, пожилой дурак в безрамных очках на длинном добродетельном носу и с профессиональносоюзным значком в петлице, изловчился преспокойно втянуть меня в беседу, в течение которой поинтересовался, не встает ли моя «супружница» столь же неохотно, как и его, когда не находится дома на ферме; и если бы не душило меня сознание чудовищной опасности, я бы извлек много удовольствия из странного, удивленного выражения, появившегося на его тонкогубом обветренном лице, когда я лаконично ответил, сползая с высокого табурета, что «я, слава Богу, вдов».

Как сладостно было приносить ей это кофе — и не давать его ей, покуда она не исполнит своей утренней обязанности! Каким я был вдумчивым другом, каким страстным отцом, каким внимательным педиатром, обслуживавшим все телесные нужды моей полубрюнеточки! Упрекаю природу только в одном — в том, что я не мог, как хотелось бы, вывернуть мою Лолиту наизнанку и приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду легких, чете миловидных почек! В особенно тропические дни, в липкой духоте коттеджа, мне нравилось прохладное ощущение кожаного сиденья кресла под моей массивной наготой. Я держал ее у себя на коленях. Она сидела, как обыкновеннейший ребенок, ковыряя в носу, вся поглощенная легким чтением в приложении к газете, столь же равнодушная к проявлению моего блаженства, как если бы это был случайный предмет, на который она села — башмак, например, или кукла, или рукоятка ракеты — и который она не вынимала из-под себя просто по лени. Глазами она прослеживала приключения своих любимых персонажей на страничке юмора (среди них была хорошо нарисованная неряха-девчонка в белых носочках, скуластенькая и угловатая, которой я сам не прочь был бы насладиться). Любила изучать подробности на фотографиях фатальных автомобильных столкновений. Никогда не сомневалась в реальности места, времени и обстоятельств, будто бы относившихся к рекламным снимкам голоногих красавиц. И до странности увлекалась портретами провинциальных невест, некоторые из которых были в полном венчальном облачении, с букетами в руках и очками на носу.

На нее садилась муха и прогуливалась в окрестностях ее пупочка или принималась исследовать нежные, бледные венчики сосцов. Она пыталась поймать ее в кулак (Шарлоттин способ) и затем обращалась к отделу «Посмотрим, насколько вы сообразительны».

«Посмотрим, насколько вы сообразительны. Думаете ли вы, что было бы меньше преступлений против нравственности, если бы девочки придерживались некоторых правил. Не играли бы поблизости общественных уборных. Не принимали бы ни сладостей от чужих, ни предложения „прокатиться“. Записывали бы номер автомобиля, подобравшего их...»

«...и фабричную марку сладостей», подсказал я.

Она продолжала, отодвигая щеку от моей наступавшей щеки (и это был, заметь, еще легкий день, о мой читатель!) —

«Если нет у тебя карандаша, но ты уже умеешь читать —»

«Мы», вставил я шутливо, «средневековые мореходы, положили в эту бутылку...»

«Если», повторила она, «у тебя нет карандаша, но если ты уже умеешь читать и писать — вот что он хочет сказать, понимаешь теперь, балда? — то попробуй нацарапать номер на земле при дороге...»

...«своими коготками, Лолита».

она оглядела ее с пренебрежительно-неприязненной усмешкой; и теперь мне казалось, что она была готова отвергнуть ее с самым обыкновенным отвращением. Никогда не вибрировала она под моими перстами, и визгливый окрик («что ты, собственно говоря, делаешь?») был мне единственной наградой за все старания ее растормошить. Чудесному миру, предлагаемому ей, моя дурочка предпочитала пошлейший фильм, приторнейший сироп. Подумать только, что выбирая между сосиской и Гумбертом — она неизменно и беспощадно брала в рот первое. Не помню, упомянул ли я название бара, где я завтракал, в предыдущей главке? Он назывался так: «Ледяная Королева». Улыбаясь не без грусти, я сказал Лолите: «А ты — моя ледяная принцесса». Она не поняла этой жалкой шуточки.

О, не хмурься, читатель! Я вовсе не стремлюсь создать впечатление, что мне не давалось счастье. Милый читатель должен понять, что странник, обладающий нимфеткой, очарованный и поработанный ею, находится как бы за пределом счастья! Ибо нет на земле второго такого блаженства, как блаженство нежить нимфетку. Оно «вне конкурса», это блаженство, оно принадлежит к другому классу, к другому порядку чувств. Да, мы ссорились, да, она бывала прегадкой, да, она чинила мне всякие препятствия, но невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая — рая, небеса которого рдели как адское пламя, — но все-таки рая.

Иной опытный психиатр, который сейчас изучает мой труд — и которого д-р Гумберт успел погрузить, надеюсь, в состояние кроличьего гипноза — несомненно очень хотел бы, чтобы рассказчик повез свою Лолиту на берег моря и там бы нашел по крайней мере «гратификацию» давнего позыва, а именно избавление от «подсознательного» наваждения незавершенного детского романа с изначальной маленькой мисс Ли.

Что ж, товарищ доктор, позвольте вам сказать, что я действительно искал пляжа, хотя должен вдобавок признаться, что к тому времени, как мы добрались до этого миража серой воды, моя спутница уже подарила мне столько усад, что мечта о «Приморском Королевстве», о «Сублимированной Ривьере» и тому подобном давно перестала быть глубинным порывом и свелась к рассудочной погоне за чисто теоретическим переживанием. Эдгаровы ангелы это знали — и устроили дело соответствующим образом. Посещение вполне убедительного лукоморья на Атлантической стороне оказалось вконец испорченным скверной погодой: тяжелое, промозглое небо, илистые волны, присутствие необъятного, хоть и вполне заурядного тумана — что могло дальше отстоять от четких чар, от лазоревой обстановки и румяных обстоятельств моего средиземноморского приключения? Два-три полутропических пляжа на Мексиканском Заливе были достаточно солнечны, но усыпаны ядовитыми, звездистыми или студенистыми тварями, и обдуваемы ураганным ветром. Наконец, на калифорнийском побережье, против призрака Тихого Океана, я нашел особый род уединения в пещере, до которой доносились, с отрезка пляжа за гнилыми деревьями, вопли нескольких девочек-скаутов, купавшихся впервые при сильном прибое; но туман нависал как мокрое одеяло, песок был неприятно зернистый и клейкий, и Лолита вся покрылась гусиной кожей и зернами песка, и (единственный раз в жизни!) я имел к ней не больше влечения, чем к ламантину. Однако мои ученые читатели, может быть, воспрянут духом, когда я объясню им, что, даже ежели бы мы набрали где-нибудь на отзывчивый к нам морской бережок, было бы поздно, ибо мое настоящее «освобождение» пришло гораздо раньше: в тот миг, именно, когда Аннабелла Гейз, она же Долорес Ли, она же Лолита, явилась мне, смугло-золотая, на коленях, со взглядом, направленным вверх, на той убогой веранде, в фиктивной, нечестной, но отменно удачной приморской комбинации (хотя ничего не было по соседству, кроме второсортного озера).

На этом закончу перечень особых ощущений, зависевших, если не происходивших, от постулатов современной психиатрии. Посему я отказался и заставил Лолиту отказаться от

пляжей, которые только наводили уныние, если были пустынные, или слишком были населены, если их обливало солнце. С другой же стороны, меня еще преследовали воспоминания о моих безнадежных скитаниях в городских парках Европы, а потому я не переставал интересоваться возможностью любовных игр под открытым небом и искать подходящих мест на том «лоне природы», где я некогда претерпел столько постыдных лишений. Судьба и тут мне перечила. Разочарования, которые я теперь хочу зарегистрировать (тихонько отклоняя мою повесть в сторону тех беспрестанных рисков и страхов, которые сопровождали мое счастье), никак не должны бросать тень на американскую глушь — лирическую, эпическую, трагическую, но никогда не похожую на Аркадию. Она прекрасна, душераздирающе прекрасна, эта глушь, и ей свойственна какая-то большеглазая, никем не воспетая, невинная покорность, которой уже нет у лаковых, крашенных, игрушечных швейцарских деревень и вдоволь прославленных Альп. Бесчисленные любовники лежали в обнимку, целуясь, на ровном газоне горных склонов Старого Света, на пружинистом, как дорогой матрац, мху, около удобного для пользования, гигиенического ручейка, на грубых скамьях под украшенными вензелями дубами и в столь многих лачугах под сенью столь многих буковых лесов. Но в американской глуши любитель вольного воздуха не найдет таких удобных возможностей предаться самому древнему из преступлений и забав. Ядовитые растения ожгут ягодицы его возлюбленной, безыменные насекомые в зад ужалят его; острые частицы лесного ковра уколут его в коленища, насекомые ужалят ее в коленки; и всюду кругом будет стоять непрерывный шорох потенциальных змей — что говорю, полувимерших драконов! — между тем как похожие на крохотных крабов семена хищных цветов прилепляются, в виде мерзкой изумрудной корки, равно и к черному носку на подвязке, и к белому неподтянутому носочку.

Немножко преувеличиваю. Как-то в летний полдень, чуть ниже границы распространения леса, где небесного оттенка соцветия (я бы их назвал шпорником) толпились вдоль журчащего горного потока, мы наконец нашли, Лолита и я, уединенное романтическое место, приблизительно в ста футах над перевалом, где мы оставили автомобиль. Склон казался неисхоженным. Последняя запыхавшаяся сосна остановилась для заслуженной передышки на скале, до которой долезла. Сурок свистнул, увидя нас, и исчез. Я разложил плед для Лолиты. Под ним тихо потрескивала травяная сушь. Киприда пришла и ушла. Зазубренная скала, венчавшая верхний скат, и заросль кустарника ниже нашего ложа как будто должны были нас защитить и от солнца и от человека. Увы, я не учел присутствия слабо отмеченной боковой тропинки, подловато вилявшей между кустами и камнями неподалеку от нас. Вот тогда-то мы едва не попались; немудрено, что этот случай навсегда излечил меня от тоски по буколке.

Помнится, операция была кончена, совсем кончена, и она всхлипывала у меня в объятиях — благотворная буря рыданий после одного из тех припадков капризного уныния, которые так участились за этот в общем восхитительный год. Я только что взял обратно какое-то глупое обещание, которое она вынудила у меня, пользуясь слепым нетерпением мужской страсти, и вот она теперь раскинулась на пледе, обливаясь слезами и щипля мою ласковую руку, а я радостно смеялся, и отвратный, неописуемый, невыносимый и — как я подозреваю — вечный ужас, который я ныне познал, был тогда лишь черной точечкой в сиянии моего счастья; и вот так мы лежали, когда я испытал одну из тех встрясок, которые в конце концов выбили мое бедное сердце из колеи, ибо я вдруг встретился с темными, немигающими глазами двух странных и прекрасных детей, фавненка и нимфетки — близнецов, судя по их совершенно одинаковым плоским черным волосам и бескровным личикам. Они припали к земле, уставившись на нас, и синева их одинаковых костюмчиков сливалась с синевой горных цветов. Отчаянным движением я подхватил плед, чтобы им прикрыться, — и одновременно нечто, похожее на пушбол в белых горошинках, начало поворачиваться в кустах около нас, превращаясь постепенно в

разгибавшуюся спину толстой стриженной брюнетки, которая машинально прибавила еще одну дикую лилию к своему букету, оглядываясь на нас через головы своих очаровательных, из синего камня вырезанных детей.

Ныне, когда у меня на совести совсем другая беда, я знаю, что я смелый человек, но в те дни мне это было невдомек, и я помню, что удивился собственному хладнокровию. Прошептав одно из тех сдержанных приказаний, которые, несмотря на ужас положения, даешь растерянноскорчившемуся животному — (какой безумной надеждой или ненавистью трепещут бока молодого зверя, какие черные звезды разрываются в сердце у дрессировщика!), я заставил Лолиту встать, и мы важно удалились, а потом с неприличной поспешностью сползли к дороге, где остался автомобиль.

За ним стояла щегольская машина семейного образца, и красивый ассириец с сине-черной бородкой, *un monsieur très bien* ^[78], в шелковой рубашке и багровых штанах, по всей видимости муж ботанизовавшей толстухи, с серьезной миной снимал фотографию надписи, сообщавшей высоту перевала. Она значительно превышала 10 000 футов, и я задыхался. С хрустом песка и с заносом мы тронулись, причем Лолита все еще доодевалась, беспорядочно возясь и ругая меня такими словами, какие, по-моему, девочкам не полагается знать, а подавно употреблять.

Случались и другие неприятности. Раз в кино, например. В то время Лолита еще питала к нему истинную страсть (которая сократилась потом до вялой снисходительности, когда она опять стала ходить в гимназию). Мы просмотрели за один год, с неразборчивым упоением, около ста пятидесяти или даже двухсот программ, причем иногда нам приходилось видеть ту же хронику по несколько раз, оттого что различные главные картины сопровождались одним и тем же выпуском киножурнала, тянувшимся за нами из городка в городок. Больше всего она любила следующие сорта фильмов, в таком порядке: музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. Во-первых, настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались не настоящие сценические карьеры в какой-то — в сущности «гореупорной» — сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны, и в которых седовласый, умиленный, в техническом смысле бессмертный отец, сначала неодобрительно относившийся к артистической карьере сумасбродной дочери, неизменно кончал тем, что горячо аплодировал ей на премьере в дивном театре. Мир гангстеров был особенный: там героические репортеры подвергались страшным пыткам, телефонные счета доходили до миллиардов долларов и, в мужественной атмосфере неумелой стрельбы, злодеи преследовались через сточные трубы и пакгаузы патологически-бесстрашными полицейскими (мне было суждено доставить им меньше хлопот). Были, наконец, фильмы «дикого запада» — терракотовый пейзаж, краснолицые, голубоглазые ковбои, чопорная, но прехорошенькая учительница, только что прибывшая в Гремучее Ущелье, конь, вставший на дыбы, стихийная паника скота, ствол револьвера, пробивающий со звоном оконное стекло, невероятная кулачная драка, — во время которой грохается гора пыльной старомодной мебели, столы употребляются, как оружие, сальто спасает героя, рука злодея, прижатая героем к земле, все еще старается нащупать оброненный охотничий нож, дерущиеся крикают, отчетливо трахает кулак по подбородку, нога ударяет в брюхо, герой, нырнув, наваливается на злодея; и тотчас после того, как человек перенес такое количество мук, что от них бы слег сам Геракл (мне ли не знать этого ныне!), ничего не видать, кроме довольно привлекательного кровоподтека на бронзовой скуле разогревшегося героя, который обнимает красавицу-невесту на дальней границе цивилизации. Мне вспоминается дневное представление в маленьком затхлом кинематографе, битком набитом детьми и пропитанном горячим душком кинолакомства — жареных кукурузных зерен. Всплывала желтая луна над мурлыкающим гитаристом в нашейном платке; он поставил ногу на сосновое бревно и пощипывал струны, и я — совершенно невинно — закинул руку за плечо Лолиты и щекой

приблизился к ее виску, как вдруг — две ведьмы за нами стали бормотать престранные вещи — не знаю, правильно ли я понял, но то, что я наполовину расслышал, заставило меня снять с нее мою ласковую руку, и, конечно, остальная часть фильма прошла для меня в тумане.

Еще одна встряска, помнится, была связана с городком, через который мы проезжали ночью, на обратном пути. Миль за двадцать до того мне довелось сказать ей, что частная гимназия, которую она будет посещать в Бердслее — это школа весьма приличная, для девочек, без всякой современной чепухи, после чего Ло угостила меня одной из тех своих бешеных тирад, где мольба и оскорбление, самоутверждение и лукавая бессмыслица, яростная вульгарность и детское отчаяние переплетались в возмутительном подобии логики, что подталкивало меня к подобию объяснения. Опутанный ее дикими словами (размечтался!.. я не дура какая-то, чтобы серьезно это слушать... гадина... ты не можешь мной распоряжаться... я презираю тебя... и так далее), я ехал через дремлющий городок со скоростью в пятьдесят миль в час, не прерывая ровного шоссежного хода, когда двое патрульщиков осветили машину и приказали мне съехать на обочину. Я шикнул на Ло, машинально продолжавшую бушевать. Полицейские разглядывали ее и меня с недоброжелательным любопытством. Внезапно все ее ямочки залучились на них, как никогда, никогда не лучились на мою орхидейную мужественность; ибо в некотором смысле моя Ло боялась закона еще больше, чем я сам, — и когда добрые служители порядка простили нас и подобострастно мы уползли, веки ее опустились и затрепетали — она изображала полное изнеможение.

Тут мне приходится сделать странное признание. Вы будете смеяться — но если сказать всю правду, мне как-то никогда не удалось в точности выяснить юридическую сторону положения. Не знаю его до сих пор. О, разумеется, кое-какие случайные сведения до меня дошли. Алабама запрещает опекуну менять местожительство подопечного ребенка без разрешения суда; Миннесота, которой низко кланяюсь, предусматривает, что если родственник принимает на себя защиту и опеку дитяти, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, авторитет суда не пускается в ход. Вопрос: может ли отчим обаятельной до спазмы в груди, едва опушившейся душеньки, отчим всего с одномосячным стажем, неврастеник-вдовец с небольшим, но самостоятельным доходом в настоящем, и с парапетами Европы, разводом и сидением в нескольких сумасшедших домах в прошлом, может ли он считаться родственником и, следовательно, естественным опекуном? И если нет, должен ли я, смею ли я, оставаясь в пределах разумного, уведомить какой-нибудь отдел Общественного Призрения и подать прошение (как это, собственно, подают прошение?) и допустить, чтобы представитель суда расследовал быт кроткого, но скользкого Гумберта и опасной Долорес Гейз? Из многочисленных книг о браке, растлении и удочерении, в которые я, таясь, заглядывал в публичных библиотеках больших и малых городов, я ничего не вычитал, кроме темных намеков на то, что государство — верховный опекун девочек в нежнейшем возрасте. Пильвен и Запель, если правильно я запомнил их имена, авторы внушительного труда о брачных законах, совершенно игнорировали отчимов с сиротками, оставшимися у них на руках и коленях. Лучший мой друг, выпущенная ведомством социального обеспечения монография (Чикаго, 1936 г.), которую ни в чем не повинная старая дева выкопала для меня с большим трудом из пыльных глубин библиотечного склада, утверждала следующее: «Не существует такого правила, чтобы всякий несовершеннолетний должен был иметь опекуна; роль суда пассивная, и он только тогда приходит в действие, когда положение ребенка явно становится угрожающим». Я пришел к заключению, что человек назначается опекуном только после того, что он выразит торжественное и формальное желание сделаться оным; но целые месяцы могут пройти, пока его вызовут на слушание его дела и позволят ему отрастить пару сизых крыл, приличных его чину, а между тем прекрасное демонское дитя законом предоставляется самому себе, что в сущности и

относится к Долорес Гейз. Затем слушается дело. Два-три вопроса со стороны судьи, два-три успокоительных ответа со стороны адвоката, улыбки, кивок, морозящий дождик на дворе, — и утверждение в должности сделано. И все-таки я не дерзал. Не соваться, быть мышью, лежать, свернувшись в норе! Суд начинал развивать судорожную деятельность только тогда, когда впутывался денежный вопрос: два корыстных опекуна, обокраденная сирота, третий — еще более зубастый — участник... Но в данном случае все было в совершенном порядке, давно сделан был инвентарь, и небольшое материнское наследство ждало в полной неприкосновенности совершеннолетия Долорес Гейз. Благоразумнейшим курсом, казалось, было воздержание от подачи прошения. Да, но не вмешается ли какая-нибудь организация, вроде Человеколюбивого Общества, если буду держаться *слишком* тихо?

Дружески настроенный Фарло, который был чем-то вроде судебного ходатая и мог бы, вероятно, дать солидный совет, слишком был занят раковым заболеванием жены, чтобы сделать больше того, что обещал, а именно — продолжать заботиться о тощем имуществе Шарлотты, покуда я не оправлюсь, весьма постепенно, от потрясения, произведенного на меня ее смертью. Я твердо внушил ему, что Долорес — моя незаконная дочь, и поэтому не мог ожидать, чтобы он вчуже интересовался положением. Как читатель успел, вероятно, смекнуть, делец я никудышный; но, конечно, ни лень, ни незнание не должны бы были помешать мне искать профессиональной подмоги на стороне. Останавливало меня ужасное чувство, что, коли стану приставать к судьбе и стараться обосновать и осмыслить ее баснословный подарок, этот подарок будет вдруг отнят у меня, как тот чертог на вершине горы в восточной сказке, который исчезал, лишь только тот или иной покупатель спрашивал сторожа, отчего это издали так ясно виднеется полоска закатного неба между черной скалой и фундаментом.

Я подумал, что в Бердслее (где находится Бердслейский Женский Университет) я наверное отыщу те справочники, с которыми мне еще не удалось ознакомиться, как, например, трактат Вернера «Об американском законе опекунства» или некоторые брошюры, издаваемые Детским Бюро. Я решил, кроме того, что для Лолиты все будет лучше, чем деморализующее безделье, в котором она пребывала. Мне удавалось заставить ее оказать мне столько сладких услуг — их перечень привел бы в величайшее изумление педагога-теоретика; но ни угрозами, ни мольбами я не мог убедить ее прочесть что-либо иное, чем так называемые «книжки комиксов» или рассказы в журнальчиках для американского прекрасного пола. Любая литература рангом чуть выше отзывалась для нее гимназией, и хотя она была не прочь когда-нибудь попробовать Сказки Шехерезады или «Маленькие Женщины», она категорически отказывалась тратить «каникулы» на такие серьезные, ученые книги.

Мне теперь думается, что было большой ошибкой вернуться на восток и отдать ее в частную гимназию в Бердслее, вместо того чтобы каким-нибудь образом перебраться через мексиканскую границу, благо было так близко, и притаиться годика на два в субтропическом раю, после чего я мог бы преспокойно жениться на маленькой моей креолке; ибо, признаюсь, смотря по состоянию моих гланд и ганглий, я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому — от мысли, что около 1950-го года мне придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится, — к мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалеком будущем заставить ее произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту Вторую, которой было бы восемь или девять лет в 1960-ом году, когда я еще был бы *dans la force de l'âge*^[79]; больше скажу — у подозрительной трубы моего ума или безумия хватало силы различить в отдалении лет *un vieillard encore vert*^[80] (или это зелененькое — просто гниль?), странноватого, нежного, слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в «искусстве быть дедом», воспетом Виктором Гюго.

В дни этого нашего дикого странствования, не сомневаюсь, что как отец Лолиты Первой я был до смешного неудовлетворительным. Впрочем, я очень старался. Я читал и перечитывал книжку с ненамеренно библейским заглавием «Познай свою дочь», достав ее в том же магазине, где я купил Лолите, в ее тринадцатый день рождения, роскошное, как говорится в коммерции, издание, с «красивыми» иллюстрациями, «Русалочки» Андерсена. Но даже в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денек (причем Лолитин взгляд все перелетал от окна к ее наручным часикам и опять к окну), или хорошо и сытно обедали в битком набитом «дайнере» (оседлом подобии вагона-ресторана), или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся, кровью обрызганную машину и на женский башмачок в канаве (слышу, как Лолита говорит, когда опять трогаемся в путь: «Вот это был точно тот тип спортивных туфель, который я вчера так тщетно описывала кретину-прикащику!») — во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она — дочерью. Может быть, думал я, эта на бегство похожая перемена мест так пагубно влияет на нашу способность мимикрии? Может быть, постоянное местожительство и рутина школьной жизни внесут некоторое улучшение?

В выборе Бердслея я руководился не только тем, что там была сравнительно приличного тона женская гимназия, но и тем, что там находился известный женский университет. Мне хотелось быть casé^[81], хотелось прикрепиться к какой-нибудь пестрой поверхности, с которой бы незаметно слились мои арестантские полосы. Вот мне и вспомнился хорошо знакомый мне профессор французской литературы в Бердслейском университете: добряк употреблял в классах мной составленные учебники и даже пригласил меня однажды приехать прочесть лекцию. Лекторство в женском университете никак не могло меня соблазнить, конечно, ибо я (как было уже раз отмечено на страницах сей исповеди) мало знаю внешностей гаже, чем тяжелые отвислые зады, толстые икры и прыщавые лбы большинства студенток (может быть, я в них вижу гробницы из огрубевшей женской плоти, в которых заживо похоронены мои нимфетки!); но я тосковал по ярлыку, жизненному фону, личине, и как вскоре расскажу, существовала еще особая и довольно причудливая причина, почему общество милого Гастона Годэна могло бы мне послужить исключительно верной защитой.

Был, наконец, вопрос денег. Мой доход не выдерживал трат, причиняемых нашей увеселительной поездкой. Я, правда, старался выбирать хижины подешевле; но то и дело бюджет наш трещал от стоянок в шумных отелях-люкс или претенциозных «дудках» (псевдоранчо для фатов). Потрясающие суммы уходили также на осмотр достопримечательностей и на Лолитин гардероб, да и старый Гейзовский рыдван, хотя был жилистой и весьма преданной машиной, постоянно нуждался в более или менее дорогом ремонте. В одной из книжечек маршрутных карт блокнотного типа, случайно уцелевшей среди бумаг, которыми власти милостиво разрешили мне пользоваться для этих записок, я нашел кое-какие набросанные мною выкладки, из которых следует, что за экстравагантный 1947–48 год, от одного августа до другого, кров и стол стоили нам около 5500 долларов, а бензин, масло и починки — 1234; почти столько же ушло на разные дополнительные расходы, так что за сто пятьдесят дней действительной езды (мы покрыли около 27 000 миль!), да приблизительно двести дней промежуточных стоянок, скромный рантье Гумберт потратил 8000 долларов или, скажем, даже 10 000, ибо я по непрактичности своей забыл, верно, немало статей.

И вот мы двинулись опять на восток: я, скорее опустошенный, чем окрыленный торжеством страсти, она, пышущая здоровьем, с расстоянием между подвздошными косточками все еще не больше, чем у мальчика, хотя рост у нее увеличился на два вершка, а вес на восемь американских фунтов. Мы побывали всюду. Мы, в общем, ничего не видали. И сегодня я ловлю себя на мысли, что наше длинное путешествие всего лишь осквернило извилистой полосой

слизи прекрасную, доверчивую, мечтательную, огромную страну, которая задним числом свелась к коллекции потрепанных карт, разваливающихся путеводителей, старых шин и к ее всхлипыванию ночью — каждой, каждой ночью, — как только я притворялся, что сплю.

Когда сквозь гирлянды теней и света мы подкатили к номеру 14 по улице Тэера, нас встретил серьезный маленький мальчик с ключами и запиской от Гастона, снявшего для нас этот дом. Моя Лолита, не удостоив ни единым взглядом свою новую обитель, слепо включила радио, к которому инстинкт тотчас привел ее, и повалилась на диван в гостиной с пачкой старых иллюстрированных журналов, которую с той же незрячей точностью она раздобыла, запустив руку в нижнюю анатомию диванного столика.

Мне в сущности все равно было, где жить, при условии, чтобы можно было где-нибудь запереть Лолиту; но, вероятно, в течение переписки с неопределенно выражавшимся Гастоном я неопределенно вообразил кирпичную, плющом обвитую виллу. На самом же деле новое наше жилище походило удручающим образом на Гейзовский дом (до которого было всего лишь четыреста миль): такая же скучная постройка из серых досок с гонтовой крышей и тускло-зелеными маркизами; и комнаты, хоть были меньше и обставлены в более строго плюшево-тарелочном стиле, представляли сходное расположение. Мой кабинет, однако, оказался неожиданно просторным помещением, выложенным с пола до потолка этак двумя тысячами книг по химии — наука, которую преподавал в Бердслейском университете мой уехавший на год домохозяин.

Я понадеялся было, что Бердслейская женская гимназия, дорогая школа для приходящих учениц, с полдненным завтраком и эффектным гимнастическим залом, не только пестует все эти молодые тела, но также дает некоторую основную пищу молодым умам. Гастон Годэн, который редко бывал прав в своих суждениях об американском быте, предупредил меня, что школа, должно быть, одна из тех, где, по его выражению (как иностранца его тянуло к таким фразам), «учат правилам не столько грамматическим, сколько ароматическим». Боюсь, что даже этого она не достигала.

При первом моем свидании с начальницей, мисс Пратт, она выразила одобрение по поводу «милых голубых глазок» моей дочки (это у Лолиты-то голубые глазки!) и моей дружбы с «нашим гениальным французом» (это Гастон-то — гений!), а затем, передав Долли некоей мисс Корморант, она наморщила лоб, как бы собираясь с мыслями, и после паузы начала так:

«Мы не особенно стремимся, мистер Гумбард, к тому, чтобы наши ученицы становились книжными червями или умели отбарабанить названия всех европейских столиц — которых все равно никто не знает, — или там знали бы наизусть годы забытых сражений. Что нас действительно интересует, это — приспособливание ребенка к жизни группы. Вот почему мы придаем такое значение танцам, дебатам, любительским спектаклям и встречах с мальчиками. Перед нами встают некоторые факты. Ваша прелестная Долли скоро вступит в возрастную группу, где такие термины, как „кавалеры“, „выходить с кавалером“, „выходное платье“ и тому подобное, будут так же важны для нее, как для вас, скажем, „коммерческие дела“, „коммерческие связи“, „коммерческий успех“, а для меня (тут она фальшиво улыбнулась) — благополучие моих учениц. Доротея Гумбард уже вовлечена в целую систему социальной жизни, которая состоит — нравится ли это нам или нет — из сосисочных киосков, молочных баров, солодовых и коковых напитков, кинокартин, танцулек, ночных пикников на пляже и даже парикмахерских вечеринок, на которых девочки друг дружку причесывают! Разумеется, Бердслейская гимназия относится отрицательно к некоторым из этих интересов, а иные из них

мы отводим на другие, более конструктивные рельсы. Мы всегда стараемся повернуться спиной к туману, а лицом — прямо к солнцу! Короче говоря, хотя мы и пользуемся некоторыми методами формального образования, нас больше занимает коммуникация, чем композиция, т. е. как бы мы ни уважали Шекспира и других, мы хотим, чтобы наши девочки свободно общались с живым миром вокруг них вместо того, чтобы углубляться в заплесневелые фолианты. Правда, мы все еще продвигаемся ощупью, но делаем мы это рационально, как гинеколог, прощупывающий опухоль. Мы на все смотрим, доктор Гумбург, с органической и организационной точки зрения. Мы отделались от целой массы никчемных предметов, которые по традиции некогда предлагались девицам на изучение, не оставляя времени для практических сведений и прикладных искусств, и всех тех сведений, которые им понадобятся, когда они станут устраивать свою жизнь и — как циник мог бы добавить — жизнь мужа. Мистер Гумберсон, позвольте мне это выразить так: знать точное положение планеты несомненно важно, но знать, где наиболее целесообразное место на кухне для холодильника, может быть, еще важнее для будущей молодой хозяйки. Вы говорите, что все, что вы хотите, чтобы девочка получила от школы, это — хорошее образование. Но как вы понимаете понятие — „образование“? В прежние дни это было преимущественно словесным явлением; иначе говоря, вы могли бы заставить ребенка зазубрить хорошую энциклопедию, и он знал бы, пожалуй, больше, чем школа может дать. Доктор Гуммер, отдаете ли вы себе отчет в том, что для современного подростка какой-нибудь средневековый поход представляет меньше жизненной ценности, чем поход (она чуть не подмигнула) в кафетерию с молодым человеком? Это я повторяю шутку, которую на днях позволила себе наша психоаналитичка. Мы живем не только в мире идей, но в мире вещей. Слова без практического опыта не имеют смысла. Что, собственно говоря, может значить для Доротеи Гуммерсон какая-нибудь Греция или Ближний Восток с их гаремами и рабынями?»

Эта программа меня сперва несколько смутила; но я посоветовался с двумя умными дамами, в прошлом связанными с школой, и они уверили меня, что девочки там много и основательно читают и что весь этот вздор насчет «коммуникации» — просто рекламная шумиха, имеющая целью придать старомодной Бердслейской гимназии полезный в финансовом смысле «модерный» оттенок, хотя на самом деле она осталась столь же чопорной, как чепец.

Другое, что мне понравилось в этой именно школе, рассмешит, пожалуй, некоторых моих читателей; но для меня оно представлялось очень важным, ибо уже так я устроен. Дело в том, что через улицу, как раз против нашего дома, я заметил брешь между зданиями — сорную пустошь с ярко-окрашенными кустами, кучу кирпичей, несколько в беспорядке лежащих досок и лилово-палевую пену убогих осенних цветов; через эту брешь можно было разглядеть в мреющей дали отрезок Школьной улицы, идущей параллельно нашей, Тэеровской, а за этим отрезком — школьную площадку для игр. Помимо психологического утешения от смежности Доллиного дня с моим, доставляемого мне этой комбинацией, я сразу предугадал удовольствие, которое получу, рассматривая с постели в моем кабинете, при помощи мощного бинокля, статистически неизбежный процент нимфеток среди девочек, играющих вокруг Долли во время большой перемены. К сожалению, в первый же школьный день явились рабочие и построили забор поперек пустоши, после чего очень скоро за забором выросло сооружение из желтого дерева, которое наглухо закрыло мою волшебную брешь. Когда же они нагромодили достаточно материала, чтобы мне напортить, эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появились опять.

На Тэеровской улице — одной из лучших неторговых улиц, под зелеными, рыжими, золотыми древесными шатрами маститого университетского городка — неизбежно было, чтобы завелись личности, встречающие вас учтивым лаем метеорологических приветствий. Я гордился точной температурой моих отношений с ними: ни малейшей грубости, но полная отчужденность. Мой сосед на запад от меня, который мог быть дельцом или профессором, или тем и другим, заговаривал со мной, бывало, пока он брил газон или поливал автомобиль, или, несколько позднее, размораживал проезд к крыльцу (наплевать, если все эти глаголы не подходят), но мое отрывистое буркание, будучи лишь в такой мере членораздельным, что звучало как трафаретное согласие или вопросительное заполнение паузы, мешало какому-либо развитию фамильярных отношений. Из двух домов по сторонам недолговечной пустоши напротив нас один был заколочен, а в другом жили две профессорши английской словесности, твидовая, коротковолосая мисс Лестер и блекло-женственная мисс Фабиан: их единственной темой во время наших кратких тротуарных бесед были (я благословлял их такт!) юная прелесть моей дочери и «наивный шарм» Гастона Годэна. Соседка моя с восточной стороны была значительно опаснее всех. Эта банальная проныра вышла прямо из фарса. Ее покойный брат был когда-то «причастен к университету» — в качестве старшего сторожа. Помню, как она раз остановила Долли на улице, пока я стоял у окна в гостиной, лихорадочно ожидая возвращения из школы моей голубки. Омерзительная старая дева, пытаясь скрыть болезненное любопытство под маской приторного доброхотства, опиралась на свой тощий, как трость, зонтик (крупя только что прекратилась, бочком выскользнуло холодное, мокрое солнце), а Долли, в расстегнутом, несмотря на гнилую стужу, коричневом пальто, стояла, прижимая к животу двухэтажную постройку из нескольких книг на бюваре (так у них было в моде носить учебники); ее розовые колени виднелись между краем юбки и неуклюжими голенищами длинных резиновых сапог, и придурковатая, растерянная улыбочка то появлялась, то потухала на ее курносом лице, которое — может быть, вследствие бледного зимнего света — казалось почти некрасивым, вроде как у простенькой немецкой Mägdelein [\[82\]](#); и вот так она стояла и старалась справиться с вопросами мисс Восток: «А где твоя мама, милая? А чем занимается твой бедный отец? А где вы жили раньше?» Другой раз эта гнусная тварь ко мне подошла на углу с приветственным подвыванием, — но мне удалось избежать разговора; а несколько дней спустя от нее пришла записка в конверте с темно-синим ободком: тонко мешая патоку с ядом, она предлагала Долли прийти к ней как-нибудь в воскресенье «свернуться в кресле и перебрать кипу чудных книг, которые покойная мать подарила мне в детстве, вместо того чтобы включать радио на полную громкость каждую ночь до Бог знает какого часа».

Большую осторожность я также должен был соблюдать с госпожой Гулиган, уборщицей и прескверной кухаркой, которую я унаследовал вместе с пылесосом от предыдущих жильцов. Долли получала дневной завтрак в школе, так что тут затруднений не было; завтрак же, весьма обильный, я научился готовить для нее сам, а вечером подогревал обед, который Гулиганша стряпала перед уходом. У этой доброжелательной и безвредной женщины был, слава Богу, довольно мутный глаз, не замечавший подробностей; я делал постели и в этом стал большим экспертом, но все же никогда не мог отвязаться от чувства, что где-нибудь остался роковой след; а в редких случаях, когда присутствие Гулиганши совпадало с Лолитиным, я все опасался, что моя простодушная девочка подпадет под уютные чары отзывчивой бабы и что-нибудь выболтает на кухне. Мне часто мнилось, что мы живем в освещенном насквозь стеклянном доме и что ежеминутно тонкогубое пергаментное лицо соседки может заглянуть сквозь случайно не завешенное окно, чтобы даром посмотреть вещи, за один взгляд на которые самый пресытившийся voyeur [\[83\]](#) заплатил бы небольшое состояние.

Два слова о Гастоне Годэне. Его общество было для меня приятно — или, по крайней мере, не тягостно — из-за флюидов совершенной безопасности, которые, идя от его широкой фигуры, обведали со всех сторон мою тайну. Это не значит, что он о ней догадывался: у меня не было особых причин открыться ему, а он был слишком эгоцентричен и рассеян, чтобы подметить или почуять что-либо, могущее повести к откровенному вопросу с его стороны и столь же откровенному ответу с моей. Он хорошо отзывался обо мне в разговорах с другими бердслейцами, он был моим добрым глашатаем. Если бы он узнал *mes goûts*^[84] и статус Лолиты, это его бы заинтересовало только, поскольку оно могло бы бросить некоторый свет на простоту моего отношения к нему самому, отношения, лишенного как учтивой натянутости, так и всякого намека на распущенность; ибо, невзирая на его бесцветный ум и туманную память, он, может быть, сознавал, что о нем мне известно больше, чем бюргерам Бердслея. Это был пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк, суживавшийся кверху, где он заканчивался парой узких плеч неодинаковой вышины и грушевидной головой с гладким зачесом на одной стороне и лишь остатками черных плоских волос на другой. Нижняя же часть его тела была огромная, и он передвигался на феноменально толстых ногах забавной походкой осторожного слона. Он всегда носил черное — даже черный галстук; он редко принимал ванну; его английская речь была сплошным бурлеском. Однако все его считали сверхобаятельным, обаятельно-оригинальным человеком! Соседи нянчились с ним; он знал по имени всех маленьких мальчиков в своем квартале (жил за несколько улочек от меня) и нанимал их чистить тротуар перед его домом, сжигать опавшие листья в заднем дворе, носить дрова к нему в сарайчик и даже исполнять некоторые простые обязанности в доме; он их кормил французскими шоколадными конфетами с «настоящим» ликером внутри, в уединенном серальчике, который он себе завел в подвале, развесив всякие занятные кинжалы и пистолеты по заплесневелым, но украшенным коврами стенам промеж закамуфлированных водопроводных труб. На чердаке у него было «ателье»: наш милый шарлатан немножко занимался живописью. Он покрыл косую стенку мансарды большими фотографиями задумчивого Андре Жида, Чайковского, Нормана Дугласа, двух других известных английских писателей, Нижинского (многолягого и всего обвитого фиговыми листьями), Гарольда Эксэкса (мечтательно-левого профессора в среднезападном колледже) и Марселя Пруста. Все эти бедняки были готовы, казалось, вот-вот соскользнуть со своей наклонной плоскости. Кроме того, у него был альбом с моментальными снимками всех маленьких Джимов и Джеков околота, и когда я, бывало, перелистывая его, говорил что-нибудь любезное, Гастон надувал свои и так толстые губы и цедил с сентиментальной ужимкой: «*Oui, ils sont gentils*»^[85]. Его карие глаза блуждали при этом по разнообразным более или менее художественным безделушкам в мастерской, вмещавшей и собственные его жалкие полотна (примитивно-условно написанные глаза, срезанные гитары, синие сосцы, геометрические узоры — словом, все «современное»), и, неопределенно жестикулируя по направлению какого-нибудь предмета, расписной деревянной салатницы или вазы в прожилках, он говорил: «*Prenez donc une de ces poires. La bonne dame d'en face m'en offre plus que je n'en peux savourer*»^[86]. Или: «*Mississe Taille Lore vient de me donner ces dahlias, belles fleurs que j'exècre*»^[87] — (все это — сумрачно, грустно, с налетом мировой тоски...)

По очевидным причинам я предпочитал его жилищу мое, когда мы с ним встречались, чтобы играть в шахматы два или три раза в неделю. Смахивая на старого подбитого идола, он сидел, положив на колени пухлые руки, и так смотрел на доску, как будто это был труп. Минут десять он, посапывая, думал — и затем делал проигрышный ход. А не то симпатяга, после еще

более длительного раздумья, произносил: «Au goi!»^[88] с замедленным гавканием старого пса, кончавшимся звуком какого-то полоскания, от чего его брыла тряслись, как студень; и затем он поднимал треугольные брови с глубоким вздохом, ибо я ему указывал, что он стоит сам под шахом.

Порой, с того места, где мы сидели в холодном моем кабинете, я мог слышать, как босоногая Лолита упражняется в балетной технике на голом полу гостиной, под нами; но у Гастона способности восприятия приятно тупели от игры, и до его сознания не доходили эти босые ритмы — и-раз, и-два, и-раз, и-два, вес тела смещается на выпрямленную правую ногу, нога вверх и в сторону, и-раз, и-два — и только, когда она начинала прыгать, раскидывая ноги на вершине скачка или сгибая одну ногу и вытягивая другую, и летя, и падая на носки, — только тогда мой пасмурный, землисто-бледный, величавый противник принимался тереть голову или щеку, словно путая эти отдаленные стуки с ужасными ударами, наносимыми ему тараном моего грозного ферзя.

Порой же Лола моя слоняющейся походкой вплывала к нам, пока мы размышляли над доской, — и для меня было всегда большим удовольствием видеть, как Гастон, не отрывая слонового глазка от своих фигур, церемонно вставал, чтобы пожать ей руку, и тотчас отпускал ее вялые пальчики, и потом, так и не взглянув на нее ни разу, опускался опять, чтобы свалиться в ловушку, которую я ему приготовил. Однажды, около Рождества, после того что я его не видел недели две, он спросил меня: «Et toutes vos fillettes, elles vont bien?»^[89] — откуда мне стало ясно, что он умножил мою единственную Лолиту на число костюмных категорий, мельком замеченных его потупленным мрачным взглядом в течение целого ряда ее появлений, то в узких синих штанах, то в юбке, то в трусиках, то в стеганом халатике, то в пижаме.

Весьма нехотя я так долго вожусь с бедным Гастоном (грустно подумать, что через год, во время поездки в Европу, из которой он не вернулся, он оказался замешан dans une sale histoire^[90] — в Неаполе, как назло!). Я бы и вовсе не упомянул его, если бы его существование в Бердслее не представляло такого странного контраста моему собственному случаю. Он необходим мне теперь для защиты. Вот, значит, перед вами он, человек совершенно бездарный; посредственный преподаватель; плохой ученый; кислый, толстый, грязный; закоренелый мужеложник, глубоко презирающий американский быт; победоносно кичащийся своим незнанием английского языка; процветающий в чопорной Новой Англии; балуемый пожилыми людьми и ласкаемый мальчишками — о, да, наслаждающийся жизнью и дурачащий всех; и вот, значит, я.

7

Мне предстоит теперь справиться с неприятной задачей: отметить определенное изменение к худшему в нравственном облике Лолиты. Если, с одной стороны, ее участие в любовном восторге, возбуждаемом ею, было всегда незначительным, то с другой, и чистая корысть сперва не побуждала ее к поблажкам. Но я был слаб, я был неосмотрителен, моя гимназистка-нимфетка держала меня в волшебном плену. По мере того, как все человеческое в ней приходило в упадок, моя страсть, моя нежность, мои терзания только росли; и этим она начала пользоваться.

Ее недельное жалование, выплачиваемое ей при условии, что она будет исполнять трижды в сутки основные свои обязанности, было, в начале Бердслейской эры, двадцать один цент (к концу этой эры оно дошло до доллара и пяти центов, что уже составляло не один цент, а целых пять за сеанс). Это было более чем щедрой оплатой, если принять во внимание, что девочка постоянно получала от меня всякие мелкие подарки; не было случая, чтобы я не позволил ей

попробовать какое-нибудь интересное сладкое или посмотреть новый фильм, — хотя, разумеется, я считал себя вправе нежно потребовать от нее добавочного поцелуя или даже целого ассортимента сверхурочных ласок, когда знал, что она особенно облюбовала то или иное из удовольствий, свойственных ее возрасту. С ней бывало, однако, не легко. Уж больно апатично зарабатывала она свои три копейки (а потом три пятака) в день, а в иных случаях умела жестоко торговаться, когда было в ее власти отказать мне в некоторых особого рода разрушающих жизнь, странных, медлительных, райских отравах, без которых я не мог прожить больше нескольких дней сряду и которые, ввиду коренной сущности несказанной истомы, я не мог добыть силой. Хорошо учитывая магию и могущество своего мягкого рта, она ухитрилась — за один учебный год! — увеличить премию за эту определенную услугу до трех и даже четырех долларов! О читатель! Не смейся, воображая меня на дыбе крайнего наслаждения, звонко выделяющим гривенники, четвертаки и даже крупные серебряные доллары, как некая изрыгающая богатство, судорожно-звякающая и совершенно обезумевшая машина; а меж тем, склоненная над эпилептиком, равнодушная виновница его неистового припадка крепко сжимала горсть монет в кулачке, — который я потом все равно разжимал сильными ногтями, если, однако, она не успевала удрать и где-нибудь спрятать награбленное. И совершенно так же, как чуть ли не каждый второй день я медленно объезжал школьный район и вылезал из автомобиля, чтобы, едва передвигая ноги, заглядывать в молочные бары и всматриваться в туманные пролеты аллей, прислушиваясь к удаляющемуся девичьему смеху между ударами сердца и шелестом листопада, совершенно так же, я, бывало, обыскивал ее комнату, просматривая изорванные бумажки в красивой мусорной корзине с нарисованными розами, и глядел под подушку девственной постели, которую я сам только что сделал. Раз я нашел восемь долларовых билетов в одной из ее книг (с подходящим заглавием «Остров Сокровищ»), а другой раз дырка в стене за репродукцией Уистлеровой «Матери» оказалась набитой деньгами — я насчитал двадцать четыре доллара и мелочь — скажем, всего двадцать шесть долларов, — которые я преспокойно убрал к себе, ничего ей не сказав, после чего она обвинила, нагло на меня глядя, в «подлом воровстве» честнейшую госпожу Гулиган. Впоследствии она подтвердила величину своего интеллектуального коэффициента тем, что нашла более верное хранилище, которого я так никогда и не отыскал; но к этому времени я произвел экономическую революцию, заставив ее постепенно зарабатывать трудным и рвотным для нее способом право участвовать в театральной программе школы; потому что я больше всего боялся не того, что она меня разорит, а того, что она наберет достаточно денег, чтобы убежать. Мне думается, что эта бедная девочка со злыми глазами считала, что с какими-нибудь пятидесятью долларами в сумке ей удастся каким-нибудь образом добраться до Бродвея или Холливуда — или до мерзкой кухни придорожного ресторана (Нужна Подавальщица) в мрачнейшем степном штате, где дует ветер и мигают звезды над амбарами, фарами, барами, парами и все вокруг — мразь, гниль, смерть.

Я приложил все старания, господин судья, чтобы разрешить проблему «кавалеров». Вы не поверите, но каюсь, я даже почитывал местную газету, «Бердслейскую Звезду», где была рубрика «Для Юношества», чтобы выяснить, как мне себя вести!

«Совет отцам. Не отпугивайте молодых друзей вашей дочери. Допустим, что вам трудновато осознать, что теперь мальчики находят ее привлекательной. Для вас она все еще маленькая девочка. Для мальчиков же она прелестна и забавна, красива и весела. Им она нравится. Сегодня вы делаете крупные сделки в вашем директорском кабинете, но вчера вы были попросту гимназист Джим, носивший учебники Дженни. Вспомните-ка! Разве вам не

хочется, чтобы ваша дочь теперь в свою очередь находила счастье в восхищении нравящихся ей мальчиков? Неужели вы не хотите, чтобы они вместе предавались здоровым забавам?»

Здоровые забавы? Боже мой!

«Почему бы вам не смотреть на этого Тома и Джона, как на гостей у себя в доме? Почему не затеять беседу с ними? Заставить их разговориться, рассмешить их, дать им чувствовать себя свободно?»

Входи-ка, Том, в мой публичный дом!

«Если она нарушает правила, не устраивайте ей скандала в присутствии ее „сообщника“. Пусть она испытает тяжесть вашего неудовольствия наедине с вами, и пусть перестанут ее кавалеры считать, что она дочь старого людоеда».

Первым делом старый людоед составил два списка — один «абсолютно запрещенного», другой — «неохотно дозволенного». Абсолютно запрещены были выезды с кавалерами — вдвоем, или с другой парочкой, или с двумя парочками (следующий шаг вел, конечно, к массовой оргии). Ей позволялось зайти в молочный бар с подругами и там поболтать да похихикать с какими-нибудь случайными молодыми людьми, пока я ждал в автомобиле на некотором расстоянии. Сказал ей, что если ее группу пригласит социально приемлемая группа из мужской частной гимназии (той, которая называлась Бутлеровская Академия для Мальчиков) на ежегодный бал (под надзором учителей и их жен), я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье (воздушное, розовое — в котором тонкорукая тринадцатилетняя или четырнадцатилетняя девочка выглядит как фламинго). Кроме того, я обещал, что устрою вечеринку у нас в доме, на которую ей можно будет пригласить наиболее хороших из подруг и наиболее приличных из гимназистов, с которыми она к тому времени познакомится на бутлеровском балу. Но я заверил ее, что пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле, или встречаться с кавалерами на вечеринках у подруг, или вести вне предела слышимости долгие телефонные разговоры с молодым человеком, даже если она собирается «только обсуждать его отношения с одной моей подругой».

От этих запретов и ограничений Лолита приходила в ярость, ругала меня паршивым жуликом и еще худшими словесами, — и я в конце концов потерял бы терпение, если бы не понял вдруг, к сладчайшему моему облегчению, что злило ее, собственно, не то, что я лишаю ее того или другого удовольствия, а лишаю — общих прав. Я, видите ли, покушался на условную программу жизни, на общепринятые развлечения, на «вещи, которые полагается делать», на отроческую рутину; ибо ничего нет консервативнее ребенка, особенно девочки, будь она самой что ни на есть баснословной, русой, розовато-рыжей нимфеткой в золотой дымке октябрьского вертограда.

Не истолкуйте моих слов превратно. Я не могу поклясться, что в течение той зимы (1948–1949 г.) Лолите не удалось войти мимоходом в непристойное соприкосновение с мальчишками. Как бы пристально я ни следил за ее досугами, постоянно случались, конечно, необъяснимые утечки времени, которые она задним числом пыталась заткнуть путем чересчур уж замысловатых объяснений; и, конечно, моя ревность то и дело зацеплялась подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства; но я очень явственно чувствовал, — и ныне могу поручиться за правильность этого чувства, — что не стоило серьезно опасаться. Я так чувствовал не потому, что ни разу не подвернулся мне какой-нибудь осязаемый твердый молодой кадык (который я бы раздавил голыми руками) среди бессловесных мужского пола статистов, мелькавших где-то на заднем плане, но и потому, что мне становилось «более чем очевидно» (любимое выражение моей тети Сибиллы), что все варианты старшеклассников — от потеющего болвана, которого приводит в трепет возможность держать ручку соседки в темном

кино, до самодовольного насильника с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем — одинаково претили моей искушенной маленькой любовнице. «Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков», намарала она в учебнике, и под этим, рукою Моны (Мона должна теперь появиться с минуты на минуту): «А как насчет Риггера?» (ему тоже пора появиться).

Посему так безлики у меня в памяти те ребята, которых мне доводилось видеть в ее обществе. Существовал, например, Красный Свитер, который в один прекрасный день — в первый день, когда выпал снег — проводил ее до дому. Из окна гостиной я наблюдал за тем, как они напоследок разговаривали у нашего крыльца. На ней было первое ее пальто с меховым воротничком; коричневая шапочка венчала любимую мою прическу — ровная челка спереди, завитушки с боков и природные локоны сзади — и ее потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались еще более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки ее все время жестикулировали: она то наступала левой на подъем правой, то отодвигала пятку назад или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков, — и начинала всю серию снова. Существовал Ветронепроницаемый, который как-то в воскресенье разговаривал с нею перед рестораном, между тем как его мать и сестра пробовали меня утащить ради досужей болтовни; я волочил ноги и оглядывался на свою единственную любовь. В ней уже развилась не одна традиционная ужимка, как, например, вежливый способ молодой барышни показать, что она буквально «скорчилась» от смеха: наклонив голову и все еще имитируя беспомощный хохот, она отступила на несколько шагов (уже чуя мой зов) и затем повернулась и двинулась по направлению ко мне, с потухающей улыбкой. Я гораздо больше любил (может быть, потому что это напоминало мне ее первую незабвенную исповедь) — ее манеру вздыхать («ах, Боже мой!») с шутливо-мечтательной покорностью судьбе, или произносить длинное «Ах, нет!» низким рычащим голосом, когда удар судьбы уже грянул. Но больше всего мне нравилось смотреть на нее — раз мы уже заговорили о жестах и юности, — когда она, бывало, колесила взад и вперед по Тэеровской улице на своем новом велосипеде, тоже казавшемся прелестным и юным. Она поднималась на педалях, чтобы работать ими побойчее, потом опускалась в томной позе, пока скорость изнашивалась. Остановившись у почтового ящичка, относившегося к нам, она (все еще сидя верхом) быстро листала журнал, извлеченный оттуда, совала его обратно, прижимала кончик языка к уголку верхней губы, отталкивалась ногой и опять неслась сквозь бледные узоры тени и света.

В общем, она как будто лучше приспособилась к своему окружению, чем я в свое время представлял себе, созерцая свою избалованную девочку-рабыню и те броские, как запястья, особенности поведения, которыми она наивно щеголяла зимой в Калифорнии. Хотя я никогда не мог свыкнуться с той постоянной тревогой, в которой бьются нежные сердца великих грешников, я считал, что в смысле защитной окраски я ничего убедительнее не мог придумать. Лежа у окна на своей узкой кабинетной койке после краткой сессии обожания и отчаяния в холодной спальне у Лолиты и припоминая события завершившегося дня, я следил за собственным обликом, который крался, а не просто проходил, перед воспаленным оком моего воображения. Я следил, как д-р Гумберт, «красивый брюнет» бульварных романов, с примесью, может быть, кельтской крови в жилах, принадлежащий, вероятно, к консервативной, если не консервативнейшей, церкви, выходит проводить дочь в школу. Я наблюдал, как он приветствует медленной улыбкой и приятным движением бровей (черных и густых, как у мужчин на рекламах) добрую госпожу Гулиган, от которой несло чумным смрадом и которая, я знал, направится, при первом удобном случае, к хозяйской бутылке джина. Глазами западного соседа, бывшего палача или автора религиозных брошюр — кому какое дело? — я видел в откровенное окно его кабинета нашего героя (как его бишь? кажется, француз или швейцарец),

размышляющего перед пишущей машинкой (довольно изможденный профиль, почти гитлеровская прядь на бледном лбу). По праздникам можно было видеть профессора Г. Г. в хорошо сшитом пальто и коричневых перчатках, шествующего к Вальтону (кафе, известное своими фарфоровыми, в фиолетовых бантах, кроликами и коробками шоколада, среди которых сидишь и ждешь, чтобы освободился столик — столик для двоих, еще загаженный объедками предыдущей четы). Мы теперь видим его в будний день, около часу дня, важно приветствующего стоокую восточную соседку; осторожно маневрируя, он выводит автомобиль из гаража мимо проклятых можжевельников кустов и съезжает на скользкую дорогу. Подняв холодный взгляд от книги, смотрю на стенные часы в перегретой университетской библиотеке, среди глыбоподобных молодых женщин, застигнутых и превращенных в камень переизбытком человеческого знания. Шагаю по газону колледжа вместе со служителем культа Риггером (он же преподает Закон Божий в женской гимназии): «Мне кто-то сказал, что ее мать была знаменитой актрисой, погибшей при крушении самолета. Это не так? Значит, я плохо понял. Неужели? Вот оно что. Очень грустно». (Изволишь, милочка, сублимировать маму?) Медленно толкая металлическую колясочку с накапливающимися продуктами через лабиринт супермаркета, позади профессора В., такого же медленнодвигающегося, безобидного вдовца, с глазами козла. Расчищаю лопатой оснеженный въезд: пиджак скинут, роскошный черно-белый шарф обмотан вокруг шеи. Следом иду, без видимых признаков плотоядного нетерпения (даже заставляю себя вытереть ноги о мат) за дочкой-гимназисткой, входящей в дом. Сопровождаю Долли к дантисту... хорошенькая ассистентка, сияющая на нее... старые журналы... ne montrez pas vos zhambes^[91], как говорила покойница. За обедом с Долли в городском ресторане: мы заметили, что мистер Эдгар Г. Гумберт ел свой бифштекс европейским способом — не покладая ножа. Приятели (почти двойники) наслаждаются концертом: два мраморноликих, умиротворенных француза сидящих рядом — мосье Гумберт с музыкальной дочуркой и мосье Годэн с не менее одаренным сыночком профессора В. (который проводит гигиенический вечер в городе Провиденс, славном борделями). Отпираю гараж: квадрат света поглощает машину и гаснет. В красочной пижаме спускаю рывками штору в Доллиной спальне. В субботу утром, никем не видимый, торжественно взвешиваю голенькую, зимой отбеленную девочку на весах в ванной комнате. Его видели и слышали в воскресенье утром (а мы-то думали, что он ходит в церковь!): он кричал дочке: «Вернись не слишком поздно!» — она шла играть в теннис. Он впускает в дом до странности наблюдательную ее подругу: «Впервые вижу, сэр, мужчину в шелковой домашней куртке — кроме, конечно, как в кинодрамах».

Я с удовольствием думал, что познакомлюсь с Лолитиными подругами, но в общем они не оправдали ожидания. Перечислю Опаль Икс, Линду Голль, Авис Чапман, Еву Розен и Мону Даль — (все эти фамилии, за исключением одной, — лишь приближения к настоящим). Опаль, застенчивое, мешковатое, прыщавое создание в очках, души не чаяла в Долли, которая цукала ее. С Линдой Голль, лучшей теннисисткой в школе, Долли играла сингли не меньше двух раз в неделю: у меня есть подозрение, что Линда была настоящей нимфеткой, но почему-то она у нас не бывала (может быть, ей не позволялось бывать); она мне запомнилась только как вспышка самородного солнца на прямоугольнике крытого корта. Из других ни одна не могла претендовать на нимфетство, кроме Евы Розен. Авис представляла собой жирную, коренастую девочку с волосатыми ногами; Мона же, хоть и блистала какой-то грубоватой, чувственной красотой (причем ей было всего на год больше, чем моей стареющей любовнице), явно перестала давно быть нимфеткой, если когда-либо и была таковой. С другой стороны, Ева Розен,

маленькое «перемещенное лицо» из Франции, служила примером того, что и не отличающаяся исключительной красотой девочка может иногда обнаружить, для проницательного любителя, некоторые основные элементы нимфеточной прелести — идеально-тоненькую, едва развившуюся фигуру, странно-задерживающийся взгляд, приподнятые скуловые кости. Ее блестящие медные волосы напоминали если не окраской, то шелковистым глянцем, волосы Лолиты. Черты ее нежного, молочно-бледного лица с розовыми губами и белесыми ресницами лишены были той лисьей заостренности, которая свойственна великому внерасовому клану рыжеволосых; к тому же, она не носила зеленого этого мундира их клана, я вижу ее всегда в черном или темно-вишневом — в очень элегантном черном пуловере, например, и в черных башмачках на высоких каблуках; ногти она мазала гранатово-красным лаком и (к большому Политиному отвращению) любила говорить по-французски: интонации у Евы все еще оставались дивно-чистыми, но для школьных и спортивных терминов она обращалась к разговорному американскому языку, и тогда легкий бруклинский акцент примешивался к ее речи, что забавляло меня в этой парижаночке, ходившей в новоанглийскую школу со псевдобританскими притязаниями. К сожалению, Лолита, которая сперва с уважением говорила, что «дядя этой французской девчонки — миллионер», скоро прекратила из каких-то «светских» соображений дружбу с Евой, так и не дав мне времени насладиться — о, совсем скромно — ее душистыми появлениями в нашем гостеприимном доме. Милый читатель знает, какое значение я всегда придавал присутствию целой стайки девочек-пажей, утешительно-призовых нимфеток, вокруг моей Лолиты. Одно время я приглядывался к Моне Даль, которая часто посещала нас, особенно в весенний семестр, когда Лолита и она так увлеклись сценическим искусством. Я, случалось, спрашивал себя, какие тайны возмутительно ненадежная Долорес Гейз сообщила Моне; ведь мне Лолочка успела выболтать — сдавшись однажды на мою срочную и хорошо оплачиваемую мольбу — совершенно неслыханные подробности относительно романа, затеянного Моной на атлантическом курорте с каким-то моряком. Характерно, что Лолита избрала себе в наперсницы изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз (ослышался, по клятвенному заверению Лолиты) беспечно говорящей в прихожей (Лолита только что заметила про свой свитер, что он из «девственной», мол, шерсти): «Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя». Голос у Моны отличался курьезной хрипотцой; она завивала у хорошего парикмахера свои тускло-черные волосы и носила большие серьги; у нее были янтарно-карие, слегка навывкате, глаза и сочные губы. Лолита рассказывала, что учительницы журили Мону за то, что она навешивает на себя так много стразовых украшений. У нее дрожали руки. Над ней тяготел умственный коэффициент в сто пятьдесят пунктов. Упомяну еще громадное шоколадно-бурое родимое пятно, находившееся у нее на уже вполне женской спине, которую я осмотрел в тот вечер, когда Лолита и она нарядились в очень открытые, пастельных оттенков, платья для бала в Бутлеровской школе.

Забегаю немного вперед, но поневоле память перебегает по всей клавиатуре, когда думаю об этом учебном годе в Бердслее. В ответ на мои расспросы о том, с какими Лолита водилась мальчиками, мадемуазель Даль выказала изящную уклончивость. Разговор происходил в тот день, когда Лолита, отправившись играть в теннис в тот весьма «светский» спортивный клуб, к которому Линда принадлежала, звонила оттуда по телефону, что она, может быть, опоздает на целый час, так что не могу ли я, пожалуйста, занять Мону, когда та придет репетировать с ней сцену из «Укрощения Строптивой». И вот красивая Мона, пуская в ход все свои модуляции, все чары обхождения и голоса, и глядя мне в глаза с какой-то (или я ошибался?) легкой искрой хрустальной иронии, ответила мне так:

«По правде сказать, сэр, Долли вообще не думает о желторотых мальчиках. По правде сказать,

мы с ней соперницы. И она и я безумно влюблены в преосвященного Риггера» (ходячая шутка — я уже упоминал об этом угрюмом громадном мужлане с лошадиной челюстью; он меня довел чуть ли не до смертоубийства своими впечатлениями от поездки в Швейцарию, которыми донимал меня на каком-то чаепитии для родителей, не помню точно когда).

«А как прошел бал?» «Ах, буйственно!» «Виноват?» «Не бал, а восторг. Словом, потрясающий бал». «Долли много танцевала?» «О, не так уже страшно много — ей скоро надоело». «А что думает Мона (томная Мона) о самой Долли?» «В каком отношении, сэр?» «Считает ли она, что Долли преуспевает в школе?» «Что ж, девчонка она — ух, какая!» «А как насчет общего поведения?» «Девчонка, как следует». «Да, но все-таки...?» «Прелесть девчонка!» — и сделав это заключение, Мона отрывисто вздохнула, взяла со столика случайно подвернувшуюся книгу и, совершенно изменив выражение лица, притворно нахмутив брови, осведомилась: «Расскажите мне про Бальзака, сэр. Правда ли, что он так замечателен?» Она придвинулась так близко к моему креслу, что я учуял сквозь косметическую мусть духов и кремов взрослый, неинтересный запах ее собственной кожи. Неожиданно странная мысль поразила меня: а что если моя Лолитка занялась сводничеством? Коли так, она выбрала неудачную кандидатку себе в заместительницы. Избегая хладнокровный взгляд Моны, я с минуту поговорил о французской литературе. Наконец явилась Долли — и посмотрела на нас, прищулив дымчатые глаза. Я предоставил подружек самим себе. На повороте лестницы было створчатое, никогда не отворяемое, паутиной заросшее оконце, в переплете которого один квадратик был из рубинового стекла, и эта кровоточащая рана среди других бесцветных клеток, а также ее несимметричное расположение (ход коня, бе восемь — це шесть) всегда меня глухо тревожили.

10

Иногда... Ну-ка пожалуйста, сколько именно раз, товарищ? Можете ли вы припомнить четыре, пять или больше таких случаев? Или же ни одно человеческое сердце не вынесло бы свыше двух-трех раз? Иногда (ничего не могу сказать в ответ на вопрос ваш), в то время, как Лолита расхлябанно готовила заданный урок, сося карандаш, развалясь поперек кресла и положив ноги через его ручку, я сбрасывал с себя все цепи педагогической сдержанности, отметал все наши ссоры, забывал все свое мужское самолюбие — и буквально на четвереньках подползал к твоему креслу, моя Лолита! Она тогда смотрела на меня взглядом, похожим на серый мохнатый вопросительный знак (говорящий с недоверием, с раздражением: «Как — уже опять?»); ибо ты ни разу не соизволила понять, что я способен, без каких-либо определенных намерений, нестерпимо хотеть уткнуться лицом в твою шотландскую юбочку, моя любимая! Боже мой — хрупкость твоих голых рук и ног, Боже мой, как тянуло меня сложить, обнять все четыре этих прозрачных, прелестных конечности, вроде как ноги сложенного жеребенка, и взять твою голову в мои недостойные руки, и подтянуть кверху кожу висков с обеих сторон, и поцеловать твои окитайченные глаза, и — «Ах, отстань от меня, старый павиан!», говорила ты. «Христа ради, прошу тебя отстать от меня наконец!» И я вставал с пола, а ты смотрела, нарочитым дерганьем лица подражая моему нервному тикю. Но ничего, это не имеет значения, я всего лишь животное, ничего, будем продолжать эту жалкую повесть.

11

Как-то в понедельник, в одно декабрьское, кажется, утро, позвонила мисс Пратт и попросила меня приехать поговорить кое о чем. Я знал, что отметки Долли за последний месяц

были неважные; но вместо того, чтобы удовлетвориться каким-нибудь правдоподобным объяснением вызова, я вообразил Бог знает какие ужасы и должен был подкрепить себя пинтой джинанаса, прежде чем решиться поехать в школу. Медленно, с таким чувством, будто весь состою из гортани и сердца, я взошел на плаху.

Мисс Пратт, огромная, неряшливого вида женщина с седыми волосами, широким, плоским носом и маленькими глазками за стеклами роговых очков, попросила меня сесть, указав на плюгавый и унижительный пуф, меж тем как она сама присела с тяжеловатой лихостью на ручку дубового кресла. Несколько секунд она молчала, вперив в меня взгляд, улыбающийся и любопытный. Мне вспомнилось, что она так глядела и в первое наше свидание, но тогда я мог позволить себе сурово нахмуриться в ответ. Наконец ее глаза соскользнули с меня. Она впала в задумчивость — вероятно, напускную. Как бы решившись на что-то, она стала обеими толстопалыми руками тереть, складкой об складку, свою темно-серую фланелевую юбку у колена, счищая что-то — меловой след, что ли. Затем она сказала — все еще потирая юбку и не поднимая глаз:

«Позвольте мне спросить вас без обиняков, мистер Гейз. Вы ведь старомодный, европейский отец, не правда ли?»

«Да нет», сказал я. «Консервативный, может быть, но не то, что подразумевается под старомодным».

Она перевела дух, насупилась, а затем, приподняв большие, пухлые руки, хлопнула в ладоши, выражая намерение обратиться к сути дела, и снова уставилась на меня блестящими глазками.

«Долли Гейз», сказала она, «очаровательная девчурка, но начальная пора полового созревания ей, по-видимому, причиняет кое-какие затруднения».

Я слегка поклонился. Что я мог сделать другого?

«Она все еще маячит», сказала мисс Пратт, представляя это маячение соответствующим движением корицей усеянных рук, «между двумя зонами, анальной и генитальной. В основе она, конечно, очаровательная —»

Я переспросил: «Простите, между какими зонами?»

«Вот это заговорил в вас старомодный европеец!» возгласила Праттша, слегка ударив по моим наручным часам и внезапно выставив фальшивые зубы. «Я только хотела сказать, что биологическая тяга и тяга психологическая — хотите папиросу? — не совсем сливаются в вашей Долли, не образуют, так сказать, нечто закругленное». Ее руки на миг обхватили невидимый арбуз.

«Она привлекательна, умна, но небрежна — (тяжело дыша, не покидая насеста, моя собеседница сделала паузу, чтобы взглянуть на отзыв об успехах очаровательной девчурки, лежавший справа от нее на письменном столе). Ее отметки становятся все хуже и хуже. Вот я себя и спрашиваю, мистер Гейз», — снова это мнимое раздумие.

«Что ж», продолжала она бодро, «а я вот папиросы курю и, как наш незабвенный доктор Пирс говаривал, не горжусь этим, но чрезвычайно это люблю!» Она закурила, и дым, который она выпустила из ноздрей, напомнил мне пару кабаньих клыков.

«Давайте-ка я вам представлю несколько деталей, это не займет много времени. Где это у меня?» (она стала перебирать свои бумаги). «Да. Она держится вызывающе с мисс Редкок и невозможно груба с мисс Корморант. А вот доклад одной из наших специальных научных работниц: с удовольствием участвует в хоровом пении класса, хотя ее мысли немного как будто блуждают. При этом закидывает ногу на ногу и помахивает левой в такт. В рубрике обычных словечек: лексикон из двухсот сорока двух слов обыкновеннейшего слэнга подростков с придачей некоторого числа многосложных слов явно европейского происхождения. Много

вздыхает в классе. Где это...? Да. Вот тут за последнюю неделю в ноябре. Много вздыхает... Энергично жует резину. Ногтей не кусает, а жаль — это лучше бы соответствовало общей картине — с научной точки зрения, конечно. Менструация, по словам субъекта, вполне установившаяся. Не принадлежит в данное время ни к какой церковной организации. Кстати, мистер Гейз, ее мать была — ? Ах, вот оно что. А вы сами — ? Да, конечно, это никого не касается — кроме, может быть, Господа Бога. Нам еще кое-что хотелось выяснить... У нее, по-видимому, нет никаких домашних обязанностей? Ага, так, так. Вы, мистер Гейз, видно, хотите, чтобы ваша Долли росла принцессой. Ну, что у нас еще тут имеется? Берет в руки книги и откладывает их весьма грациозно. Голос приятный. Довольно часто хихикает. Немного мечтательна. Имеет какие-то свои тайные шуточки, читает обратно, например, фамилии некоторых учительниц. Волосы темно-русые и светло-русые попеременно, с блеском — ну, я думаю (Праттша заржала), — это вы сами знаете. Нос незаложен, ступни с высоким подъемом, глаза — погодите, у меня тут был более недавний отчет. Да! Вот он. Мисс Гольд говорит, что отметки за теннисный стиль Долли поднялись от „отлично“ до „великолепно“ — они даже лучше, чем у нашей чемпионки Линды Голль, но у Долли плохая концентрация, что отражается на счете. Мисс Корморант не может решить, имеет ли Долли исключительную власть над своими эмоциями или же сама всецело находится под их властью. Мисс Зелва докладывает, что ей, т. е. Долли, не удастся словесно оформить свои переживания, а мисс Дутен считает, что Доллины органические функции выше всех похвал. Мисс Молар думает, что Долли близорука и должна бы пойти к хорошему офтальмологу, между тем как мисс Редкок, напротив, утверждает, что девочка симулирует переутомление глаз для того, чтобы оправдать учебные недочеты. И наконец, мистер Гейз, есть нечто основное, беспокоящее наших исследователей. Хочу вас спросить откровенно. Хочу знать, если ваша бедняжка-жена, или вы сами, или кто-либо другой в семье, — я правильно понимаю, что у нее есть в Калифорнии несколько теток и дедушка с материнской стороны? — ах, все померли — извините в таком случае, — но как бы то ни было, нас тревожит вопрос, объяснил ли ей какой-нибудь член семьи, как, собственно, происходит размножение у млекопитающих? У нас у всех впечатление, что в пятнадцать лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами, или точнее, подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить свое невежество и чувство собственного достоинства. Хорошо, я ошиблась — не пятнадцать, а почти четырнадцать. Видите ли, мистер Гейз, наша школа не верит, что нужно детишек питать рассказами о пчелках и тычинках, об аистах и птичках-неразлучках, но мы весьма твердо верим, что надобно учениц подготовить ко взаимно-удовлетворительному брачному сожителю и к благополучному материнству. Мы чувствуем, что Долли могла бы преуспевать, если бы она больше старалась. Доклад мисс Корморант в этом отношении знаменателен. У Долли есть склонность, мягко говоря, нахальничать. Но все мы чувствуем, что, во-первых, вам нужно попросить вашего домашнего доктора объяснить ей элементарные основы половой жизни, а во-вторых, вы должны ей позволить наслаждаться обществом братьев ее товаров, — либо в Клубе Молодежи, либо в Организации преосвященного Риггера, либо, наконец, в прекрасной домашней обстановке наших школьных родителей».

«Она может встречаться с мальчиками в собственной прекрасной домашней обстановке», проговорил я.

«Мы очень надеемся, что так будет», сказала Праттша с воодушевлением. «Когда мы стали расспрашивать ее о ее затруднениях, Долли отказалась обсуждать домашнее положение; но мы поговорили с некоторыми из ее подруг и — слушайте — мы, например, настаиваем на том, чтобы вы взяли обратно вето, которое вы наложили на ее участие в наших спектаклях. Вы просто обязаны разрешить ей играть в „Зачарованных Охотниках“. При первом распределении

ролей она оказалась восхитительной маленькой нимфой. Весной же автор проведет несколько дней в Бердслейском Университете и, может быть, согласится присутствовать на двух-трех репетициях в нашей новой аудитории. Я хочу сказать, что вот в таких вещах и состоит счастье — быть молодой, хорошенькой, полной жизни. Вы должны понять —»

«Я всегда казался самому себе», вставил я, «очень понятливым отцом».

«Ах, не сомневаюсь! Но мисс Зелва и мисс Дутен думают, — и я склонна согласиться с ними, — что вашу Долли преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода, а потому не перестает дразнить и мучить других девочек — и даже кое-кого из наших учительниц помоложе, и бессмысленно выворачивать задом наперед их имена, — потому что у них-то бывают невинные встречи с кавалерами».

Пожал плечами. Потрепанный эмигрант.

«Давайте-ка приложим ум сообща, мистер Гейз. Что же с ней такое, с этой девочкой?»

«Она мне представляется совсем нормальной и счастливой», ответил я (может быть, катастрофа наконец приблизилась? Может быть, они уличили меня? Может быть, обратились к гипнотизеру?).

«Что тревожит меня», сказала мисс Пратт, посмотрев на часы и начав обсуждать весь вопрос сызнава, «это то, что и наставницы, и товарки находят Долли враждебно настроенной, неудовлетворенной, замкнутой, — и все мы недоумеваем, почему это вы так против всех нормальных развлечений, свойственных нормальным детям?»

«Включая любовные прелиминарии?» спросил я развязно, отчаянно — так огрызается припертая к стене старая крыса.

«Что ж, я, разумеется, приветствую такую передовую терминологию», сказала Праттша с ухмылкой. «Но не в этом дело. Поскольку существует у нас в Бердслейской гимназии надзор, наши спектакли, танцы и другие естественные увеселения не могут считаться в прямом смысле любовными прелиминариями, хотя, конечно, девочки встречаются с мальчиками, если к этому сводится ваше возражение».

«Ладно», сказал я — и мой пуф испустил усталый вздох. «Ваша взяла. Она может участвовать в пьесе. Но если часть ролей мужская, то ставлю условие: мужская часть поручается девочкам».

«Меня всегда поражает», сказала мисс Пратт, «как изумительно некоторые иностранцы — или, во всяком случае, натурализованные американцы — пользуются нашим богатым языком. Я уверена, что мисс Гольд — она у нас руководит драматической группой — весьма и весьма обрадуется. Между прочим, она, по-моему, одна из немногих учительниц, которые как будто относятся хорошо — т. е. я хочу сказать, которые как будто умеют подойти к трудной Долли. Ну вот, на этом мы покончили с общими вопросами; теперь остается небольшая частность. Мистер Гейз, ваша Долли опять напроказила».

Мисс Пратт сделала паузу, а затем провела тылом указательного пальца под ноздрями влево и вправо с такой силой, что ее нос пустился в воинственную пляску.

«Я человек прямодушный», сказала она, «но в жизни есть некоторые условности, и мне трудно. — Хорошо, давайте, я объясню так: есть, например, господа Уокер, живущие в старинном доме, который мы тут называем Герцогским Замком — вы, конечно, знаете этот громадный серый дом на вершине холма — они посылают двух своих дочек в нашу школу, и у нас есть также племянница президента университета, доктора Мура, исключительно благовоспитанная барышня — не говоря о целом ряде других знатных детей. И вот, принимая во внимание эти обстоятельства, мы несколько ошарашены, когда Долли, которая выглядит такой приличной девочкой, употребляет слова, которые вам, иностранцу, вероятно, просто неизвестны или непонятны. Может быть, было бы лучше — может быть, позвать сюда Долли и, не

откладывая, тут же все обсудить? Не хотите? Видите ли — Ах, уж давайте без обиняков. Долли написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит писсуар на низкопробном мексиканском жаргоне, — написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению, их раздала девочкам мисс Редкок, которая выходит замуж в июне, и мы решили, что Долли останется после классов — этак полчаса. Но если вы желаете —»

«Нет», сказал я, «не хочу нарушать ваших правил. Я с ней поговорю наедине. Я это выясню».

«Да, сделайте это», сказала мисс Пратт, вставая со своего места на ручке кресла. «А мы с вами можем опять поговорить в скором времени, и если улучшения не будет, попросим нашу докторшу проанализировать девочку».

Может быть, жениться на Праттше и задушить ее?

«А кроме того, пускай ваш домашний врач осмотрит ее физически — простая, рутинная проверка. Я посадила ее в Класс-Квас, последний в конце коридора».

Объясню, что Бердслейская гимназия подражала знаменитой школе для девочек в Англии тем, что надавала разных, будто бы «традиционных», названий классным комнатам, как, например: Класс-Раз, Класс-Два-с, Класс-Алмаз и прочее. «Квас» оказался дурно-пахнущим, с коричневой репродукцией «Годов Невинности» Рейнольдса над черной доской и с несколькими рядами корявых парт. За одной из них Лолита была погружена в главу о Диалоге в «Драматической Технике» Бэкера, и все было очень тихо, а спереди от нее сидела другая девочка, с очень голой, фарфорово-белой шеей и чудными бледно-золотыми волосами, и тоже читала, забыв решительно все на свете, причем бесконечно оборачивала мягкий локон вокруг пальца, и я сел рядом с Долли прямо позади этой шеи и этого локона, и расстегнул пальто, и за шестьдесят пять центов плюс разрешение участвовать в школьном спектакле добился того, чтобы Долли одолжила мне, под прикрытием парты, свою мелом и чернилами испачканную, с красными костяшками руку. Ах, это, несомненно, было глупо и неосторожно с моей стороны, но после недавних терзаний в кабинете начальницы, я просто был вынужден воспользоваться комбинацией, которая, я знал, никогда не повторится.

Около Рождества она сильно простудилась, и ее осмотрела одна из подруг Биянки Лестер, докторша Ильза Тристрамсон — (здравствуйте, Ильза, вы были очень милы, не выказали излишнего любопытства и трогали мою голубку так нежно). Докторша установила бронхит, потрепала Лолиту по голой спине (где пушок вдоль хребта дыбом стоял от жара) и уложила ее в постель на недельку или дольше. Сначала у нее была высокая температура, и я не мог отказаться от зноя нежданных наслаждений (*Venus febriculosa!*)^[92], но, по правде сказать, очень вялая девочка постанывала, и кашляла, и тряслась от озноба в моих настойчивых объятиях. А как только она поправилась, я устроил для нее Вечеринку с Мальчиками.

Пожалуй, я слишком много выпил, готовясь к тяжелому испытанию. Пожалуй, я поставил себя в дурацкое положение. Девочки украсили и заштепсели елочку (немецкий рождественский обычай, только раньше были свечи, а теперь — цветные лампочки). Выбирали пластинки и кормили ими граммофон моего домохозяина. Долли была в нарядном сером платье с облегающим лифом и юбкой клёш. Мурлыча мотив, я ушел к себе наверх, но затем каждые десять или двадцать минут спускался, как болван, на несколько секунд под предлогом, что забыл трубку на камине или пришел посмотреть, где оставил газету; и с каждым разом мне становилось труднее и труднее проделывать эти простые действия, и я поневоле вспоминал те

ужасно далекие дни, в Рамздэле, когда я, бывало, так мучительно готовился к тому, чтобы небрежно войти в комнату, где граммофон пел «Маленькую Кармен».

Вечеринка не совсем удалась. Из трех приглашенных девочек одна не пришла вовсе, а один из кавалеров привел своего двоюродного брата Роя, так что оказалось два лишних мальчика. Оба кузена знали все танцы, но другие двое почти совсем не умели танцевать, вследствие чего большая часть вечера ушла на то, чтобы поставить вверх дном кухню, а затем на ведение трескучих споров насчет того, в какую сыграть карточную игру, и некоторое время спустя две девочки и четыре мальчика очутились сидящими на полу в гостиной, где отворили все окна и играли в какую-то словесную игру, правила которой Опаль никак не могла понять, меж тем как Мона и Рой, долговязый благообразный юноша, пили имбирный лимонад на кухне, сидя на столе и болтая ногами, и горячо обсуждая Предопределение и Закон Статистической Вероятности. Когда они все ушли, Лолита издала звук вроде «ых!», прикрыла глаза и упала в кресло, звездообразно раскинув руки и ноги, этим подчеркивая свое отвращение и измождение, и стала божиться, что такой мерзкой шайки мальчишек она никогда в жизни не видела. Я купил ей новую теннисную ракету за эту фразу.

Январь выдался сырой и мягкий, а февраль ввел в заблуждение кусты форситии, покрывшиеся вдруг золотыми цветами. Старожилы не могли запомнить такой погоды! Посыпались и другие подарки. На ее четырнадцатое рождение, в первый день 1949-го года, я подарил ей велосипед — ту очаровательную механическую газель, которую я уже однажды упоминал, и к этому прибавил Историю Современной Американской Живописи; мне почему-то доставляло дивное удовольствие обращение ее с велосипедом, то есть ее подход к нему, движение бедра при влезании на него и тому подобное; но мои попытки облагородить ее художественный вкус окончились неудачей: она хотела знать, надо ли считать фермера, дремлющего после полдника на сене (кисти Дориды Ли), отцом нарочито сладострастной дивчины на переднем плане, и не могла понять, почему я утверждаю, что Грант Вуд и Питер Гурд талантливы, а Реджинальд Марш и Фредерик Уо бездарны.

13

К тому времени, когда весна подкрасила улицу Тэера желтыми, зелеными и розовыми мазками, Лолита уже бесповоротно влюбилась в театр. Мисс Пратт, которую я однажды в воскресенье заметил завтракающей с какими-то дамами у Вальтона, поймала издали мой взгляд и — пока Лолита не смотрела — сердечно и сдержанно наградила меня беззвучными аплодисментами. Я не терплю театра, вижу в нем, в исторической перспективе, примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой, несмотря на индивидуальные инъекции гения, как, скажем, поэзия Шекспира или Бен Джонсона, которую, запершись у себя и не нуждаясь в актерах, читатель автоматически извлекает из драматургии. Будучи в то время слишком занят собственными литературными трудами, я не нашел возможным ознакомиться с полным текстом «Зачарованных Охотников» — той пьесы, в которой Долорес Гейз получила роль дочери фермера, вообразившей себя не то лесной волшебницей, не то Дианой: эта дриада, каким-то образом достав учебник гипноза, погружает заблудившихся охотников в различные забавные трансы, но в конце концов подпадает сама под обаяние бродяги-поэта (Мона Даль). Вот в сущности все, что я вычитал из смятых обрывков неряшливо настуканного текста, которые Лолита рассыпала по всему дому. Мне было и приятно и грустно, что заглавие пьесы случайно совпадает с названием незабвенной гостиницы, но я устало сказал себе, что незачем об этом напоминать моей собственной чаровнице, боясь, что бесстыдный упрек в сентиментальности

мне причинит еще больше страдания, чем ее пренебрежительная забывчивость. Мне показалось, что пьеса — один из многих анонимных пересказов какой-то банальной легенды. С тем же успехом, конечно, я мог бы подумать, что, в погоне за привлекательным названием, основатель гостиницы подвергся, непосредственно и исключительно, влиянию случайной фантазии им нанятого второстепенного стенописца и что впоследствии вывеска отеля подсказала заглавие пьесы. Но я со своим доверчивым, простым и благожелательным умом нечаянно повернул все это в другую сторону и машинально предположил, что фрески, вывеска и заглавие произошли из общего источника, из местного, что ли, предания, которое я, будучи чужд новоанглийскому фольклору, мог и не знать. Вследствие этого у меня сложилось впечатление (все такое же случайное и лишенное всякого значения), что проклятая пьеса принадлежит к типу прихотливых пустяков для детской аудитории, приспособленных и переделанных тысячу раз, как, например, «Гензель и Гретель» такого-то, или «Спящая Красавица» такой-то, или «Новое платье короля» неких Мориса Вермонта и Марионы Румпельмейер (все это можно найти в любом таком сборнике, как «Школьная Сцена» или «Сыграем Пьесу!»). Другими словами, я не знал, — а если бы знал, то было бы мне в те дни наплевать, — что на самом деле пьеса «Зачарованные Охотники» — недавно написанное и в техническом смысле самобытное произведение, в первый раз поставленное всего месяца три-четыре тому назад в фасонистой нью-йоркской студии. Насколько я мог судить по роли моей прелестницы, вещица была удручающе вычурная, с отзвуками из Ленормана и Метерлинка и всяческих бесцветных английских мечтателей. Охотники в пьесе были, как полагается в Америке, одеты все одинаково, в одинаковых красных кепках, и только отличались качеством вооружения. Один был банкир, другой водопроводчик, третий полицейский, четвертый гробовщик, пятый страховщик, а шестой — беглый каторжник (драматические эффекты тут самоочевидны); все они внутренне переменились, попав в Доллин Дол, и уже помнили настоящую свою жизнь только как какую-то грезу или дурной сон, от которого их разбудила маленькая моя Диана; но седьмой охотник (не в красной, а в зеленой кепке — экий разиня!) был Молодой Поэт, и он стал настаивать, к великой досаде Дианиты, что и она и другие участники дивертисмента (танцующие нимфы, эльфы, лешие) — всё лишь его, поэтово, сотворение. Насколько я понял, кончалось тем, что, возмущенная его самоуверенностью, босая Долорес приводила своего поэта, т. е. Мону, одетую в клетчатые штаны со штрипками, на отцовскую ферму за глухоманью, чтобы доказать хвастуну, что она-то сама — вовсе не его вымысел, а деревенская, твердо-стоящая на черноземе девушка; и поцелуй под занавес закреплял глубокую идею пьесы, поучающей нас, что мечта и действительность сливаются в любви. Благоразумие советовало мне обойтись без критики в разговорах с Лолитой: она так хорошо увлекалась «проблемами выразительности», так прелестно складывала вместе свои узкие флорентийские ладони, хлопая ресницами и заклиная меня не присутствовать на репетициях в школе, как это делали некоторые довольно смешные родители! Ей хотелось, говорила она, ослепить меня совершенно гладким первым представлением, а кроме того я, видите ли, как-то всегда вмешиваюсь не в свое дело, не то говорю и стесняю ее в присутствии ее знакомых.

Среди репетиций случилась одна совсем особенная... о сердце, сердце!.. был в мае один особенный день, полный радостной суеты — но все это как-то прошло мимо, вне моего кругозора, не задержавшись у меня в памяти, и когда уже после, к вечеру, я опять увидел Лолиту (она сидела на велосипеде, балансируя, прижав руку к влажной коре молодой березы на краю нашего лужка), меня так поразила сияющая нежность ее улыбки, что я на миг поздравил себя с окончанием всех моих печалей. «Скажи», спросила она, «ты, может быть, помнишь, как назывался отель — ах, ты знаешь, какой отель (нос у нее сморщился), ну, скажи — ты знаешь, — там, где были эти белые колонны и мраморный лебедь в холле? Ну, как это ты не

знаешь (она шумно выдохнула) — тот отель, где ты меня изнасиловал? Хорошо, не в том дело, к чорту. Я просто хочу спросить, не назывался ли он (почти шепотом) — „Зачарованные Охотники“? Ах, да (мечтательно), в самом деле?» И вдруг, с маленьким взвизгом влюбленного, вешнего смеха, она шлепнула ладонью по глянцевиному стволу и понеслась в гору, до конца улицы, и затем покатила назад, в позе совершенного покоя, держа ступни, одну выше, другую ниже, на неподвижных педалях и забыв одну руку на колене, не прикрытом ситцевой юбкой.

Так как говорилось, что музыка связана с увлечением балетом и сценой, я позволил Лолите брать уроки рояля с мисс Ламперер (как мы, знатоки Флобера, можем ее для удобства назвать), к белому с голубыми ставнями домику которой, в двух милях от Бердслея, Лолита катила два раза в неделю. Как-то, в пятницу вечером, в последних числах мая (и около недели после той особенной репетиции, на которую, как и на прочие, я не был допущен), зазвонил телефон в кабинете, где я кончал подчищать королевский фланг Гастона, и голос мисс Ламперер спросил, приедет ли моя Эмма — то бишь Лолита — в следующий вторник: она пропустила два урока подряд — в прошлый вторник и нынче. Я сказал: «да, конечно приедет» — и продолжал игру. Как легко поверит читатель, мои способности теперь пошатнулись и через два-три хода я вдруг заметил, сквозь муть внешахматного страдания, что Гастон — ход был его — может завладеть моим ферзем; он это заметил тоже, но опасаясь западни со стороны заковыристого противника, долго не решался, и отдувался, и сопел, и тряс брылами, и даже взглядывал на меня украдкой, неуверенно пододвигая и опять вбирая пухлые, собранные в пучок пальцы, — безумно хотел взять эту сочную штуку, а не смел — и внезапно схватил ее (не научил ли его этот случай той опасной смелости, которую он потом стал выказывать в другой области?), и я провел скучнейший час, пока добился ничьей. Он допил свой коньяк и, немного погодя, ушел вразвалку, вполне довольный результатом (*mon pauvre ami, je ne vous ai jamais revu et quoiqu'il y ait bien peu de chance que vous voyiez mon livre, permettez-moi de vous dire que je vous serre la main bien cordialement, et que toutes mes fillettes vous saluent*)^[93]. Я нашел Долопес Гейз за кухонным столом, уплетающей клин торта и не отрывающей глаз от листка с ролью. Она подняла их навстречу моему взгляду, — в них была какая-то небесная пустота. Когда я заявил ей о своем открытии, она осталась до странности безмятежной и только сказала *d'un petit air faussement contrit*^[94], что она, конечно, очень скверная девочка, но было просто невозможно противиться соблазну, и вот она потратила эти часы музыки — о читатель, о мой читатель! — на то, чтобы разучивать с Моной в городском парке волшебные-лесные сцены пьесы. Я сказал: «Превосходно», и прошагал к телефону. Мать Моны ответила: «да, она дома» и, с материнским нейтральным вежливо-довольным смешком удалилась, крича уже за сценой: «Тебя просит Рой», и в следующую минуту подшелестнула Мона и тотчас же, низким, монотонным, но не лишенным ласковости голосом, принялась отчитывать Роя за какую-то им сделанную или сказанную пакость, и я перебил ее, и вот уже Мона, спокойно переключившись, говорила своим смиреннейшим, наисексуальнейшим контральто: «да, сэр», «разумеется, сэр», «я одна виновата, сэр, в этой несчастной истории» (какая плавность! какая светскость!), «право, я очень сожалею» — и так далее и тому подобное, как выражаются эти шлюшки.

Я опять спустился на первый этаж, откашливаясь и держась за сердце. Лолита сидела теперь в гостиной, в своем любимом кожаном кресле. Она сидела развисясь, выкусывая заусеницу, следя за мной глумливым взглядом бессердечных, дымчатых глаз и не переставая качать табурет, на который поставила пятку вытянутой, в одном носке, ноги, — и с приступом тошной боли я увидел ясно, как она переменялась с тех пор, как я познакомился с ней два года

тому назад. Или перемена случилась за последние две недели? Где была моя нежность к ней? Разрушенный миф! Она находилась прямо в фокусе моего накаленного добела гнева. Мгла вожделения рассеялась, ничего не оставив, кроме этой страшной светозарности. О да, она переменилась! Кожа лица ничем не отличалась теперь от кожи любой вульгарной неряхи-гимназистки, которая делит с другими косметическую мазь, накладывая ее грязными пальцами на немытое лицо, и которой все равно, чей грязный пиджачный рукав, чья прыщами покрытая щека касаются ее лица. А меж тем в прежние дни ее лицо было подернуто таким нежным пушком, так сверкало росой слез, когда бывало играючи, я катал ее растрепанную голову у себя на животе! Грубоватая краснота заменила теперь свечение невинности. Весенний насморк с местным названием «кроличьей простуды» окрасил в огненно-розовый цвет края ее презрительных ноздрей. Объятый неким ужасом, я опустил взор, и он машинально скользнул по исподней стороне ее опроставшейся, из-под юбочки напряженно вытянутой ляжки — ах, какими отполированными и мускулистыми стали теперь ее молодые ноги! Ее широко расставленные, серые как матовое стекло глаза, с лопнувшей на белке красной жилкой, смотрели на меня в упор, и мне казалось, я различаю в ее взгляде тайную мысль, что, может быть, Мона права, и ей, сиротке Долорес, удалось бы меня выдать полиции без того, чтобы самой понести кару. Как я ошибся! Каким безумцем я себя показал! Все в ней было равно непроницаемо — мощь ее стройных ног, запачканная подошва ее белого носка, толстый свитер, которого она не сняла, несмотря на духоту в комнате, ее новый луковый запах и особенно — тупик ее лица с его странным румянцем и недавно крашенными губами. Эта краска оставила след на ее передних зубах, и меня пронзило одно воспоминание — о, не образ воскресшей Моники, а образ другой, очень молодой проституточки в борделе, много лет тому назад, которую кто-то успел перехватить, пока я решал, искупает ли ее единственная прелесть — юность — ужасную возможность заразиться Бог знает чем, и у которой были точно такие же горящие маслаки, и умершая мама, и крупные передние зубы, и обрывок тускло красной ленточки в простонародно-русых волосах.

«Ну что же, говори уж», сказала Лолита. «Подтверждение приемлемо?»

«О да», сказал я. «Абсолютно приемлемо. Да. И я не сомневаюсь ни секунды, что вы это вместе придумали. Больше скажу — я не сомневаюсь, что ты ей сообщила все, что касается нас».

«Вот как?»

Я совладел с одышкой и сказал: «Долорес, все это должно прекратиться немедленно. Я готов выхватить тебя из Бердслея и запереть ты знаешь где, или это должно прекратиться. Я готов увезти тебя через несколько минут — с одним чемоданом; но это должно прекратиться, а не то случится непоправимое».

«Непоправимое? Скажите пожалуйста!»

Я отпихнул табурет, который она все раскачивала пяткой, и нога ее глухо ударилась об пол.

«Эй», крикнула она, «легче на поворотах!»

«Прежде всего, марш вверх!» крикнул я в свою очередь и одновременно схватил и вытащил ее из кресла. С этой минуты я перестал сдерживать голос, и мы продолжали орать друг на дружку, причем она говорила непечатные вещи. Она кричала, что люто ненавидит меня. Она делала мне чудовищные гримасы, надувая щеки и производя дьявольский лопающийся звук. Она сказала, что я несколько раз пытался растлить ее в бытность мою жильцом у ее матери. Она выразила уверенность, что я зарезал ее мать. Она заявила, что она отдастся первому мальчишке, который этого захочет, и что я ничего не могу против этого. Я велел ей подняться к себе и показать мне все те места, где она припрятывает деньги. Это была отвратительная, нестерпимо-громкая сцена. Я держал ее за костлявенькую кисть, и она вертела ею так и сяк, под шумок

стараясь найти слабое место, дабы вырваться в благоприятный миг, но я держал ее совсем крепко и даже причинял ей сильную боль, за которую, надеюсь, сгниет сердце у меня в груди, и раза два она дернулась так яростно, что я испугался, не треснула ли у нее кисть, и все время она пристально смотрела на меня этими своими незабвенными глазами, в которых ледяной гнев боролся с горячей слезой, и наши голоса затопляли звонивший наверху телефон, и в этот самый миг, как я осознал этот звон, она высвободилась и была такова.

С персонажами в кинофильмах я, по-видимому, разделяю зависимость от всеисильной *machina telephonica* и ее внезапных вторжений в людские дела. На этот раз оказалось, что звонит разозленная соседка. Восточное окно гостиной оставалось широко открытым, — хотя штора по милости судьбы была опущена; и за этим окном сырая черная ночь кислой новоанглийской весны, затаив дыхание, подслушивала нашу ссору. Мне всегда думалось, что тип внутренне похабной старой девы, внешне похожей на соленую пикшу, — чисто литературный продукт скрещивания родством связанных лиц в современном американском романе; но теперь я убежден, что щепетильная и блудливая мисс Восток — или по-настоящему (вскроем это инкогнито) мисс Финтон Лебон — должно быть, по крайней мере на три четверти высунулась из окна своей спальни, стараясь уловить суть нашей ссоры.

«Какой кавардак... какой галдеж...», квакала телефонная трубка. «Мы не живем тут в эмигрантском квартале. Этого нельзя никак —»

Я извинился за шум, поднятый дочерними гостями («Знаете — молодежь...») и на полквake повесил трубку.

Внизу хлопнула дверь. Лолита? Убежала из дому?

В лестничное оконце я увидел, как стремительный маленький призрак скользнул между садовыми кустами; серебристая точка в темноте — ступица велосипедного колеса — дрогнула, двинулась и исчезла.

Так случилось, что автомобиль проводил ночь в ремонтной мастерской на другом конце города. Мне приходилось пешком преследовать крылатую беглянку. Даже теперь, когда ухнуло в вечность больше трех лет с той поры, я не в силах вообразить эту улицу, эту весеннюю ночь без панического содрогания. Перед освещенным крыльцом их дома мисс Лестер прогуливала старую, разбухшую таксу мисс Фабиан. Как изверг в стивенсоновской сказке, я был готов всех раздавить на своем пути. Надо попеременно: три шага идти медленно, три — бежать. Тепловатый дождь забарабанил по листьям каштанов. На следующем углу, прижав Лолиту к чугунным перилам, смазанный темнотой юноша тискал и целовал ее — нет, не ее, ошибка. С неизрасходованным зудом в когтях, я полетел дальше.

В полумиле от нашего четырнадцатого номера Тэеровская улица спутывается с частным переулком и поперечным бульваром; бульвар ведет к торговой части города; у первого же молочного бара я увидел — с какой мелодией облегчения! — Лолитин хорошенький велосипед, ожидавший ее. Я толкнул, вместо того чтобы потянуть, дверь, потянул, толкнул опять, потянул и вошел. Гляди в оба! В десяти шагах от меня, сквозь стеклянную стенку телефонной будки (бог мембраны был все еще с нами), Лолита, держа трубку в горсточке и конфиденциально сгорбившись над ней, взглянула на меня прищуренными глазами и отвернулась со своим кладом, после чего торопливо повесила трубку и вышла из будки с пребойким видом.

«Пробовала тебе позвонить домой», беспечно сказала она. «Принято большое решение. Но сперва угости-ка меня кока-колой, папочка».

Сидя у бара, она внимательно следила за тем, как вялая, бледная девушка-сифонщица накладывала лед в высокий бокал, напускала коричневую жидкость, прибавляла вишневого сиропа — и мое сердце разрывалось от любви и тоски. Эта детская кисть! Моя прелестная девочка... У вас прелестная девочка, мистер Гумберт. Мы с Биянкой всегда восхищаемся ею,

когда она проходит мимо. Мистер Пим (проходящий мимо в известной трагикомедии) смотрел, как Пиппа (проходящая мимо у Браунинга) всасывает свою нестерпимую смесь.

J'ai toujours admire l'oeuvre ormonde du sublime Dublinois.^[95] И тем временем дождь превратился в бурный и сладостный ливень.

«Вот что», сказала она, тихо подвигаясь на своем велосипеде подле меня, одной ногой скребя по темно-блестящей панели. «Вот что я решила. Хочу переменить школу. Я ненавижу ее. Я ненавижу эту пьесу. Честное слово! Уехать и никогда не вернуться. Найдем другую школу. Мы уедем завтра же. Мы опять проделаем длинную поездку. Только на этот раз мы поедем, куда я хочу, хорошо?»

Я кивнул. Моя Лолита.

«Маршрут выбираю я? C'est entendu?^[96]» спрашивала она, повиливая рядом со мной. Пользовалась французским языком только, когда бывала очень послушной девчоночкой.

«Ладно. Entendu. А сейчас гоп-гоп-гоп, Ленора, а то промокнешь» (буря рыданий распирала мне грудь).

Она оскалила зубы и с обольстительной ухваткой школьницы наклонилась вперед, и умчалась. Птица моя!

Холеная рука мисс Лестер держала дверь крыльца приотворенной для переваливавшейся старой собаки qui prenait son temps^[97].

Лолита ждала меня у призрачной березы.

«Я промокла насквозь», заявила она громким голосом. «А ты — доволен? К чорту пьесу! Понимаешь?»

Где-то наверху лапа невидимой ведьмы с грохотом закрыла окно.

Мы вошли к себе в дом; передняя сияла приветственными огнями; Лолита стащила свитер, потряхнула бисером усыпанными волосами и, приподняв колено, протянула ко мне оголенные руки.

«Понеси меня наверх, пожалуйста. Я что-то в романтическом настроении».

Физиологам, кстати, может быть небезынтересно узнать, что у меня есть способность — весьма, думается мне, необыкновенная — лить потоки слез во все продолжение другой бури.

Тормоза подтянули, трубы вычистили, клапаны отшлифовали, и кое-какие другие починки и поправки оплатил не ахти как много смыслящий в механике господин Гумберт, после чего автомобиль покойной госпожи Гумберт оказался в достаточно приличном виде, чтобы предпринять новое путешествие.

Мы обещали Бердслейской гимназии, доброй, старой Бердслейской гимназии, что вернемся, как только кончится мой голливудский ангажемент (изобретательный Гумберт намекнул, что его приглашают консультантом на съемку фильма, изображавшего «экзистенциализм» — который в 1949 году считался еще ходким товаром). На самом же деле я замыслил тихонько переплюхнуться через границу в Мексику — я осмелел с прошлого года — и там решить, что мне делать дальше с моей маленькой наложницей, рост которой теперь равнялся шестидесяти дюймам, а вес — девяносту английских фунтов. Мы выкопали наши туристические книжки и дорожные карты. С огромным смаком она начертила маршрут. Спрашивалось, не вследствие ли тех сценических ирреальных занятий она переросла свое детское напускное пресыщение и теперь с обстоятельным вниманием стремилась исследовать роскошную действительность? Я испытывал странную легкость, свойственную сновидениям, в

то бледное, но теплое воскресное утро, когда мы покинули казавшийся озадаченным кров профессора Хима и покатили по главной улице города, направляясь к четырехленточному шоссе. Летнее, белое в черную полосу платье моей возлюбленной, ухарская голубая шапочка, белые носки и коричневые мокасины не совсем гармонировали с большим, красивым камнем — граненым аквамарином — на серебряной цепочке, украшавшим ее шею: подарок ей от меня — и от весеннего ливня. Когда мы поравнялись с «Новой Гостиницей», она вдруг усмехнулась. «В чем дело?» спросил я. «Дам тебе грош, коль не соврешь», — и она немедленно протянула ко мне ладошку, но в этот миг мне пришлось довольно резко затормозить перед красным светофором. Только мы застопорили, подъехала слева и плавно остановилась другая машина, и худая чрезвычайно спортивного вида молодая женщина (где я видел ее?) с ярким цветом лица и блестящими медно-красными кудрями до плеч приветствовала Лолиту звонким восклицанием, а затем, обратившись ко мне, необыкновенно жарко, «жанна-дарково» (ага, вспомнил!), крикнула: «Как вам не совестно отрывать Долли от спектакля, вы бы послушали, как автор расхваливал ее на репетиции —» «Зеленый свет, болван», проговорила Лолита вполголоса, и одновременно, красочно жестикулируя на прощанье многобраслетной рукой, Жанна д'Арк (мы видели ее в этой роли на представлении в городском театре) энергично перегнала нас и одним махом повернула на Университетский Проспект.

«Кто именно — Вермонт или Румпельмейер?»

«Нет, это Эдуза Гольд — наша режиссерша».

«Я говорю не о ней. Кто именно сварганил пьесу о твоих Зачарованных Охотниках?»

«А, вот ты о чем. Кто именно? Да какая-то старуха, Клэр что-то такое, кажется. Их была целая куча там».

«И она, значит, похвалила тебя?»

«Не только похвалила — даже лобызнула в лобик — в мой чистый лобик», и цыпка моя испустила тот новый маленький взвизг смеха, которым — может быть, в связи с другими театральными навыками — она с недавних пор любила щеголять.

«Ты пресмешное создание, Лолита», сказал я (передаю мою речь приблизительно). «Само собой разумеется, что меня страшно радует твой отказ от дурацкого спектакля. Но только странно, что ты его бросила всего за неделю до его естественного разрешения. Ах, Лолита, смотри, не сдавайся так легко! Помнится мне, ты отказалась от Рамздэля ради летнего лагеря, а от лагеря ради увеселительной поездки, — и я мог бы привести еще несколько резких перемен в твоём настроении. Ты у меня смотри. Есть вещи, от которых никогда не следует отказываться. Будь упорнее. Будь немножко нежнее со мной, Лолита. Кроме того, ты слишком много ешь. Объем твоей ляжки не должен, знаешь, превосходить семнадцати с половиной дюймов. Чуточку набавишь, — и все кончено между нами (я, конечно, шутил). Мы теперь пускаемся в длинное, счастливое путешествие. Я помню —»

Я помню, что ребенком, в Европе, я грезил над картой Северной Америки, на которой «палач», т. е. средняя часть «Аппалачских гор», крупным шрифтом растянулся от Алабамы до Мэна, так что вся обхватываемая область (включая Пенсильванию и Нью-Йорк) являлась моему воображению как исполинская Швейцария или даже Тибет, сплошь горы, чередование дивных алмазных пиков, огромные хвойные деревья, le montagnard émigré^[98] в великолепной своей медвежьей дохе, и Felis tigris Goldsmithi^[99], и краснокожие индейцы под катальпами. Как ужасно, что все это свелось к мизерному пригородному палисаднику и дымящейся железной корзине для сжигания мусора... Прощай, Аппалачие! Покинув его, мы пересекли Огайо, три

штата, начинающих на «И», и Небраску — ах, это первое дуновение Запада! Мы уехали не спеша, так как у нас была целая неделя, чтобы достичь Уэйс, городок в Скалистых Горах, где ей страстно хотелось посмотреть на Обрядовые Пляски индейцев в день ежегодного открытия Магической Пещеры, и почти три недели, чтобы добраться до Эльфинстона, жемчужины одного из западных штатов, где ей мечталось взобраться на Красный Утес, с которого одна немолодая звезда экрана не так давно бросилась и убилась насмерть после пьяного скандала со своим сутенером.

Снова нас приветствовали осмотрительные мотели такими обращениями, прибитыми в простенках, как, например:

«Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный (подчеркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предупреждения всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчеркнуто) ненужного материала в унитаз. Благодарствуйте. Приезжайте опять. Дирекция. Постскрипtum: Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьми на Свете».

В этих страшных местах две постели стоили нам десять долларов в ночь. Мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась. Прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке, в соседнем номере кто-то во всеуслышание вешал пиджак в гулкий стенной шкаф, вешалки были хитроумно прикручены к перекладине проволокой для предотвращения кражи, и — последнее оскорбление — картины над четой кроватей были идентичными близнецами. Я заметил, между прочим, перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный караван-сарай, а там нарастал и второй этажик, между тем как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж, и мотель преспокойно возвращался к образу и подобию доброго старого отеля третьего разряда.

Теперь хочу убедительно попросить читателя не издеваться надо мной и над помутнением моего разума. И ему и мне очень легко задним числом расшифровать сбывшуюся судьбу; но пока она складывается, никакая судьба, поверьте мне, не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намек. В юности мне даже попался французский рассказ этого рода, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом; но не так действует Мак-Фатум — даже если и распознаешь с испугом некоторые темные намеки и знаки.

Например: я не мог бы поклясться, что в одном случае, незадолго до среднезападной части нашей поездки или в самом начале этого этапа, ей не удалось сообщить кое-что неизвестному человеку или неизвестным людям, или же как-то снестись с ним или с ними. Мы только что остановились у бензиновой станции под знаком Пегаса, и, выскользнув из машины, она исчезла где-то за гаражом, благо поднятый капот, под который я заглянул, следя за манипуляциями механика, скрыл ее на мгновение от моего взгляда. Не видя ее, но будучи в покладистом настроении, я только покачал доброй головой, хотя, строго говоря, посещение публичных уборных запрещалось совершенно, ибо я инстинктивно чувствовал, что уборные — как и телефоны — представляли собой по непроницаемой для меня причине те острые пункты, за которые ткань моей судьбы имела склонность зацепляться. У каждого есть такие роковые предметы или явления, — в одном случае повторяющийся ландшафт, в другом — цифры, которые боги тщательно подбирают для того, чтобы навлечь значительные для нас события: тут

Джон всегда споткнется; там всегда разобьется сердце Дженни.

Итак, машину мою обслужили, и я отъехал от бензоколонок, чтобы дать место развозному грузовичку — и тут растущий объем ее отсутствия начал томить меня в серой пустоте ветреного дня. Не в первый раз и не в последний глядел я с таким тусклым беспокойством на неподвижные мелочи, которые как будто дивятся (вроде деревенских зевак), что попали в поле зрения замешкавшегося путешественника: это темно-зеленое ведро для отбросов, эти густо-черные с белым боком шины на продажу, эти желтые жестянки с машинным маслом, этот румяный холодильник с разнообразными напитками, эти четыре, пять... семь пустых бутылок в деревянных клетках ящика, видом своим напоминавшего не совсем заполненную крестословицу, это насекомое, терпеливо поднимающееся по внутренней стороне окна в ремонтной конторе... Радиомузыка доносилась из ее открытой двери, и оттого что ритм не был синхронизирован с колыханием и другими движениями ветром оживленной растительности, — получалось впечатление старого видового фильма, который живет собственной жизнью, меж тем как пианино или скрипка следует музыкальной линии, находящейся вне сферы вздрагивающего цветка или качающейся ветки. Отзвук последних рыданий Шарлотты нелепым образом пронзил меня, когда, в платье, зыблющемся не в лад с музыкой, Лолита выбежала с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что клозет был занят и она перешла через поперечную улицу к следующему гаражу — под знаком Раковины. Там надпись гласила: «Мы гордимся нашими туалетными комнатами, столь же чистыми, как у вас дома. Открытки с уже наклеенными марками приготовлены для ваших комментариев». Но уборная была без открыток, без мыла, без чего бы то ни было. Без комментариев.

В тот день или на следующий, после довольно скучного пути мимо участков сплошь засеянной земли, мы докатились до очаровательного городка Касбим и при въезде в него остановились на ночь в мотеле «Каштановый Двор»: приятные домики, сочный газон, каштаны, яблони, старые качели — и великолепный закат, на который усталое дитя даже не посмотрело. Ей хотелось проехать через Касбим, потому что он был всего в тридцати милях к северу от ее родного города, но на другое утро она как будто потеряла всякий интерес к тому, чтобы взглянуть на тротуар, где играла в классы пять лет тому назад. По очевидным причинам я побаивался этой побочной поездки, хотя мы и согласились с ней не обращать на себя внимание — не выходить из машины и не посещать старых ее друзей. Поэтому меня порадовало, что она отставила свой проект, но мое облегчение нарушала мысль, что если бы она чувствовала, что я в прежнем, прошлогоднем ужасе от ностальгических возможностей Писки, то так легко она бы от него не отказалась. Когда я упомянул об этом со вздохом, она вздохнула тоже и жалобно сказала, что «кисло» себя чувствует — а потому предложила, что останется в постели с кучей иллюстрированных журналов, а что после ленча, если ей станет лучше, поедем дальше, уже прямо на запад. Должен сказать, что она была очень нежна и томна и что ей «безумно хотелось» свежих фруктов, так что я решил отправиться в центр Касбима за какой-нибудь вкусной пикниковой снедью. Наш крохотный коттедж стоял на лесистой вершине холма: из окошка виднелась дорога, извивами спускавшаяся вниз и затем тянувшаяся прямой, как пробор, чертой между двумя рядами каштанов к прелестному городку, который казался удивительно отчетливым и игрушечным в чистой утренней дали; можно было разглядеть эльфоподобную девочку на стрекозоподобном велосипеде и рядом непропорционально крупную собаку — все это так ясно-ясно, вроде тех паломников и мулов, которых видишь поднимающимися по извилистым, бледным как воск, дорогам на старых картинах с синеватыми холмами и маленькими красными людьми. У меня европейский позыв к пешему передвижению, когда можно обойтись без автомобиля, и посему я не торопясь стал спускаться по дороге и через некоторое время встретил обещанную велосипедистку — оказавшуюся, впрочем, некрасивой,

пухлявой девочкой с косичками — в сопровождении величественного сенбернара с глазницами, как громадные бархатные фиалки. В Касбиме очень старый парикмахер очень плохо постриг меня: он все болтал о каком-то своем сыне-бейсболисте и при каждой губной согласной плевал мне в шею. Время от времени он вытирал очки об мое покрывало или прерывал работу дряхлострекотавших ножниц, чтобы демонстрировать пожелтевшие газетные вырезки; я обращал на это так мало внимания, что меня просто потрясло, когда он наконец указал на обрамленную фотографию посреди старых посеревших бутылочек, и я понял, что изображенный на ней усатый молодой спортсмен вот уже тридцать лет как помер.

Я выпил чашку кофе, горячего и безвкусного, купил гроздь бананов для моей обезьянки и провел еще минут десять в гастрономическом магазине. Прошло всего часа полтора, — и вот крохотный пилигрим Гум-гум появился опять на дороге, ведущей назад к «Каштановому Двору».

Девочка, виденная мной по пути в город, теперь исчезала под грузом белья, помогая убирать кабинки кривому мужлану, чья большая голова и грубые черты напомнили мне так называемого «бертольда», один из типов итальянского балагана. Было на нашем «Каштановом Кряже» с дюжину этих домиков, просторно и приятно расположенных среди обильной зелени. Сейчас, в полдень, большинство из них, под финальный стук своих упругих, самозахлопывающихся дверей, уже отделались от постояльцев. Древняя, совсем высохшая от старости, чета в автомобиле совсем новой конструкции осторожно выползла из одного из смежных с каждым коттеджем маленьких гаражей; из другого такого же гаражика довольно непристойно торчал красный перед спортивной машины; а поближе к нашему коттеджу красивый, крепко сложенный молодой человек с черным коком и синими глазами укладывал в шарабанный автомобиль портативный холодильник. Почему-то он посмотрел на меня с неуверенной ухмылкой. Насупротив, посреди газона, под ветвистой сенью пышных деревьев, уже знакомый мне сенбернар сторожил велосипед своей хозяйки, а рядом молодая женщина, на сносях, посадив оцепеневшего от блаженства младенца на качели, тихо качала его, меж тем как ревнивый ребенок лет двух или трех все мешал ей, стараясь толкнуть или потянуть доску качелей; кончилось тем, что доска сбила его с ног, и он заревел, лежа навзничь на мураве, а мать продолжала нежно улыбаться ни тому ни другому из рожденных уже детей. Я припоминаю так ясно эти мелкие подробности потому, вероятно, что мне пришлось так основательно проверить свои впечатления несколько мгновений спустя; да и кроме того, что-то внутри меня оставалось на чеку с самого того ужасного вечера в Бердслее. Я теперь не давал отвлечь себя приятному самочувствию, вызванному прогулкой, — ветерку раннего лета, овевающему мне затылок, пружинистому скрипу сырого гравия под ногой, лакомому кусочку, высосанному наконец из дуплистого зуба и даже комфортабельной тяжести покупок, которые, впрочем, мне не полагалось бы носить ввиду состояния сердца; но даже несчастный этот насос мой работал, казалось, ровно, и я почувствовал себя *adolori d'amoureuse langueur*^[100], когда наконец добрал до коттеджа, где я оставил мою Долорес.

К удивлению моему, я нашел ее одетой. Она сидела на краю постели в синих холщовых брючках и вчерашней майке и глядела на меня, точно не совсем узнавала. Мягкий очерк ее маленьких грудей был откровенно подчеркнут, скорее чем скраден, мятостью трикотажной ткани, и эта откровенность сразу раздражила меня. Она еще не купалась; однако успела покрасить губы, замазав каким-то образом свои широкие передние зубы — они лоснились, как вином облитая слоновая кость или розоватые покерные фишки. И вот, она так сидела, уронив на колени сплетенные руки, вся насыщенная чем-то ярким и дьявольским, не имевшим ровно никакого отношения ко мне.

Я положил на стол свой тяжелый бумажный мешок и несколько секунд стоял, переходя

взглядом с ее сандалий и голых лодыжек на блаженно-глупое ее лицо и обратно к этим грешным ножкам.

«Ты выходила», сказал я (сандалии грязно облипли гравием).

«Я только что встала», ответила она и добавила (перехватив мой книзу направленный взгляд): «Я на минуточку вышла — хотела посмотреть, идешь ли ты».

Почуяла бананы и раскрутила тело по направлению к столу.

Мог ли я подозревать что-либо определенное? Конечно, не мог, но — эти мутные, мечтательные глаза, это странное исходившее от нее тепло... Я ничего не сказал, только посмотрел на дорогу, так отчетливо вившуюся в раме окна: всякий, кто захотел бы злоупотребить моим доверием, нашел бы в этом окне отличнейший наблюдательный пункт. С разыгравшимся аппетитом Лолиточка принялась за фрукты. Вдруг мне вспомнилась подобострастная ухмылка типа из соседнего коттеджа. Я выскочил во двор. Все автомобили отбыли, кроме его шарабана; туда вошла его брюхатая молодая жена со своим младенцем и другим, более или менее отменным ребенком.

«В чем дело, куда ты пошел?» закричала Лолита с крыльца.

Я ничего не сказал. Я втолкнул ее, такую мягонькую, обратно в комнату и последовал за ней. Я сорвал с нее майку. Под треск застежки-молнии я содрал остальное. Я мигом разул ее. Неистово я стал преследовать тень ее измены; но горячий след, по которому я неся, слишком был слаб, чтобы можно было его отличить от фантазии сумасшедшего.

Толстяк Гастон, будучи полон вычур, любил делать подарки — подарки чуть-чуть тоже вычурные или по крайней мере необыкновенные, на его вычурный вкус. Заметив однажды, что сломался мой ящик с шахматами, он на другое же утро прислал мне, с одним из своих катамитиков, медный ларец: по всей крышке его шел сложный восточный узор, и он весьма надежно запирался на ключ. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы узнать в нем дешевую шкатулку для денег, зовущуюся почему-то «луизетта», которую мимоходом покупаешь где-нибудь в Малаге или Алжире и с которой потом не знаешь, что делать. Шкатулка оказалась слишком плоской для моих громоздких шахмат, но я ее сохранил — для совершенно другого назначения.

Желая разорвать сеть судьбы, которая, как я смутно чувствовал, опутывала меня, я решил (несмотря на нескрываемую досаду Лолиты) провести лишнюю ночь в «Каштановых Коттеджах». Окончательно уже проснувшись в четыре часа утра, я удостоверился, что девочка еще спит (раскрыв рот, как будто скучно дивясь нелепой до странности жизни, которую мы все построили кое-как для нее) и что драгоценное содержание «луизетты» в сохранности. Там, уютно закутанный в белый шерстяной шарф, лежал карманный пистолет: калибр — ноль тридцать два, вместимость — восемь патронов, длина — около одной девятой роста Лолиты, рукоятка — ореховая в клетку, стальная отделка — сплошь воронёная. Я его унаследовал от покойного Гарольда Гейза вместе с каталогом, где в одном месте, с беззаботной безграмотностью, объявлялось: «так же хорошо применим в отношении к дому и автомобилю, как и к персоне». Он лежал в ящике, готовый быть немедленно примененным к персоне или персонам; курок был полностью взведен, но «скользящий запор» был на предохранителе во избежание произвольного спуска. Не следует забывать, что пистолет есть фрейдистический символ центральной праотцовской конечности.

Меня теперь радовало, что он у меня с собой, — и особенно радовало то, что я научился им пользоваться два года тому назад, в сосновом бору около моего и Шарлоттино, похожего на

песочные часы, озера. Фарло, с которым я ходил по этому глухому лесу, стрелял превосходно: ему удалось попасть из кольта в колибри, хотя нужно сказать, что в смысле трофея осталось от птички немного — всего лишь щепотка радужного пуха. Дородный экс-полицейский, по фамилии Крестовский, который в двадцатых годах ловко застрелил двух беглых арестантов, однажды присоединился к нам и пополнил ягдташ миниатюрным дятлом — кстати, убитым им в такое время года, когда охота совершенно запрещена. По сравнению с этими заправскими стрелками я, конечно, был новичок и все промахивался, но зато в другой раз, когда я ходил один, мне посчастливилось ранить белку. «Лежи, лежи», шепнул я моему портативно-компактному дружку и выпил за его здоровье глоток джиджанаса.

Читатель должен теперь забыть Каштаны и Кольты, чтобы последовать за нами дальше на запад. Ближайшие дни были отмечены рядом сильных гроз — или, может быть, одна и та же гроза продвигалась через всю страну грузными лягушечьими скачками, и мы так же неспособны были ее отряхнуть, как сыщика Траппа: ибо именно в эти дни передо мной предстала загадка Ацтеково-Красного Яка с откидным верхом, совершенно заслонившая собой тему Лолитиных любовников.

Любопытно! Я, который ревновал ее к каждому встречному мальчишке, — любопытно, до чего я неверно истолковал указания рока! Возможно, что за зиму мою бдительность усыпило скромное поведение Лолиты; и во всяком случае даже сумасшедший вряд ли был бы так глуп, чтобы предположить, что какой-то Гумберт Второй жадно гонится за Гумбертом Первым и его нимфеткой под аккомпанемент зевесовых потешных огней, через великие и весьма непривлекательные равнины. У меня поэтому явилась догадка, что вишневый Як, пребывавший милую за милей на дискретном расстоянии от нас, управляет был сыщиком, которого какой-то досужий хлопотун нанял с целью установить, что именно делает Гумберт Гумберт со своей малолетней падчерицей. Как бывает со мной в периоды электрических волнений в атмосфере и потрескивающих молний, меня томили галлюцинации. Допускаю, что это было нечто посущественнее галлюцинаций. Мне неизвестно, какой дурман однажды положили она или он в мой джин, но он плохо подействовал, и ночью я ясно слышал легкий стук в дверь коттеджа; я распахнул ее и одновременно заметил, что я совершенно гол и что на пороге стоит, бледно мерцая в пропитанном дождем мраке, человек, державший перед лицом маску, изображающую Чина, гротескного детектива с выдающимся подбородком, приключения которого печатались в комиксах. Он издал глухой хохоток и улепетнул; я же, шатаясь, вернулся к постели и тотчас заснул опять, — и как ни странно, мне до сих пор не ясно, была ли это действительность или дурманом вызванное видение. Впрочем, я с тех пор досконально изучил особый юмор Траппа, и это мне представляется довольно правдоподобным его образцом. О, как это было грубо задумано и вконец безжалостно! Какой-то коммерсант, полагаю, зарабатывал на том, что продавал эти маски ходких чудищ и оболтусов. Ведь заметил же я на другой день, как два мальчугана рылись в мусорном ящике и примеряли личину Чина? Совпадение? Результат метеорологических условий?

Будучи убийцей, наделенным потрясающей, но неровной, норовистой памятью, не могу вам сказать, милостивые государины и государи, с какого именно дня я уже знал достоверно, что за нами следует вишневый Як с откидным верхом. Зато помню тот первый раз, когда я совсем ясно увидел его водителя. Как-то под вечер я медленно ехал сквозь струившийся ливень, все время видя красный призрак, который расплывался и трепетал от сладострастия у меня в боковом зеркальце. Но вот шумный потоп полегчал, застучал дробно, а там и вовсе пресекся.

Прорвавшись сквозь облака, ослепительное солнце прохлестнуло по всему шоссе; мне захотелось купить черные очки, и я остановился у бензозаправочного пункта. То, что происходило, казалось мне болезнью, злокачественной опухолью, против которой ничего нельзя было сделать, а потому я решил попросту игнорировать нашего хладнокровного преследователя, который, в закрытом виде, остановился немного позади нас, у какого-то кафе или бара с идиотской вывеской: «ТУРНЮРЫ», а пониже: «Протанцуйте тур с Нюрой». Машину мою напоили, и я отправился в контору, чтобы купить очки и заплатить за бензин. Подписывая «путевой» чек, я попытался сообразить, в каком месте нахожусь, и случайно взглянул в окно. Там я увидел нечто ужасное. Мужчина с широкой спиной, лысоватый, в бежевом спортивном пиджаке и темнокоричневых штанах, слушал, что сообщает ему Лолита, которая, высунувшись из нашего автомобиля, говорила очень скоро и при этом махала вверх и вниз рукой с растопыренными пальцами, как бывало, когда дело шло о чем-то очень серьезном и неотложном. Меня особенно поразила — поразила с мучительной силой — какая-то речистая свобода ее обращения, которую мне трудно описать, но это было так, словно они знали друг дружку давно, — больше месяца, что ли. Затем я увидел, как он почесал щеку, кивнул, повернулся и пошел обратно к своей машине — широкого сложения, довольно коренастый мужчина моих лет, несколько похожий на покойного Густава Траппа, швейцарского кузена моего отца, с таким же, как у дяди Густава, ровно загорелым лицом, более округлым, чем мое, подстриженными темными усиками и дегенеративным ртом в виде розового бутончика. Лолита изучала дорожную карту, когда я вернулся к автомобилю.

«О чем спрашивал тебя этот хам, Лолита?»

«Какой хам? Ах — тот. Ах, да. Ах, не знаю. Спрашивал, есть ли у меня карта. Заблудился, верно».

Мы поехали дальше, и я сказал:

«Теперь послушай, Лолита. Не знаю, лжешь ли ты или нет, и не знаю, сошла ли ты или нет с ума, и мне это все равно в данную минуту; но этот господин ехал за нами весь день, и я вчера видел его машину у нас на постоялом дворе, и я подозреваю, что он полицейский агент. Тебе хорошо известно, что случится и куда пошлют тебя, если полиция пронюхает что-либо. А теперь скажи абсолютно точно, что он сказал и что ты сказала ему».

Она засмеялась.

«Если он действительно полицейский», ответила она пронзительно крикливо, но довольно разумно, «то глупее всего было бы показать ему, что мы испугались. Игнорируй его, папаша».

«Он спросил тебя, куда мы едем?»

«Ну, уж это он сам знает!» (издевательский ответ).

«Во всяком случае», сказал я, сдаваясь, «я теперь рассмотрел его рожу. Красотой он не отличается. Между прочим, он удивительно похож на одного моего двоюродного дядю, по фамилии Трапп».

«Может быть, он и есть Трапп. На твоём месте я бы — ах, смотри, все девятки превращаются в следующую тысячу. Когда я была совсем маленькая», неожиданно добавила она, указывая на одометр, «я была уверена, что нули остановятся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход».

Впервые, кажется, она так непосредственно припоминала свое догумбертское детство; возможно, что сцена научила ее таким репликам. В полном молчании мы продолжали катиться. Погоня исчезла.

Но уже на другой день, как боль рокового недуга, которая возвращается по мере того, как слабеют и морфий и надежда, он опять появился за нами, этот гладкий красный зверь. Проезжих на шоссе было в тот день мало; никто никого не обгонял; и никто не пытался втиснуться между

нашей скромной синенькой машиной и ее властительной красной тенью: весельчак чародей, точно заморозил интервал, установив зону, самая точность и устойчивость которой таили в себе нечто хрустальное и почти художественное. Наш преследователь, с этими набитыми ватой плечами и дядюшкиными усиками, напоминал манекен в витрине, его автомобиль двигался, казалось, только потому, что невидимый и неслышимый шелковистый канат соединяет его с нашим убогим седанчиком. Мы были во много раз слабее его роскошно-лакированного Яка, так что даже и не старались ускользнуть от него. *E lente currite, noctis equi!* О тихо бегите, ночные драконы! Мы брали длительно-крутой подъем и катились опять под гору. Мы слушались указаний дозволенной скорости. Мы давали возможность перейти — в следующий класс — детям. Мы плавными мановениями руля воспроизводили черные загогулины на желтых щитах, предупреждающие о повороте; и где бы мы ни проезжали, зачарованный интервал продолжал, не меняясь, скользить за нами математическим миражем, шоссейным дубликатом волшебного ковра. И все время я чувствовал некий маленький индивидуальный пожар справа от меня: ее ликующий глаз, ее пылающую щеку.

Руководивший движением полицейский, в аду так и сяк скрещивающихся улиц, в четыре тридцать дня, у въезда в фабричный город, оказался той дланью судьбы, которая рассеяла наваждение. Он поманил меня, приказывая двинуться, и затем той же рукой отрезал путь моей тени. Длинная череда автомобилей тронулась и поехала по поперечной улице, между Яком и мной. Я далеко вынесся — и затем ловко свернул в боковой переулок. Воробей снизился с большущей крошкой хлеба, был атакован другим и потерял крошку.

Когда после нескольких мрачных остановок и умышленных петель я вернулся на шоссе, моей тени нигде не было видно.

Лолита презрительно фыркнула и сказала: «Если он — сыщик, как было глупо улизнуть от него».

«Мне теперь положение представляется в другом свете», ответил я.

«Ты проверил бы свое... светопредставление... если бы остался в контакте с ним, мой драгоценный папаша», проговорила Лолита, извиваясь в кольцах собственного сарказма. «Какой ты все-таки подлый», добавила она обыкновенным голосом.

Мы провели угрюмую ночь в прегадком мотеле под широкошумным дождем и при прямо-таки допотопных раскатах грома, беспрестанно грохотавшего над нами.

«Я не дама и не люблю молнии», странно выразилась Лолита, прильнувшая ко мне, увы, только потому, что болезненно боялась гроз.

Утренний завтрак мы ели в городе Ана, нас. 1001 чел.

«Судя по единице», заметил я, «наш толстомордик уже тут как тут».

«Твой юмор», сказала Лолита, «положительно уморителен, драгоценный папаша».

К этому времени мы уже доехали до полынной степи, и я был награжден деньком-другим прекрасного умиротворения (дурак, говорил я себе, ведь все хорошо, эта тяжесть зависела просто от застрявших газов); и вскоре прямоугольные возвышенности уступили место настоящим горам, и в должный срок мы въехали в городок Уэйс.

Вот так беда! Какая-то произошла путаница, она в свое время плохо прочла дату в путеводителе, и Пляски в Волшебной Пещере давно кончились! Она, впрочем, приняла это стойко, — и когда оказалось, что в курортноватом Уэйсе имеется летний театр и что гастрольный сезон в разгаре, нас естественно понесло туда — в один прекрасный вечер в середине июня.

Право, не могу рассказать вам сюжет пьесы, которой нас угостили. Что-то весьма пустяковое, с претенциозными световыми эффектами, изображавшими молнию, и посредственной актрисой в главной роли. Единственной понравившейся мне деталью была

гирлянда из семи маленьких граций, более или менее застывших на сцене — семь одурманенных, прелестно подкрашенных, голоруких, голоногих девочек школьного возраста, в цветной кисее, которых завербовали на месте (судя по вспышкам пристрастного волнения там и сям в зале): им полагалось изображать живую радугу, которая стояла на протяжении всего последнего действия и, довольно дразнящим образом, понемногу таяла за множеством последовательных вуалей. Я подумал, помню, что эту идею «радуги из детей» Клэр Куильти и Вивиан Дамор-Блок стащили у Джойса, — а также помню, что два цвета этой радуги были представлены мучительно-обаятельными существами: оранжевое не переставая ерзало на озаренной сцене, а изумрудное, через минуту приглядевшись к черной тьме зрительного зала, где мы, косные, сидели, вдруг улыбнулось матери или покровителю.

Как только кончилось и кругом грянули рукоплескания (звук, невыносимо действующий на мои нервы), я принялся тянуть и толкать Лолиту к выходу, ибо мне не терпелось поскорее разрешить мое вполне понятное любовное возбуждение в надежной тишине нашего неонового голубого коттеджа под звездами изумленной ночи: я всегда утверждаю, что природу изумляет то, что ей приходится подглядеть в окно. Лолита, однако, замешкалась, в розовом оцепенении сузив довольные глаза; зрение настолько поглотило в ней все другие чувства, что ее безвольные руки едва сходились ладонями, хотя она машинально продолжала аплодировать. Мне и раньше случалось наблюдать у детей экстаз такого рода, но этот был, черт возьми, совсем особенный ребенок, близоруко направивший сияющий взор на далекую рампу — у которой я мельком заметил обоих авторов пьесы, или, вернее, только их общие очертания: мужчину в смокинге и необыкновенно высокую брюнетку с обнаженными плечами и ястребиным профилем.

«Ты опять, грубый скот, повредил мне кисть», проговорила тоненьким голосом Лолита, садясь в автомобиль рядом со мной.

«Ах, прости меня, моя душка — моя ультрафиолетовая душка», сказал я, тщетно пытаюсь схватить ее за локоть: и я добавил, желая переменить разговор — переменить прицел судьбы, Боже мой, Боже мой: «Вивиан — очень интересная дама. Я почти уверен, что мы ее видели вчера, когда обедали в Ананасе».

«Иногда ты просто отвратительно туп», сказала Лолита. «Во-первых, Вивиан — автор; авторша — это Клэр; во-вторых, ей сорок лет, она замужем, и у нее негритянская кровь».

«А я-то думал», продолжал я, нежно подшучивая над ней, «я-то думал, что Куильти твоя бывшая пассия — помнишь, о нем говорилось в милом Рамздэле, в те дни, когда ты любила меня?»

«Что?» возразила Лолита, напряженно гримасничая. «Рамздэльский старый дантист? Ты меня, верно, путаешь с какой-нибудь другой легкой на передок штучкой».

И я подумал про себя, как эти штучки всё, всё забывают, меж тем как мы, старые поклонники их, трясемся над каждым заветным вершком их нимфетства...

С Лолитинога ведома и одобрения я перед отъездом велел бердслейскому почтмейстеру посылать наши письма до востребования сначала в Уэйс, а после пятнадцатого июня в Эльфинстон. На другое утро мы посетили Уэйский почтамт, где нам пришлось ждать в коротком, но медленном хвосте. Безмятежная Лолита стала изучать фотографии мошенников, выставленные в простенке. Красавец Анатолий Брянский, он же Антони Бриан, он же Тони Браун, глаза — карие, цвет лица — бледный, разыскивался полицией по обвинению в похищении дитяти. Faux pas^[101] пожилого господина с грустными глазами состояло в том, что он обжулил почтовое ведомство, а кроме того — точно этого не было достаточно, — он страдал

неизлечимой деформацией ступней. Насупленный Сулливан подавался с предупреждением: вероятно, вооружен и должен считаться чрезвычайно опасным. Если вы хотите сделать из моей книги фильм, предлагаю такой трюк: пока я рассматриваю эти физиономии, одна из них тихонько превращается в мое лицо. А еще был залапанный снимок Пропавшей Девочки: четырнадцать лет, юбка в клетку и, в рифму, берет, обращаться к шерифу Фишеру, Фишерифу, Фишерифму.

Не помню писем, адресованных ко мне; что же касается Долли, пришел ее школьный отзыв, а кроме того — ей было письмо в очень необычном, очень длинном конверте. Я это письмо без колебаний вскрыл и с ним ознакомился. Заметив, однако, с каким равнодушием девочка отвернулась и двинулась к газетному киоску у выхода, я заключил, что мои действия хорошо ею предусмотрены.

«Долли-Ло! Ну вот — пьеса прошла с огромным успехом. Все три пса лежали спокойно — им, по-видимому, впрыснула кое-чего наша милая докторша. Линда, заменившая тебя, знала роль назубок, играла прекрасно, совмещая живость с выдержкой, но напрасно мы в ней искали бы твою отзывчивость, твое непринужденное воодушевление, прелесть моей — и авторской — Дианы; впрочем, автор на этот раз не пришел аплодировать нам, а невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный „гром за сценой“. Ах, Боже мой, как летит жизнь! Теперь, когда все кончилось — школа, спектакль, моя история с Роем, беременность мамы (увы, ребеночек долго не прожил), — все это кажется таким давнишним, хотя на самом деле я еще чувствую щекотку грима на лице.

После завтрака меня увозят в Нью-Йорк, и вряд ли мне удастся так устроиться, чтобы не ехать с родителями в Европу. У меня есть еще худшая новость для тебя, Долли-Ло! Не знаю, вернешься ли ты в Бердслей, но если вернешься, меня, может быть, там не будет. Об одном моем романе ты знаешь, о другом ты только думаешь, что знаешь, — но как бы то ни было, мой отец вмешался и хочет, чтобы я поехала учиться в Париж на один год, пока он сам будет там, благо я удостоилась фульбрайтовской стипендии.

Как и ожидалось, бедный ПОЭТ сбился в третьей сцене, в том месте, где я всегда спотыкалась, — на этих глупых стихах. Помнишь?

Пусть скажет озеро любовнику Химены,
Что предпочесть: тоску **иль** тишь и гладь измены.

Я тут подчеркнула спотычки. Завидная тишь!

Ну, води себя хорошо, девчоночка! Твой поэт шлет сердечнейший привет тебе и почтительный привет твоему батюшке.

Твоя Мона.

P. S. Из-за тех дел, которые я наделала и в которые мой отец вмешался, так получилось, что моя корреспонденция строго контролируется. Поэтому подожди с ответом, пока я не напишу тебе из Европы».

Этого она, по-видимому, никогда не сделала. Тем лучше. Ее письмо заключало в себе какие-то мерзкие намеки, в которых теперь мне слишком тяжело разбираться. Я его нашел спустя много времени между страницами одного из наших путеводителей и цитирую его здесь

просто в качестве документации. Я его прочитал дважды.

Подняв голову, я намеревался — Вот тебе на — нет Дианы! Пока я пребывал под чарами Моны, Лолита пожала плечами и пропала. «Вы случайно не заметили —», обратился я к горбуну, который подметал пол у выхода. Конечно, заметил. Старый блудник. По его догадке, она кого-то увидела снаружи и выскочила. Я выскочил тоже. Остановился на панели, но ее там не оказалось. Побежал дальше. Опять стал. Итак — стряслось. Исчезла навеки.

В последующие годы я часто спрашивал себя, почему она действительно не исчезла навеки в этот день. Послужил ли удерживающей силой ее новый летний гардероб, находившийся у меня в запертом автомобиле? Или, может быть, не созрела какая-либо частица общего плана? Или, еще проще: как-никак я мог еще пригодиться для доставки в Эльфинстон (он-то и был тайным конечным пунктом). В ту минуту, однако, я, помнится, не сомневался в том, что она покинула меня навсегда. Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, полукругом охватывающие город, как будто кишки часто дышащими, карабкающимися, спотыкающимися, смеющимися, все чаще дышащими Лолитами, которые растворялись в легком тумане. Громадная начальная буква города, составленная из белых камней на крутом скате, казалась инициалом моего ужаса.

Новое, прекрасное здание почтамта, из которого я только что выбежал, стояло между еще не проснувшимся кинематографом и заговорщицкой группой тополей. Было девять часов утра — по времени горной зоны. Улица называлась Главной. Я шагал по синей ее стороне, вглядываясь в противоположную: ее уже околдовало и украшало одно из тех хрупких утр в начале лета, в которых есть и вспышки стекла там и сям и что-то вроде общего колебания и почти обморочного изнеможения перед перспективой невыносимо знойного полдня. Перейдя улицу, я стал бродить и как бы перелистывать вывески длинного ряда домов: Аптека, Недвижимое Имущество, Моды, Автомобильные Части, Кафе, Спортивные Товары, Недвижимое Имущество, Мебель, Электроприборы, Телеграф, Красильня, Бакалейная. Ах, патрульщик, патрульщик, моя дочка сбежала... Сговорившись с сыщиком! Влюбившись в шантажиста! Воспользовавшись моей полной беспомощностью! Я обсуждал про себя вопрос, не заговорить ли с одним из немногих пешеходов. Отказался от этой мысли. Посидел в запаркованном автомобиле. Пошел осматривать городской сад на теневой стороне. Вернулся к Модам и Автомобильным Частям. Сказал себе, с яростным взрывом сарказма — *un ricanement*^[102] — что надо быть сумасшедшим, чтобы ее в чем-либо подозревать, что она вот-вот появится...

Появилась.

Я круто повернулся и стряхнул с обшлага руку, которую она на него положила с робкой и глупой улыбкой.

«Садись в машину», сказал я.

Послушалась; я же продолжал ходить взад и вперед по тротуару, борясь с невыразимыми мыслями и пытаясь найти какой-нибудь способ подступиться к изменнице.

Немного погодя она вышла из автомобиля и присоединилась ко мне. Прислушиваясь, сквозь муть, я постепенно настроил приемник Эл-О. По-видимому, она объясняла мне, что повстречала знакомую девочку.

«В самом деле? Кого же именно?»

«Девочку из Бердслея».

«Отлично. Я знаю имена всех твоих одноклассниц. Начнем сначала: Алиса Адамс?»

«Нет — не из моего класса».

«Отлично. У меня есть с собой полный список учениц твоей школы. Имя, пожалуйста».

«Она не училась у нас. Просто жила в городе».

«Отлично. Я захватил и бердслейскую адресную книгу. Мы в ней найдем всех Браунов и Смитов».

«Я знаю только ее первое имя».

«Мари или Дженни?»

«Нет — Долли, как я».

«Значит, тупик (зеркало, о которое разбиваешь нос). Отлично. Попробуем теперь иначе. Ты отсутствовала двадцать восемь минут. Что делали обе Долли?»

«Мы зашли в молочный бар».

«И вы заказали там — ?»

«Ах, просто по кока-коле».

«Смотри, Долли! Мы, знаешь, можем это проверить».

«Во всяком случае, она выпила кока-колы, а я — стакан воды!»

«Отлично. Это вон там, что ли?»

«Ну, да».

«Отлично. Пойдем. Мы допросим сифонщика».

«Погоди секундочку. Я не уверена, это, может быть, было чуточку дальше — как раз за углом».

«Все равно, зайдем покамест сюда. Входи, пожалуйста. Теперь посмотрим (я раскрыл телефонную книгу, прикрепленную цепью к пюпитру). Хорошо-с. Благородное похоронное бюро. Нет, рано. Ах, вот: Аптеки и молочные бары: один в Горном Переулке, а другой — вот этот, аптечный магазин Ларкина, и еще два. И это все, что Уэйс, или по крайней мере его торговый квартал, может нам предложить в смысле газированных вод и мороженого. Что же, нам придется посетить их все».

«Пойди к чорту!» сказала она.

«Грубость, цыпка, тебе не поможет».

«Ладно», сказала она. «Но ты не смеешь меня загонять в ловушку. Ладно — пускай будет по-твоему, мы никуда не заходили. Мы просто беседовали и смотрели на платья в витринах».

«В каких витринах? Вот в этой?»

«Да, хотя бы в этой».

«Ах, Лолита! Взгляни-ка поближе». Зрелище было действительно мало привлекательное. Щеголеватый молодой прикащик чистил пылесосом что-то вроде ковра, на котором стояли две фигуры, имевшие такой вид, будто они только что пострадали от взрыва. Одна из них была совершенно нагая, без парика и без рук. Судя по ее сравнительно небольшой величине и манерно-игривой позе, можно было предположить, что в одетом виде она изображала, и еще будет изображать, девочку Лолитинога роста. В теперешнем виде, однако, она не имела определенного пола. Рядом с нею стояла более высокая фигура — невеста в фате, совершенно законченная и, как говорится, целая, если не считать отсутствия одной руки. На полу, у ног девицы, там, где старательно ползал прикащик со своим инструментом, лежали три тонких голых руки и белокурый парик. Две из этих рук случайно соединились в изогнутом положении, напоминая ужасный жест отчаяния и мольбы.

«Гляди, Лолита», сказал я спокойно. «Гляди хорошенько. Разве это не превосходный символ какой-то невероятной беды? Впрочем (продолжал я, садясь в автомобиль), я принял кое-какие меры предосторожности. Вот здесь у меня (я открыл отделенье для перчаток), на этом маленьком блокноте, записан автомобильный номер нашего милого дружка».

Я по глупости не потрудился запечатлеть номер в памяти. Помнил только начальную литеру и конечное число, словно весь ряд недостающих цифр ушел от меня полукругом, оставаясь обращенным вогнутостью ко мне за цветным стеклом, недостаточно прозрачным, чтобы можно было разобрать что-либо из серии, кроме ее крайних знаков, латинского Р и шестерки. Мне приходится вдаваться в эти детали (которые сами по себе могут заинтересовать

только профессионала-психолога), ибо иначе мой читатель (ах, если бы я мог вообразить его в виде светлородного эрудита, посасывающего розовыми губами la pomme de sa canne^[103] и упивающегося моим манускриптом!) мог бы не оценить полностью всю силу потрясения, которое я испытал, заметив что буква Р, словно надев турнюр, превратилась в В, а шестерка оказалась совершенно стертой. Центральная же часть, которую я все равно не помнил, носила следы торопливо прошедшейся карандашной резинки: цифры были замазаны, другие заново написаны детской рукой, так что весь ряд представлял собой какую-то спутанную колючую проволоку, не поддававшуюся логическому толкованию. Единственное, что я знал, было то, что мне говорила запомнившаяся литера: мой враг был из штата, смежного с тем, где находился Бердслей.

Я ничего не сказал. Я сунул блокнот обратно в отделение, захлопнул крышку, и мы выехали из Уэйса. Лолита, меж тем, схватила с заднего сиденья новые комиксы и в белой своей блузке, зыблемой ветром, выставив за окно правый коричневый локоть, углубилась в приключения очередного болвана. Отъехав мили на четыре от Уэйса, я свернул в пеструю тень площадки для пикников, где утро свалило свой солнечный сор на пустой стол; Лолита, оторвав взгляд от журнальчика, посмотрела на меня с полуулыбкой удивления, и ни слова не говоря, я наотмашь дал ей здоровенную плюху, смачно пришедшуюся на ее теплую твердую маленькую скулу.

А затем — раскаяние, пронзительная услада искупительных рыданий, пресмыкание любви, безнадежность чувственного примирения... В бархатной темноте ночи, в мотеле «Мирана» (Мирана!), я целовал желтоватые подошвы ее длиннопалых ножек, — я дошел до последних унижений и жертв... Но это все было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток.

Когда мы покидали Уэйс, на одной из крайних улиц... Ах, я могу поклясться, что это не было бредом. На этой крайней улице я — мельком увидел знакомый вишневым Як с откидным верхом или же его тождественный двойник. Вместо Траппа там сидело четверо или пятеро громких, актерского типа, представителей нескольких полов — но я ничего не сказал. После же выезда из Уэйса наметилось нечто совершенно другое. Сначала, в течение одного-двух дней, я наслаждался той внутренней уверенностью, с которой я сам себе говорил, что ни теперь, ни прежде никто за нами не следовал; а затем мне стало отвратительно ясно, что Трапп переменял тактику и продолжает ехать за нами, но уже в других, наемных машинах.

Сущий Протей большой дороги, он с ошеломляющей легкостью перескакивал из одного типа автомобиля в другой. Такой способ передвижения предполагает существование гаражных пунктов, специализирующихся на поставке «перекладных автомобилей», но я никогда не мог точно определить местонахождение этих станций. Сперва он как будто оказывал предпочтение шевролетовой породе — начал с открытой машины цвета «Колледж Крэм», перешел на маленький седан («Голубой Горизонт»), а потом долинял до таких оттенков, как «Седой Прибой» и «Сплавной Сухостой». Затем он обратился к другим маркам и опять прошел через тусклую радугу коммерческих красок, заставляя меня разбираться, например, в тонком различии между моим «грёзово-синим» Икаром и его «горно-синим» Ольдсмобилем. Серый тон, впрочем, остался его любимым защитным цветом, и в мучительных кошмарах я тщетно, бывало, старался правильно рассортировать такие призрачные оттенки, как «Серый Волк» Крайслера, «Серый Шелк» Шевролета, «Серый Париж» Доджа...

Необходимость постоянно высматривать его усики и открытый ворот — или его плешь и широкие плечи — заставила меня досконально изучить все автомобили, попадавшие на дорогах — сзади, спереди, сбоку, встречные, обгонные, — словом, все машины под играющим солнцем: автомобиль степенного отпускника с картонной коробочкой бумажных салфеток «Недотрога» в заднем окне; безрассудно несущийся ветхий Форд бедняка, набитый бледными

детьми, с головой лохматой собаки, торчащей в окне, и согнутым в результате столкновения крылом; седанчик холостяка, весь заполненный внутри костюмами на вешалках; огромный, толстый прицеп — целый передвижной дом, невозмутимо равнодушный к веренице разъяренных автомобилей, ползущих за ним; спортивная машина с девкой, любезно расположившейся посредине переднего сиденья, чтобы быть как можно ближе к молодцу за рулем; автомобиль с опрокинутой на крыше лодкой... Серая машина, тормозящая перед нами, серая машина, догоняющая нас.

Однажды, в районе Скалистых Гор, где-то между Сноу и Чемпион, мы катились едва заметно под уклон, и тогда-то мне удалось вторично ясно разглядеть Влюбленного Сыщика. Серый призрак за нами потемнел, стал гуще, превратился в компактную Доминионную Синь... Вдруг мой автомобиль, словно отозвавшись на муки моего бедного сердца, начал как-то скатываться и скользить из стороны в сторону, причем из-под него доносилось беспомощное «хляп-хляп-хляп».

«Шина капут, мистер», весело сказала моя добрая девочка.

Я остановился — на краю горной пропасти. Лолита сложила на груди руки и оперлась вытянутой ногой в приборную доску. Я вылез, осмотрел правое заднее колесо. Нижняя половина несчастной шины приняла отвратительно прямоугольную форму. Трапп остановился в пятидесяти ярдах позади нас. На этом расстоянии лицо его было лишь сальным пятном, но пятно смеялось. Я решил воспользоваться случаем и направился к нему — с блестящей идеей занять у него рычаг, хотя у меня был свой. Он немного попятился. Я больно споткнулся об камень — и создавалась атмосфера повального веселья. Тут колоссальный грузовик вырос за машиной Траппа и с громом проехал мимо меня, после чего я услышал, как он судорожно гукнул. Я невольно обернулся — и увидел, что мой автомобиль медленно уползает. Издали я различил головку Лолиты, нелепо сидевшей за рулем, причем мотор работал, хотя я помнил, что выключил его.

За короткий, полный трепета промежуток времени, потребовавшегося мне, чтобы добежать до хлюпающей и наконец остановившейся машины, я успел подумать, что в течение двух лет моя малютка вполне имела возможность набраться элементарных знаний в области управления автомобилем. Яростным рывком я открыл дверцу. Мне было чертовски ясно, что она пустила мотор, чтобы отвлечь меня от господина Траппа. Впрочем, этот фортель оказался ненужным, ибо, пока я догонял ее, Трапп круто повернул посредине дороги и укатил. Я посидел, перевел дух. Лолита спросила, не скажу ли я спасибо ей за то, что она так ловко затормозила, когда автомобиль вдруг поехал под гору. Не получив ответа, она погрузилась в изучение дорожной карты. Я вышел из автомобиля и начал «колесование», как называла эту операцию покойная Шарлотта. Мне казалось, что я теряю рассудок.

Переменив колесо, мы продолжали наше фарсовое путешествие. После унылого и совершенно лишнего спуска дорога стала подниматься петлями все выше и выше. В особенно крутом месте нам пришлось плестись за громадным грузовиком, давеча обогнавшим нас. Он теперь с ужасными стонами полз вверх по извивам дороги, и его невозможно было объехать. Из его кабинки выпорхнул кусочек гладкого серебра — внутренняя обертка жевательной резинки — и, полетев назад, прилип на миг к нашему переднему стеклу. Мне пришло в голову, что, ежели я действительно схожу с ума, может кончиться тем, что я убью кого-нибудь. На всякий случай (сказал тот Гумберт, который сидел на суше, тому Гумберту, который барахтался Бог знает где) хорошо бы кое-что подготовить — например, перевести пистолет из коробки в карман, — дабы быть готовым воспользоваться свободой безумия, когда оно найдет.

Тем, что я разрешил Лолите заниматься театральной игрой, я допустил (влюбленный простак!), чтобы она научилась всем изощрениям обмана. Как теперь выяснялось, дело не ограничивалось готовыми ответами на такие вопросы, как: что представляет собой основной конфликт в «Гедде Габлер»; или: в каких сценах «Любви под Ильмами» предельно нарастает действие; или: в чем состоит преобладающее настроение «Вишневого Сада»; на самом деле ей преподавались разные способы изменять мне. О, с каким негодованием я теперь вспоминал ту задаваемую ей «симуляцию пяти чувств», в которой она так часто упражнялась в нашей бердслейской гостиной! Я устраивался так, чтобы незаметно наблюдать за ней, когда она, двигаясь как субъект под гипнозом или участник мистического ритуала, и как бы давая утонченную версию детской игры, в которой девочки воображают себя дивами, изображала мимикой, что бы она сделала, услышав стон в темноте, увидав впервые совсем новенькую молодую мачеху, проглотив что-нибудь невкусное, вроде желтоватого желе, понюхав раздавленный сочный пучок травы в плодовом саду или дотронувшись до того или другого несуществующего предмета хитрыми, тонкими пальцами нимфетки. Среди моих бумаг до сих пор сохранился мимеографический список следующих заданий.

«Осязательная тренировка. Представь себе, что берешь и держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый пушисто-фланелевый теннисный мяч, горячую картофелину, ледяной кубик, котенка, подкову, карманный фонарь цилиндрической формы.

Перебирай концами пальцев следующие воображаемые вещи: хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец бархата, розовый лепесток.

Ты — слепая девочка. Ощупай, начиная с лица, следующих людей: Греческого юношу; Сирано-де-Бержерака; Деда Мороза; младенца; хохочущего от щекотки фавна; спящего незнакомца; собственного отца».

Но до чего прелестна бывала она, и при навевании этих нежных чар, и при мечтательном исполнении других волшебных обязанностей! Кроме того, иногда в особенно предприимчивые бердслейские ночи, я обещал ей какое-нибудь удовольствие или подарок, если она потанцует для меня, и, хотя ее рутинные скачки с раскинутыми ногами не столько напоминали томные и вместе с тем угловатые движения парижских *petits rats* ^[104], сколько прыжки тех голоногих дивчин в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби, все же ритмика ее не совсем еще развившихся членов очень нравилась мне. Но все это было ничто, по сравнению с неопишуемым зудом наслаждения, который я испытывал от ее теннисной игры: могу только сказать, что это было дразнящее, бредовое ощущение какого-то повисания на самом краю — нет, не бездны, а неземной гармонии, неземной лучезарности.

Несмотря на преклонный возраст, она более чем когда-либо была нимфеткой в своей белой теннисной одежде, с абрикосовым загаром на руках и ногах. Крылатые заседатели! Никакой загробной жизни не принимаю, если в ней не объявится Лолита в таком виде, в каком она была тогда, на колорадском курорте между Сноу и Эльфинстоном — и, пожалуйста, чтобы все было так же *правильно*, как тогда: широкие, белые мальчишеские трусики, узенькая талия, абрикосовая голая поясница, белый грудной платок, ленты которого идут наверх, кругом шеи, кончаясь сзади висячим узлом и оставляя неприкрытой ее до безумия молоденькие и обаятельные лопатки с этим абрикосовым пушком на них, и прелестные нежные косточки и гладкую, книзу суживающуюся спину! Ее кепка была с белым козырьком. Ее ракета обошлась мне в небольшое состояние. Дубина, стоеросовая дубина! Ведь я мог бы заснять ее на

киноплёнке! Она бы тогда осталась и посейчас со мной, перед моими глазами, в проекционной камере моего отчаяния!

Перед сервисом, до того как приступить к действию, Лолита как бы делала передышку, выстаивая два-три такта за меловой чертой, и при этом, бывало, разок-другой бросит мяч об землю или носком белой туфельки поскребет по грунту, всегда свободно держась, всегда оставаясь спокойно-веселой — она, которая так редко бывала веселой в ее сумрачной домашней обстановке! По-моему, ее теннисная игра представляла собой высшую точку, до которой молодое существо может довести сценическое искусство, хотя для нее, вероятно, это составляло всего лишь геометрическую сущность основной действительности жизни.

Изящная ясность всех ее движений находила свое слуховое дополнение в чистом, тугом звоне каждого ее удара. Войдя в ауру ее власти, мяч делался белее, его упругость становилась качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался в миг льнувшего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. Скажу больше: ее стиль был совершенно точной имитацией самого что ни на есть первоклассного тенниса, лишенной, однако, в ее руках каких-либо практических результатов. Как мне сказала Электра Гольд, сестра Эдузы, изумительная молодая тренировщица, когда однажды я сидел на твердой скамейке, начинавшей пульсировать подо мной, и смотрел, как Долорес Гейз, как бы шутя, гоняла по всему корту хорошенькую Линду Голль (которая, впрочем, побила ее): «У вашей Долли вделан магнит для мяча в самую серединку ракетных жил, но, ей-Богу, зачем быть такой вежливенькой?» Ах, Электра, не все ли равно — при такой грации! Помнится, присутствуя при первой же их игре, я почувствовал, как усвоение этой красоты меня буквально облило едва выносимым содроганием. У моей Лолиты была чудная манера чуть приподымать полусогнутую в колене левую ногу при раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая сеть равновесия между четырьмя точками — пуантой этой ноги, едва опущенной подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад овалом ракетки, меж тем как она обращала блестящий оскал улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с определенной целью — напасть на него звучным хлестком своего золотого кнута. Ее подача отличалась прямоотой, красотой, молодостью, классической чистотой траектории, но, невзирая на беговой ее темп, ее было нетрудно вернуть, ибо никакой закорючки или изюминки не было у длинного, элегантного подскока ее мяча.

Меня заставляет стонать от обиды мысль, что я мог так легко обессмертить все эти волшебные узоры, запечатлев их на целлулоидовой ленте. Насколько они бы превосходили те моментальные снимки, которые я (безумец!) сжег! Ее смэш относился к ее сервису, как относится секстет к октету в сонете, ибо ее натренировали, мою прелесть, немедленно после подачи просеменить к сетке на проворных, ярких, в белой обуви ножках. Никто бы не мог сказать, что лучше у нее выходит — драйв справа или драйв слева: один был зеркальным отображением другого, — у меня в самых чреслах до сих пор покалывает от пистолетной пальбы этих ударов, которым вторили четкое эхо и выкрики Электры. Одной из жемчужин игры Долли был короткий удар с полулёта, которому великий Нед Литам научил ее в Калифорнии.

Она предпочитала сцену плаванию и плавание теннису; все же я утверждаю, что, если бы я не подломил в ней чего-то (в то время я не отдавал себе отчета в этом!), ее идеальный стиль совмещался бы с волей к победе, и она бы развилась в настоящую чемпионку. Долорес, с двумя ракетками под мышкой в Вимбльдоне (1952), Долорес на рекламе папирос «Дромадер» (1960), Долорес, ставшая профессионалкой (1961), Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962), Долорес и ее седой, смиренный, притихший муж, бывший ее тренер, престарелый Гумберт (2000).

Никакой не существовало лукавинки в ее манере играть — если, однако, не считать за финту нимфетки веселое равнодушие к исходу игры. Она, столь жестокая и коварная в обыденной жизни, тут проявляла такую невинность, такую откровенность, такое доброжелательство в смысле пласировки, что даже посредственному, но настойчивому игроку, как бы он коряво и неумело ни играл, удавалось так прихлопывать и подрезывать мяч, чтобы проковырять себе путь к победе. Несмотря на малый рост, она покрывала всю свою половину (1053 квадратных фута) площадки с необыкновенной легкостью, однажды вступив в ритм обмена и покуда могла этим ритмом управлять; но всякая резкая атака, всякая внезапная перемена тактики со стороны противника приводили ее в состояние полной беспомощности. Ей, скажем, недоставало одного пункта, чтобы выиграть партию — тут-то ее второй сервис, который, довольно типично, был даже сильнее и стильнее первого (ибо в ней отсутствовали те внутренние задержки, которые знакомы осторожным игрокам) звучно ударялся об арфовую струну сетки — и отскакивал в аут. Отшлифованная бисерина ее «скатного» удара подхватывалась и возвращалась в угол противником, у которого, казалось, четыре ноги и кривой гребок в руках. Ее драматичные драйвы и восхитительные слётники пренаивно падали к его ногам. Вновь и вновь она мазала легкий мяч — и, смеясь, пародировала досаду тем, что склонялась вперед в балетном изнеможении, с повисшим со лба локоном. До того бесплодными оказывались ее грация и блеск, что она даже не могла побить пыхтящего Гумберта, основной удар которого был старомодный «подъемный» драйв.

Думаю, что я особенно чувствителен к магии игр. В моих шахматных сессиях с Гастоном я видел вместо доски квадратное углубление, полное прозрачной морской воды с редкими раковинами и каверзами, розовато светящимися на ровном мозаичном дне, казавшемся бестолковому партнеру мутным илом и облаком сепии. Первую же теннисную учебу, которой я когда-то мучил Лолиту (до того, как уроки великого калифорнийца явились для нее откровением), я теперь вспоминал как нечто гнетущее и горестное — не только потому, что мою безнадежную ученицу так отвратительно раздражал каждый мой совет, но еще и потому, что драгоценная симметрия корта, вместо того, чтобы отражать дремавшую в ней гармонию, оказывалась исковерканной вконец неуклюжестью и усталостью ребенка, которого только злила моя педагогическая бездарность. С тех пор все переменялось, и в тот день, в ясной колорадской атмосфере Чемпиона, на превосходнейшем корте у подножия крутой каменной лестницы, ведущей к «Отель Чемпион», где мы стояли, мне почуялось, что могу отдохнуть от кошмара неведомых измен, окунувшись в чистоту ее стиля, ее души, ее неотъемлемой грации.

День был безветренный. Она лупила крепко и плоско, со свойственным ей вольным махом, возвращая мяч за мячом над самой сеткой в глубь корта, и ритмический распорядок этих ударов был так классически прост, что собственное мое передвижение сводилось, в общем, к плавному прогуливанию туда-сюда — настоящие игроки поймут, что я тут хочу выразить. Резаный, довольно густо скошенный сервис, который я унаследовал от отца (научившегося ему, в свою очередь, от француза Декюжи или бельгийца Бормана — старых его друзей и великих чемпионов), наделал бы моей Лолите немало трудностей, захоти я их причинить. Но кто бы решился смутить такую ясноглазую милочку? Упомянул ли я где-нибудь, что ее голая рука была отмечена прививочной осьмеркой оспы? Что я любил ее безнадежно? Что ей было всего лишь четырнадцать лет?

Любознательная бабочка, нырнув, тихо пролетела между нами.

Вдруг вижу — откуда ни возмись, появляются двое в теннисных трусиках: рыжий мужчина, лет на восемь моложе меня, с обожженными на солнце малиновыми голенями; и довольно матовая брюнеточка, года на два старше Лолиты, с капризным ртом и жестким взглядом. Как это обыкновенно бывает у добросовестных новичков, их ракеты были в чехлах и

рамах, и несли они их не так, как носишь естественные и удобные продления некоторых специализированных мышц, а как если бы это были молотища, мушкетоны, коловороты или мои собственные гнусные, громоздкие грехи. Несколько бесцеремонно усевшись около моего драгоценного в некотором смысле пиджака на скамейку сбоку от площадки, они принялись весьма громогласно восхищаться чередой ударов, состоявшей из чуть ли не пятидесяти обменов, которые Лолита невинно помогла мне выходить и поддерживать, пока перебой в серии не заставил ее издать стон при виде того, как ее смэш ушел за черту, после чего она на мгновение поникла, ослабев от смеха, — золотое мое существо!

Меня разбирала жажда; я направился к фонтанчику питьевой воды. Этим воспользовался рыжий, чтобы подойти ко мне и в скромных выражениях предложить игру вчетвером. «Меня зовут Билль Мид», сказал он, «а это, Фэй Пэйдж, актриска. Ма фиансэ» — добавил он (указывая своей нелепо забронированной ракетой на светскую Фэй, уже болтавшую с Лолитой). Я начал было отвечать: «Спасибо, но» — (ненавижу, когда мою чистокровку впутывают в тяп-да-ляпицу пошлых сапожников), когда меня отвлек поразительно музыкальный оклик: отельный казачок дробно бежал вниз по ступеням к нашей площадке и делал мне знаки. Оказалось, что меня требуют к телефону по экстренному иногороднему вызову, — столь экстренному, что для меня даже «держат линию». «Иду», сказал я, схватил пиджак (тяжесть колыта во внутреннем кармане) и сказал Лолите, что сейчас вернусь. Она как раз подбирала мячик (европейским способом, т. е. соединенным рывком носка ноги и края ракеты, что было одной из немногих хороших вещей, которым я ее научил) и улыбнулась, — она улыбнулась мне!

Некий зловещий штиль позволял сердцу держаться на плаву, пока я следовал за мальчишкой к отелю. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенки, смерть и вечность выражаются путем удивительно отталкивающей формулы «дзис ис ит», — «вот оно!», «это оно и есть!» Я оставил Лолиту в довольно посредственных руках, но все равно. Буду, конечно, бороться. Бешено бороться. Лучше все уничтожить, чем от нее отказаться. Да, действительно, крутоватая лестница.

В бюро гостиницы горбоносый мужчина с очень темным, думаю, прошлым, которое стоило бы расследовать, передал мне сообщение, написанное его рукой. Междугородная линия меня все-таки не дождалась. В записке говорилось: «Мистер Гумберт. Звонила директорша Бурдалейской (так!) школы. Летний номер: Бурдолей 2–82–82. Пожалуйста, позвоните ей не откладывая. Чрезвычайно важное дело».

Я сложил свое длинное тело в телефонную будку, принял таблетку и в продолжение десяти минут воевал с исчадьями призрачного пространства. Постепенно наладился некий квартет; сопрано: такого номера нет в Бердслее; альт: мисс Пратт уехала в Англию; тенор: Бердслейская школа не звонила; бас: звонить она не могла, так как все равно никто не знал, что в этот именно день я буду именно в этой колорадской гостинице. Больно уязвленный мной горбоносый служащий любезно согласился выяснить, вызывали ли меня вообще из «Бурдолея». Оказалось — не вызывали. Вероятно, какой-то местный шалун набрал номер и смылся. Я поблагодарил служащего. Он ответил: ради Бога. Побывав в журчащем писсуаре и зарядившись в баре, я пустился в обратный путь. С первой же террасы я увидел наш корт: он казался величиной с детскую грифельную доску — плохо вытертую. Золотистая Лолита участвовала в игре смешанных пар. Она двигалась как прекрасный итальянский ангел — среди трех отвратительных калек фламандской школы. Один из них, ее партнер, меняясь с ней сторонами, шутовским жестом хлопнул ее по задку ракетой. У него была удивительно круглая голова; его коричневые штаны совершенно не подходили для тенниса. Произошло краткое замешательство — он увидел меня на лестнице и, отбросив ракету — мою ракету! — стал карабкаться по крутому газону, отделявшему теннис от бульвара. Он тряс кистями рук и локтями, нарочито-

комически изображая птицу с недоразвитыми крыльями, и долез так, на кривых ногах, до улицы, где его ждал дымчато-серый автомобиль. В следующую минуту и он и серая дымка исчезли. Когда я сошел к корту, оставшаяся тройка уже собирала и рассматривала мячи, сортируя их: я утром купил полдюжины новых; на чужих были домодельные отметины кровавого цвета.

«Скажите, мистер Мид, кто был этот господин?»

Сперва Билль, потом Фэй с очень серьезным видом отрицательно покачали головой.

«Представьте себе», объяснила Фэй, «какой-то нелепый нахал присоединился к нам, чтобы составить вторую пару. Не правда ли, Долли?»

Она уже была для них Долли. Рукоятка моей ракеты все еще была омерзительно теплая на ощупь. Перед тем как подняться в отель, я увел ее в узкую аллею, наполовину заросшую душистым кустарником в сизых цветах, и уже собрался дать волю назревшим рыданиям, — собрался умолять ее, зачарованную, равнодушную, чтобы она рассеяла как-нибудь, хотя бы ложью, тяжкий ужас, обволакивающий меня — как вдруг мы очутились прямо позади странно корчившейся пары, — вроде того как сталкивается чета с четой в идиллической обстановке старых комедий. Билль и Фэй совершенно изнемогали от смеха — мы, видимо, пришли посреди какой-то их приватной шуточки. Это не имело больше значения.

Таким тоном, как будто это не имело большого значения, как будто жизнь автоматически продолжала катиться по кругу всегдашних забав, Лолита сказала, что пойдет переодеться для купанья, — хотела поваландаться до вечера у бассейна: ведь день был дивный, Лолита!

21

«Ло! Лола! Лолита!» — слышу себя восклицаящим с порога в солнечную даль, причем акустика времени, сводчатого времени, придает моему зову и его предательской хриплости так много тревоги, страсти и муки, что право же, будь Лолита мертва, рывком раскрылся бы ее застегнутый на молнию нейлоновый саван. Я, наконец, настиг ее посредине гладкой муравчатой террасы, — она убежала, пока я еще переодевался. Ах, Лолита! Там она играла с собакой — с собакой, а не со мной. Пес (какой-то полутерьер) ронял и снова защелкивал в зубах — да еще как-то пригонял к челюсти — мокрый красный гуттаперчевый мячик; передними лапами брал быстрые аккорды на упругом газоне; и куда-то усакивал. Мне только хотелось узнать, где она, я все равно не мог купаться из-за ужасного состояния моего сердца, но кому какое было дело, и вот она играла с собакой, а я стоял тут же, в халате, и уже не звал ее; но вдруг что-то в узоре ее движений поразило меня... она кидалась туда-сюда в своих ацтеково-красных плавках и бюстгальтерчике, и было что-то восторженное, чуть ли не безумное в ее резвлении, далеко превосходившее простое веселие. Даже собака казалась озадаченной ее преувеличенным ликованием. Я поглядел кругом и тихо положил руку на грудь. Бирюзовый бассейн за террасой уже был не там, а у меня в грудной клетке, и мои органы плавали в нем, как плавают человеческие испражнения в голубой морской воде вдоль набережной в Ницце. Один из купальщиков отошел от бассейна и, наполовину скрытый павлиньей тенью листвы, замер, держась за концы полотенца, накинутого на него, и янтарным взглядом следя за Лолитой. Так он стоял, закамуфлированный светотенью, искаженный ягуаровыми бликами и замаскированный собственной наготой; влажные черные волосы — вернее, остатки волос — прилипли к его круглому черепу, усики над красной губой казались мокрой кляксой, шерсть на груди ширилась двукрылым трофеем, пульсировал пуп, яркие брызги стекали по косматым ляжкам, тесные, мокрые черные купальные трусики чуть не лопались от здоровой силы там, где выпуклым очерком обозначалась чудовищная мошна, круто подтянутая кверху и толстым

щитом находившая на запрокинутую снасть сатира. И пока я глядел на его круглое, орехово-коричневое лицо, меня осенило, что ведь узнал-то я его по отражению в нем образа моей дочери, — это была та же гримаса блаженства, но только превратившаяся в нечто уродливое в переводе на мужеский лад. А кроме того, мне было ясно, что девочка, моя девочка, зная, что он смотрит на нее, наслаждается его похотливым взглядом и напоказ для него скачет и веселится, — мерзкая, обожаемая потаскушка! Кинувшись за мячом и не поймав его, она повалилась на спину, бешено работая в воздухе неприличными, молодыми ногами; со своего места я почуял мускус ее возбуждения; и тут, окаменев от священного отвращения, я увидел, как мужчина прикрыл глаза, обнажил ровные, противно-маленькие зубы и прислонился к дереву, в листве которого целая стая пятнистых приапов исходила дрожью. Тотчас после этого произошла необыкновенная метаморфоза. Он уже был не сатир, а мой чрезвычайно добродушный и глупый швейцарский дядя — тот Густав Трапп, не раз упомянутый мной, который, бывало, пытался нейтрализовать запой (хлестал пиво, смешанное с молоком, свинюга) тем, что заправским штангистом поднимал тяжести, шатаясь и крякая, на берегу озера, в старомодном купальном костюме, лихо спущенном с одного плеча. Теперешний Трапп заметил меня издали и, растирая затылок натянутым между руками полотенцем, с притворной беспечностью удалился по направлению к бассейну. И, как если бы погасло озарявшее ее игру солнце, Лолита притихла и медленно встала с земли, игнорируя мячик, который терьер удобно положил перед ней. Кто может сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем возню! Я начал говорить что-то, но вдруг сел на траву с совершенно невероятной болью в груди, и меня вырвало потоком каких-то бурых и зеленых веществ, которых, насколько мне помнилось, я не ел.

Я увидел глаза Лолиты: их взгляд мне показался скорее расчетливым, чем испуганным. Я услышал, как она сказала доброй даме, подошедшей к нам, что с ее папой приключился «какой-то припадок». Затем я долгое время лежал на шезлонге и опорожнял рюмочку за рюмочкой. Уже на другое утро я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжать путешествие (чему доктора, лечившие меня впоследствии, не могли поверить).

Двухкомнатный коттедж, вперед задержанный нами, под знаком Серебряной Шпоры, в Эльфинстоне (не дай Бог никому услышать их стон), оказался принадлежащим к лакированной, смугло-сосновой, избяной породе, которая так нравилась Лолите в дни нашей первой беззаботной поездки. Ах, все теперь изменилось... Я говорю не о Траппе или Траппах... В конце концов... ну, сами понимаете... В конце концов, господа, становилось достаточно ясно, что все эти идентичные детективы в призматически-меняющихся автомобилях были порождением моей мании преследования, повторными видениями, основанными на совпадениях и случайном сходстве. Soyons logiques^[105], кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка, прогоняя всякую мысль, что какой-нибудь очарованный Лолитой коммивояжер или гангстер из кинокомедии и его приспешники травят меня, надувают меня и разными другими уморительными способами пользуются моим странным положением перед законом. Помнится, я что-то напевал, заглушая панику. Мне даже удалось выработать теорию, объясняющую подложный вызов из «Бурдолея»... Но если я мог не думать о Траппе, как я не думал о недавних своих конвульсиях на газоне в Чампионе, я никак не мог поладить с другой мукой: знать, что Лолита так близка и вместе с тем так горестно недостижима, и так любить ее, так любить как раз накануне новой эры, когда по моим волховским исчислениям она бы должна была перестать быть нимфеткой, перестать терзать меня...

В Эльфинстоне судьба подготовила мне добавочную, гнусную и совершенно лишнюю заботу. Моя девочка была какая-то скучная и неразговорчивая в течение последнего перегона — двести миль по горам, не оскверненным ни дымчато-серыми ищейками, ни зигзагообразно снующими гаерами. Она едва взглянула на знаменитую, странного вида, великолепно алеющую скалу, ту самую, которая выступом нависала над горами и послужила трамплином для прыжка в нирвану темпераментной актрисе. Город был недавно отстроен, или перестроен, посреди плоской долины на высоте семи тысяч футов над уровнем моря; мне хотелось, чтобы он скоро надоел Лолите; тогда мы покатали бы в Южную Калифорнию, направляясь к мексиканской границе, к баснословным заливам, к сагуаровым пустыням и фата-морганам. Хозе Лизачовендоа, в известном романе Меримэ, собирался увезти свою Кармен в Etats-Unis^[106]. Я представил себе мексиканское теннисное состязание, в котором Долорес Гейз и разные хорошенькие девочки-чемпионки из Калифорнии участвовали бы, сверкая передо мной. Добрососедские турнэ на этом улыбчивом уровне стирают различие между паспортом и спортом. Почему думалось мне, что мы будем счастливы за границей? Перемена обстановки — традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обреченная любовь и неизлечимая чахотка?

Фамилия хозяйки мотеля произносилась так же, как Гейз (но писалась иначе). Эта бодрая, нарумяненная вдова с кирпичным лицом и голубыми глазами спросила, не швейцарец ли я часом? Сестрица у нее вышла за лыжного инструктора родом из Швейцарии. Я ответил утвердительно, добавив, что моя дочь наполовину ирландка. Я расписался. Миссис Гейз дала мне ключ с искрящейся улыбкой и, продолжая искриться, показала, где поставить машину. Лолита выползла из нее и зябко повела плечами: лучезарный вечерний воздух был действительно прохладноват. Войдя в коттедж, она села на стул у раскладного стола, опустила голову на руку и сказала, что чувствует себя ужасно. Притворяется, подумал я, притворяется, верно, чтобы избежать моих ласк; меня сжигала страсть, но бедняжка принялась очень как-то нудно хныкать, когда я полез к ней. Лолита больна! Лолита умирает! Она вся горела. Я поставил ей градусник, в ротик, затем посмотрел формулу, записанную, к счастью, у меня в книжечке, и когда я наконец перевел бессмысленную для меня цифру с Фаренгейтовской шкалы на близкую мне с детства стоградусную, оказалось, что у нее сорок и две десятых, чем по крайней мере объяснилось ее состояние. Я знал, что у истеричных нимфочек температура поднимается до фантастических градусов, — даже выше той точки, при которой обыкновенные люди умирают; и я бы ограничился тем, что дал бы ей глоток горяченького глинтвейна, да две аспиринки, да губами впитал бы жарок без остатка, ежели бы по тщательном осмотре прелестный отросток в глубине мягкого нёба, один из главных кораллов ее тела, не оказался совершенно огненной окраски. Я раздел девочку. Дыхание у нее было горько-сладким. Ее коричневая роза на вкус отзывалась кровью. Ее трясло с головы до ног. Когда она пожаловалась, что не может повернуть голову от боли в шее, я, как всякий американский родитель, подумал о полиомиелите. Бросив всякую надежду на половые сношения, я закутал ребенка в шотландский плед и понес в автомобиль. Добрая миссис Гейз между тем позвонила местному врачу. «Вам повезло, что это случилось именно тут», сказала она, ибо не только доктор Блю считался светилом во всем районе, но Эльфинстоновский госпиталь был оборудован в самом новейшем духе, несмотря на ограниченную вместительность. Словно меня преследовал лесной царь, как в Гётевском «Короле Эльфов» (но на сей раз любитель не мальчиков, а девочек), я с ней поскакал прямо в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низменности. Моим проводником была маленькая старушка вроде портативной ведьмы (может быть, одна из кузин Erlkönig'a^[107]), которую мне одолжила миссис Гейз и которой я больше никогда в жизни не видал. Я не люблю вас, доктор Блю, а почему вас не люблю, я сам не знаю, доктор Блю. Не сомневаюсь, что его ученость

значительно уступала его репутации. Он уверил меня, что у нее «вирусная инфекция», и, когда я упомянул о ее недавней инфлуэнце, сухо сказал, что это другой микроб и что у него уже сорок таких пациентов на руках (все это звучит, конечно, как «горячка» старых беллетристов). Я подумал, не сказать ли этак со смешком, на всякий случай (мало ли что они там могут высмотреть), что не так давно моя пятнадцатилетняя дочь потерпела маленькую аварию, неудачно перелезая через острый частокол вместе с молодым приятелем; но сознавая, что я совершенно пьян, я решил отложить это сообщение до более благоприятного времени. Долорес продолжала расти: неулыбающейся блондинке-секретарше, паршивой суке, я сказал, что моей дочери «в общем, шестнадцать». Пока я не смотрел, девочку мою утащили у меня! Тщетно я настаивал, чтобы мне позволили провести ночь на мате (с надписью «Добро пожаловать») в одном из чуланов их проклятой больницы. Я бегал вверх и вниз по конструктивистским лестницам, пытаясь добраться до моей душеньки, которую надо было предупредить, чтобы она не болтала, особенно если у нее голова в тумане, как у всех нас. В какой-то момент я здорово нагрубил очень молоденькой и очень наглой сестре с гипертрофией зада и агатовыми глазами — баскского (кс-кс, киска!) происхождения, как я узнал впоследствии: отец ее был одним из тех пастухов, которых ввозят сюда для тренировки овчарок. Наконец я возвратился к запаркованному автомобилю и не знаю, сколько часов просидел в нем, скорчившись в темноте, оглушенный непривычным одиночеством, глядя с разинутым ртом то на тускло освещенный, весьма коробчатый и плоско-кровельный госпиталь, стоявший как бы на карачках посреди своего муравчатого квадрата, то на дымную россыпь звезд и серебристо-зубристые горные высоты, где об эту пору отец Марии, одинокий Жозеф Лор, мечтал о ночлегах в Олороне, Лагоре, Роласе — или совращал овцу. Благоуханные бредни такого рода всегда служили мне утешением в минуты особого душевного напряжения, и только когда я почувствовал, что, невзирая на частое прикладывание к флажке, дрожу от холода бессонной ночи, решил я поехать обратно в мотель. Проводница-ведьма исчезла, а дорогу я плохо знал. Широкие гравийные улицы пересекали так и сяк призрачные прямоугольники. Я смутно различил нечто вроде силуэта виселицы, но это наверное был просто гимнастический прибор на школьном дворе; а в другом квартале, похожем на пустошь, вырос передо мной в куполообразной тиши бледный храм какой-то местной секты. Наконец я выехал на шоссе и вскоре завидел неоновый знак Серебряной Шпоры с аметистовой надписью «Все Занято», вокруг которой маячили миллионы мотельных мотылей, называемых «мельниками» — не то от «мелькать», не то из-за мучнистого оттенка на свету; и когда, около трех утра, после одного из тех несвоевременных горячих душей, которые, как некий фиксаж, только способствуют закреплению отчаяния и изнеможения в человеке, я лег в постель — в ее постель, пахнущую каштанами и розами, и мятными леденцами, и теми очень тонкими, очень своеобразными французскими духами, которыми последнее время я позволял ей пользоваться, я никак не мог осмыслить простой факт, что впервые за два года я разлучился с Лолитой. Внезапно мне подумалось, что ее болезнь не что иное, как странное развитие основной темы, что у этой болезни тот же привкус и тон, как у длинного ряда сцепленных впечатлений, смущавших и мучивших меня в пути; я вообразил, как тайный агент, или тайный любовник, или мерзкий шалун, или создание моих галлюцинаций — все равно кто — рыщет вокруг лечебницы; Аврора едва «согрела руки», как говорят сборщики лаванды у меня на родине, а я уже снова норовил пробиться в эту крепость — стучался в ее зеленые двери, не позавтракав, не имев стула, не видя конца терзаниям.

Это было во вторник, а в среду или четверг, чудно реагируя — душенька моя! — на какую-то «сыворотку» (из спермы спрута или слюны слона), она почти совсем поправилась, и врач сказал, что «денька через два она будет опять скакать».

Я к ней заходил раза два в день — всего, может быть, восемь раз, — но только последнее

посещение отчетливо запечатлелось у меня в памяти. В тот день для меня было большим подвигом выйти из дому вообще, ибо я себя уже так чувствовал, точно меня всего вылушил грипп, принявшийся теперь за меня. Никто не узнает, каких усилий мне стоило отнести все это к ней — букет, бремя любви, книги, за которыми я ездил за шестьдесят миль: «Драматические Произведения» Браунинга; «История Танца»; «Клоуны и Коломбины»; «Русский Балет»; «Цветы Скалистых Гор»; «Антология Театральной Гильдии» и «Теннис» Елены Вилльс, которая выиграла свой первый национальный чемпионат в пятнадцать лет. В ту минуту как я, шатаясь под ношей, подходил к двери Лолитиной частной палаты, стоившей мне тринадцать долларов в день, Мария Лор (молодая гадина, служившая сиделкой и с первого дня меня возненавидевшая) как раз выходила оттуда с остатками Лолитино утренняя завтрак на подносе: она с проворным грохотом поставила поднос на стул в коридоре и, вихляя задом, стрельнула обратно в комнату, — верно, чтобы предупредить бедную маленькую Долорес, что старый тиран подкрадывается на резиновых подошвах, с букинистическим хламом и букетом: последний я составил из диких цветов и красивых листьев, которые я набрал собственными гантированными руками на горном перевале, при первых лучах солнца (я почти не спал во всю ту роковую неделю).

А как кормят мою Карменситу? Мельком я взглянул на поднос. На запачканной яичным желтком тарелке валялся скомканный конверт. Он прежде содержал нечто, судя по рваному краю, но адреса не было — ничего не было, кроме зеленой, пошло-фальшивой геральдической виньетки с названием мотеля «Пондерозовая Сосна». Тут я произвел маленькое шассэ-круазэ с Марией, которая хлопотливо выбегала опять из Лолитиной комнаты, — удивительно, как они шибко двигаются и мало успевают сделать — эти задастые киски. Она кинула сердитый взгляд на конверт, который я положил обратно на тарелку, предварительно разгладив его.

«Вы бы лучше не трогали», проговорила она с пеленгаторным кивком головы. «Можно и пальцы обжечь».

Возражать? Ниже моего достоинства. Я только сказал:

«Je croyais que c'était un 'bill' — pas un billet doux»^[109].

Затем, войдя в полную солнца комнату, я обратился к Лолите: «Bonjour, mon petit!»^[110]

«Долорес!» воскликнула Мария Лор, входя со мной, мимо меня, сквозь меня — пухлая лахудра — и моргая ресницами и начиная быстренько складывать белое фланелевое одеяло, продолжая моргать: «Долорес, ваш папенька думает, что вы получаете письма от милого дружка. Это я» (постукивая себя с гордым видом по золоченому кресту), «я получаю их. И мой папенька может парлэ-франсэ не хуже вашего».

Она вышла. Долорес, такая розовая, с золотой рыжинкой, с губами только что ярко накрашенными, с расчесанными до блеска волосами, над которыми она поработала щеткой, как это только умеют американские девочки, лежала, вытянув голые руки на одеяле, и невинно улыбалась — не то мне, не то пустоте. Посреди ночного столика, рядом с бумажной салфеткой и карандашом, горел на солнце ее топазовый перстенок.

«Какие жуткие траурные цветы», сказала она, принимая букет. «Но все равно — спасибо. Только будь так мил, пожалуйста, обойдись без французского — это только раздражает людей».

Тут опять вбежала обычным своим аллюром спелая молодая шлюха, воняя мочой и чесноком, с газетой «Дезерет», которую моя прелестная пациентка жадно схватила, не обращая внимания на роскошно иллюстрированные тома, принесенные мной.

«Моя сестра Анна», сказала басконка (завершая давешнее сообщение новой мыслью) «работает в Пондерозе».

Мне всегда жаль Синеи Бороды. Эти brutальные братья... Est-ce que tu ne m'aimes plus, ma Carmen?^[111] Никогда не любила. Я теперь не только знал, что моя любовь безнадежна, но знал

также, что они вдвоем замышляют что-то, сговариваясь, по-баскски или по-земфирски, против моей безнадежной любви. Скажу больше: Лолита вела двойную игру, ибо она дурачила и глупую, сентиментальную Марию, которой поведала, вероятно, что хочет жить у жизнерадостного дядюшки, а не у жестокого, мрачного отца. И другая сиделка, которой я так и не рассмотрел, и юродивый, вкатывавший койки и гроба в лифт, и чета идиотских зеленых попугайчиков, занимавшая клетку в приемной, — все, все они участвовали в подлом заговоре. Мария, верно, думала, что комедийный папаша Профессор Гумбертольди препятствует любовной интриге между Долорес и заместителем отца, толстеньким Ромео (ведь не забудем, что ты был жирноват, Ромка, несмотря на все эти наркотики — «снежок», «сок радости» и так далее).

У меня побаливало горло; я стоял, переглатывая, у окна и глядел на романтическую скалу, повисшую высоко в смеющемся, заговорщическом небе.

«Моя Кармен», обратился я к ней (я иногда звал ее этим именем), «мы покинем этот пересохший, воспаленный, свербящий город, как только тебе позволят встать».

«Кстати — мне нужны мои вещи», проговорила гитаночка, подняв холмом колени и перейдя на другую страницу газеты.

«Потому что, видишь ли», продолжал я, «нет смысла сидеть в этом городе».

«Нет смысла сидеть где бы то ни было», сказала Лолита.

Я опустил в кретоновое кресло и, раскрыв красивый ботанический атлас, попытался, в жужжащей от жара тишине, найти в нем мои цветы. Это оказалось невозможным. Немного погодя где-то в коридоре раздался музыкальный звоночек.

Я не думаю, чтобы в этом претенциозном госпитале было больше дюжины больных (из них «трое или четверо сумасшедших», как мне весело заявила раз Лолита); и, конечно, служащие имели слишком много свободного времени. Однако — тоже ради шика — строго соблюдались правила. Сознаюсь, что часто приходил в неуказанные для посещения часы. В порыве мечтательного лукавства склонная к видениям Мария Лор (в следующий раз ей померещится *une belle dame toute en bleu*^[112], проплывающая по Гремучей Яруге в Нью-Лурде) схватила меня за рукав, намереваясь меня вывести. Я посмотрел на ее руку; она убрала ее. Уходя — уходя по собственной воле, — я услышал, как Долорес Гейз повторяет мне, чтобы я завтра утром принес ей — не могла вспомнить всего, что ей нужно было в смысле носильных и других вещей: «Принеси мне», крикнула она (уже вне поля зрения, ибо дверь тронулась, дверь закрывалась, дверь закрылась) — «принеси весь новый серый чемодан и мамин, мамин!»; но на следующее утро я дрожал от озноба, и пьян был в дым, и умирал в мотельной постели, где она пролежала всего несколько минут, и все, что я в силах был сделать, ввиду этих кругами расширяющихся обстоятельств, было послать ей оба чемодана с любовником моей вдовушки, могучим и добродушным водителем грузовика. Я ясно представил себе, как моя девочка показывает Марии свои сокровища... Разумеется, я находился в несколько бредовом состоянии, и на другой день я настолько еще был зыбковат и неоформлен, что, когда взглянул в окно ванной на смежный лужок, то увидел прелестный молодой велосипед моей Долли, стоявший там на своей подпорке, причем грациозное переднее колесо было отвернуто от меня, как всегда, а на седле сидел воробей, — но это был велосипед хозяйки, и, со слабой улыбкой покачивая головой вслед нежной грезе, я насилу добрался до кровати и долго лежал, тих и свят, как сказано — цитирую не совсем точно — у Роберта Браунинга —

Свят? Форсит! Когда Долорес

Смуглая на мураве

Вырезает, раззадорясь,

— вырезает из пестрых журнальчиков, окружавших Долорес на всех наших стоянках, а в городе меж тем начали справлять великий национальный праздник, судя по мощным хлопущкам — сущим бомбам, — которые все время разрывались, и ровно в час пятьдесят пять дня мне послышалось чье-то посвистывание за полуоткрытой дверью коттеджа и затем — стук.

Это был грузовой шофер Франк — огромный детина: он остался стоять на пороге, держась за дверной косяк и немного подавшись вперед.

«Здрасте. Звонят в мотель из больницы. Сиделка Лор спрашивает, лучше ли мистеру Гумберту и собирается ли он зайти нынче?»

За двадцать шагов, Франк казался румяным здоровяком; в пяти шагах, как сейчас, видно было, что он состоит из румяно-сизой мозаики шрамов: в Италии, во время последней войны, его так ахнуло, что он пролетел сквозь стену; однако, несмотря на неопишуемые увечья, Франк способен был править колоссальным грузовиком, баловаться рыболовством, ходить на охоту, пьянствовать и неумолимо пользоваться придорожным бабьём. В этот день — по случаю ли большого праздника или просто из желания позабавить больного человека — он снял перчатку, которую обыкновенно носил на левой руке (эта рука сейчас прижата была к косяку) и являл замороженному страдальцу не только полное отсутствие безымянного пальца и мизинца, но также и голую девку, с киноварными сосками и кобальтовой ижицей, очаровательно нататуированную на тыльной стороне его искащенной руки: указательный палец и средний изображали ее ноги, а на кисть приходилась ее голова в венчике из цветов. Ах, просто прелесть... особенно, когда она, как сейчас, прислонялась к брусу, точно хитрая фея.

Я попросил его передать Марии Лор, что я останусь весь день в постели и позвоню моей дочери в течение завтрашнего дня, если только буду себя чувствовать, вероятно, полинизейского происхождения (в мыслях у меня еще попадались опечатки). Тут он заметил направление моего взгляда и сделал так, что правое ее бедрышко блудливо дрыгнуло.

«Оки-доки», пропел великан Франк, ударил по косяку и, посвистывая, ушел с моим поручением, а я продолжал пить, и к утру температура упала, и, хотя я был, как жаба, вял, я надел свой фиолетовый халат поверх кукурузно-желтой пижамы и отправился в мотельную контору, где находился телефон. Все было хорошо. Ясный голос сообщил мне, что: да, все хорошо, моя дочь вчера выписалась из больницы около двух часов дня: ее дядя, мистер Густав, заехал за ней со щенком кокер-спаньелем, и приветом для всех, на черном Кадили Яке; он заплатил по Доллиному счету наличными и попросил мне передать, чтобы я не беспокоился, оставался в теплой постельке, а они, мол, едут к бабушке на ранчо, как было условлено.

Эльфинстон (он у них тонкий, но страшный) был — да и остался таким, надеюсь — премиленький городок. Он напоминал, знаете, макет — своими аккуратными деревцами из зеленой ваты и домиками под красными крышами, планомерно разбросанными по паркету долины, и мне кажется, я уже вскользь говорил о его образцовой школе, и храмине, и просторных прямоугольных жилищных участках, из коих некоторые, впрочем, сводились к довольно своеобразным загонам, где мул или единорог пасся в тумане раннего июльского утра. Забавная штука: на одном крутом, грависто-скрежещущем повороте я боком задел стоявшую у тротуара машину, но сказал себе апатически, а замахавшему руками владельцу — телепатически (в лучшем случае), что вернусь в свое время, адрес: Бурдская Школа, переулок Бурды, город Кабура; джин, поддерживавший жизнь моего сердца, мутил мозг, и после нескольких пробелов и провалов, свойственных эпизодам в снах, я очутился в приемной больницы, где старался избить доктора и орал на людей, прятавшихся под стулья, и требовал

Марии, которая, к счастью для нее, отсутствовала в этот день; грубые руки дергали меня за халат, оторвав, наконец, карман, и каким-то образом я оказался сидящим верхом на принятом мною за доктора Нелюблю пациенте, лысом, смугловатом мужчине, который в конце концов встал с пола и заметил с анекдотическим акцентом: «Ну, кто тут теперь невротик, я вас спрашиваю?»; после чего высокая суровая сестра преподнесла мне семь роскошно иллюстрированных книг в роскошных переплетах и идеально сложенный шотландский плед, причем попросила расписку; и в неожиданной тишине я в передней заметил полицейского, которому мой коллега-автомобилист указывал на меня, и я кротко расписался в получении книг и пледа — символический жест, означавший, что уступаю мою Лолиту всем этим макакам, но что же я мог сделать другого? Одна простая мысль стояла как бы нагишом передо мной: главное — остаться на воле. Соверши я любой опрометчивый шаг, — и мне пришлось бы объяснять все подробности своей преступной жизни. Поэтому я притворился одуревшим от запоя. Коллеге-автомобилисту я заплатил, наплевав на страховку, сколько он счел справедливым. Голубоглазому доктору Блю, который теперь гладил меня по руке, я в слезах поведал о слишком обильных возлияниях, которыми я считал нужным подбодрять ненадежное, но здоровое, не нуждающееся ни в каких осмотрах сердце. Перед всей больницей я извинился с таким фасонистым поклоном, что чуть не упал, добавив, впрочем, что состою в неважных отношениях с другими членами Гумбертского клана. Самому себе я шепнул, что пистолет мой в сохранности и что я все еще не лишен свободы, — могу выследить беглянку, могу уничтожить «брата».

Расстояние в тысячу миль по шелковисто-гладкому асфальту отделяло Касбим, где, насколько мне было известно, красный бес по сговору объявился впервые, от рокового Эльфинстона, куда мы прибыли за неделю до Дня Независимости. Это путешествие тогда заняло большую часть июня, ибо мы редко проезжали больше ста пятидесяти миль в день, проводя остальное время (до пяти дней однажды) на разных стоянках, — которые, вероятно, были им детально предусмотрены. Тут, значит, и следовало искать след беса; и этому-то я полностью посвятил себя после нескольких неопишуемых дней рыскания по безжалостно разветвлявшимся дорогам в окрестностях Эльфинстона.

Вообрази, читатель, меня — такого застенчивого, так не любящего обращать на себя внимание, наделенного таким врожденным чувством благопристойности — вообрази меня, скрывающего безумное горе под дрожащей подобострастной улыбкой и придумывающего предлог, чтобы с притворной небрежностью перелистать гостиничную книгу, в которой записаны фамилии, адреса и автомобильные номера проезжих. «Послушайте», говорил я, «я совершенно уверен, что я здесь уже как-то останавливался — позвольте мне взглянуть на записи за середину июня. Так-с. Нет, все-таки вижу, что ошибся, — на какой смешной улице города живет этот мистер Кук: Ишо 5. Простите за беспокойство». Или же: «Один из моих клиентов стоял у вас — я потерял его адрес, — может быть, вы будете так добры...» И не раз случалось, особенно если директор оказывался определенного типа мрачным мужчиной, что мне отказывалось в собственноручном просмотре.

У меня тут отмечено на листочке: между 5-ым июля и 18-ым ноября, т. е. до моего возвращения на несколько дней в Бердслей, я расписался (далеко не всегда, впрочем, останавливаясь на ночь) в 342 гостиницах и мотелях. Эта цифра включает несколько заведений между Касбимом и Бердслеем, из которых одно подарило мне несомненную тень беса: «Роберт Роберт, Мольберт, Альберта». Мне приходилось очень осторожно распределять свои розыски во

времени и пространстве, дабы не возбуждать подозрений; и было, вероятно, по крайней мере пятьдесят мест, где я просто справлялся, не расписываясь сам, но это ни к чему не приводило, и я предпочитал сооружать платформу правдоподобия и доброжелательства тем, что первым делом платил за ненужную мне комнату. Мой обзор показал, что из трехсот, примерно, книг не менее двадцати содержало им оставленный след: неспешивший бес или останавливался даже чаще нас, или же — на это он был вполне способен — расписался кое-где лишний раз с целью обильно снабдить меня издевательскими намеками. Только раз стоял он там же и тогда же, как и мы, — и спал в нескольких шагах от Лолитиной подушки. В нескольких случаях он ночевал в том же или соседнем квартале; нередко он ждал в засаде в промежуточном пункте между двумя условленными стоянками. Как живо помнил я Лолиту, перед самым отъездом из Бердслея, лежащей ничком на ковре в гостиной с грудой путеводителей и карт, на которых она отмечала этапы и остановки своим губным карандашом!

Я сразу установил, что наш бывший преследователь предвидел мои изыскания и подбросил мне на поживу ряд оскорбительных псевдонимов, каламбуров и прочих вывертов. В первом же мотеле, который я посетил — «Пондерозовая Сосна», — я нашел, среди дюжины явно человеческих адресов, следующую мерзость: Адам Н. Епилинтер, Есноп, Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы, утвердительную и вопросительную. Хозяйка соизволила мне сообщить, что мистер Епилинтер пролежал пять дней в постели с сильным гриппом, что он оставил автомобиль для починок в неизвестном ей гараже и съехал на новой машине — 4-го июля. Да, действительно, девушка по имени Анна Лор тут работала, но это было давно, теперь она замужем за бакалейщиком в Сидар Сити. В одну прекрасную лунную ночь я подкараулил Марию — в белых сиделочных башмаках она шла по пустынной улице; будучи, как многие, автоматом, она собралась было завопить, но мне удалось ее очеловечить довольно простым способом — я пал на колени и со взвизгами, с упоминанием святителей, стал умолять ее мне помочь. Она клялась, что ничего не знает. Кто он такой, этот Епилинтер? Она как будто заколебалась. Я проворно вынул стодолларовый билет. Она подняла его на свет луны. «Ваш братец», прошептала она наконец. Разразившись французским проклятием, я выхватил билет из ее лунно-холодной руки и убежал. Этот случай научил меня полагаться только на самого себя. Ни один сыщик, конечно, не нашел бы тех пометных ниточек и наводящих зарубок, которые Трапп подгонял к моим именно мозгам, настраивал на мой именно лад. Я не мог, разумеется, ожидать, что мой преследователь где-нибудь оставил мне свое настоящее имя; но я надеялся, что он когда-нибудь поскользнулся на собственной блестящей изощренности, осмелившись ввести более индивидуальную деталь, чем требовалось, или что он выдал слишком много через качество целого, составленного из количественных частей, выдававших слишком мало. В одном он преуспел: ему удалось демонической сетью окончательно опутать меня и мою извивающуюся, бьющуюся тоску. С бесконечным мастерством клоуна-канатоходца он пошатывался и запинаясь, и непонятным образом возвращался в состояние равновесия, всегда, впрочем, оставляя мне спортивную надежду — если могу так выразиться, когда идет речь об измене, ярости, опустошенности, ужасе и ненависти, — что в следующий раз он наконец переборщит. Этого никогда не случилось, — хотя он чорт знает как рисковал. Мы все восхищаемся акробатом в блесках, с классической грацией и точностью продвигающимся по натянутой под ним струне в тальковом свете прожекторов; но насколько больше тонкого искусства выказывает гротесковый специалист *оседающего* каната, одетый в лохмотья вороньего пугала и пародирующий пьяного! Мне ли этого не оценить...

Если эти оставляемые им пометные шутки и не устанавливали его личности, они зато отражали его характер, — или, вернее, некий однородный и яркий характер. В его «жанре», типе юмора (по крайней мере, в лучших проявлениях этого юмора), в «тоне» ума, я находил

нечто сродное мне. Он меня имитировал и высмеивал. Его намеки отличались известной изысканностью. Он был начитан. Он говорил по-французски. Он знал толк в дедалогии и логомантии. Он был любителем эротики. Почерк у него смахивал на женский. Он мог изменить имя, но не мог замаскировать, несмотря на все попытки переодеть их, некоторые буквы, как, например, его очень своеобразные «т» и «у». Остров Quelquepart^[113] было одним из любимейших его местопребываний. Он не пользовался самоструйным пером — верное указание (как подтвердит вам всякий психиатр), что пациент — репрессивный ундирист. Человеколюбие понуждает нас пожелать ему, чтобы оказались русалочки в волнах Стикса.

Главной чертой его было задирачество. Боже мой, как нравилось бедняге дразнить меня! Он подвергал сомнению мою эрудицию. Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего. Вероятно, я пропустил некоторые пуанты в этом криптографическом пэпер-чэсе. Какой трепет торжества и гадливости сотрясал хрупкий состав мой, когда, бывало, среди простых, невинных имен в отельном списке тайный смысл его дьявольской головоломки вдруг эякулировал мне в лицо! Я замечал, что, как только ему начинало казаться, что его плутни становятся чересчур заумными, даже для такого эксперта, как я, он меня приманивал опять загадкой полегче. «Арсен Люпэн» был очевиден полуфранцузу, помнившему детективные рассказы, которыми он увлекался в детстве; и едва ли следовало быть знатоком кинематографа, чтобы раскусить пошлую подковырку в адресе: «П. О. Темкин, Одесса, Техас». В не менее отвратительном вкусе, но по существу выдающем ум культурного человека, а не полицейского, не заурядного бандита, не похабного коммивояжера, были такие вымышленные имена, как «Эрутар Ромб» — явная переделка имени автора «Le Bateau Bleu»^[114] — да будет и мне позволено немного позубоскалить, господа! — или «Морис Шметтерлинг», известный своей пьесой «L'Oiseau Ivre»^[115] (что, попался, читатель?). Глупое, но смешное «Д. Оргон, Эльмира, Нью-Йорк» вышло, конечно, из Мольера; и потому что я недавно пытался Лолиту заинтересовать знаменитой комедией восемнадцатого века, я приветствовал старого приятеля — «Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг». Из невинных Бермудских Островов он сделал остроту — каламбур, который пристойность не разрешает мне привести, и всякий хороший фрейдист, с немецкой фамилией и некоторым знанием в области религиозной проституции, поймет немедленно намек в «Др. Китцлер, Эрикс, Мисс.» Что ж, все это не плохо. Потеха довольно убогая, но в общем без личных выпадов, а потому безвредная. Не привожу записей, которые меня привлекли своей, так сказать, явной зашифрованностью, но вместе с тем не поддались разгадке, ибо чувствую, что продвигаюсь ощупью сквозь пограничный туман, где словесные обороты превращаются, может быть, в живых туристов. Что такое, например: «Фратер Гримм, Океан, Келькепар»? Настоящим ли человеком — со случайно одинаковым с ним почерком — был некто «Н. С. Аристофф» родом из «Катагелы»? Где твое жало, Катагела? А что это: «Джемс Мавор Морелл, Каламбург, Англия»? «Аристофан», «Каламбург» — прекрасно, но чего я недопонял?

Одна черта, повторявшаяся в этих подделках, производила во мне особенно болезненный трепет. Такие вещи, как «Г. Трапп, Женева, Нью-Йорк», означали предательство со стороны моей спутницы. Комбинация «О. Бердслей, Лолита, Техас» доказывала, несмотря на существование такого города в Техасе — (и притом яснее, чем исковерканное в Чемпионе телефонное сообщение), что следует искать начала всей истории на атлантической стороне Америки. «Лука Пикадор, Мерри Мэй, Мэриланд» содержало ужасный намек на то, что моя маленькая Кармен выдала негодяю жалкий шифр ласковых имен и своенравных прозваний, которые я ей давал. Три раза повторен был адрес: «Боб Браунинг, Долорес, Колорадо». Безвкусное «Гарольд Гейз, Мавзолей, Мексика» (которое в иное время могло бы меня позабавить) предполагало знакомство с прошлым девочки — и на минуту у меня явилась

кошмарная мысль, что «Дональд Отто Ких» из городка «Сьерра» в штате «Невада» — старый друг семьи, бывший, может быть, любовник Шарлотты, бескорыстный, может быть, защитник детей. Но больше всего пронзила меня кощунственная анаграмма нашего первого незабвенного привала (в 1947-ом году, читатель!), которую я отыскал в книге касбимского мотеля, где он ночевал рядом с нами: «Ник. Павлыч Хохотов, Вран, Аризона».

Исcoverканные автомобильные номера, оставляемые всеми этими Кувшинкиными, Фатаморганами и Траппами, всего лишь указывали на то, что хозяева постоянных дворов плохо проверяют идентификацию машин, даваемую проезжими. Ссылки — неполные или неправильные — на автомобили, которые наш преследователь нанимал для коротких перегонов между Уэйсом и Эльфинстоном, я, разумеется, не мог использовать. Номер, относящийся к его первоначальному, по-видимому собственному, Яку, представлял собой мерцание переменчивых цифр, из которых одни он переставлял, другие переделывал или пропускал; но самые комбинации этих цифр как-то перекликались (например, ВШ 1564 и ВШ 1616 или КУ 6969 и КУКУ 9933), хотя были так хитро составлены, что не поддавались приведению к общему знаменателю.

Мне пришло в голову, что после того, как он передал вишневым Як приспешникам в Уэйсе и перешел на систему «перекладных», приемники его могли оказаться менее осмотрительными и, может быть, оставили в какой-нибудь отелной книге прототип тех взаимно связанных номеров. Но если искать беса на дорогах, по которым он наверняка проехал, было таким сложным, запутанным и безнадежным делом, чего мог я ожидать от попыток напасть на след неизвестных автомобилистов, путешествующих по неизвестным мне маршрутам?

К тому времени, как я достиг Бердслея, в порядке той рекапитуляции, о которой я теперь достаточно поговорил, у меня в уме создался довольно полный образ, и этот образ я свел — путем исключения (всегда рискованным) — к тому единственному конкретному первоисточнику, который работа больного мозга и шаткой памяти могла отыскать.

Кроме преподобного Ригор Мортис (как девочки окрестили пастора) и почтенного старца, преподававшего необязательные немецкий язык и латынь, в Бердслейской гимназии не было постоянных учителей мужского пола. Но два-три раза в течение учебного года (1948–49) приходил с волшебным фонарем искусствовед из Бердслейского Университета показывать гимназисткам цветные снимки французских замков и образцы импрессионистической живописи. Мне хотелось присутствовать при этих проекциях и лекциях, но Долли, как это у нас водилось, попросила меня не ходить, — и баста. Кроме того, я помнил, что Гастон называл этого именно преподавателя блестящим *garçon* ^[116]; но это было все; память отказывалась выдать мне имя любителя старинных шато.

В день, назначенный для казни, я прошел по слякоти через университетский двор к одному из указанных мне зданий. Там я узнал, что фамилия искусствоведа Риггс (что несколько напоминало фамилию знакомого нам служителя культа), что он холост, и что через десять минут он выйдет из университетского музея, где сейчас читает лекцию. Я сел на мраморную скамью (дар некой Цецилии Рамбль) у входа в лекционный зал музея. Дожидаясь там, с болезненным ощущением в предстательной железе, подвыпивший, истощенный недостатком сна, сжимая колыт в кулаке, засунутом в карман макинтоша, я вдруг спохватился, что я ведь сошел с ума и готов совершить глупость. Существовал один шанс среди миллионов, что Альберт Риггс, доцент, держит мою Лолиту под замком у себя на дому, 69, улица Линтера — в названии было что-то знакомое... Нет, он никак не мог быть моим губителем. Чепуха. Я терял рассудок и

тратил зря время. Он и она сейчас в Калифорнии, а не здесь.

Вскоре, за белыми статуями, украшающими вестибюль, я заметил смутное оживление. Дверь — не та, на которую я жадно уставился, а другая, подальше, — бодро распахнулась, и среди стайки студенток запрыгала, как пробка, лысина щупленького лектора, а затем ко мне стали приближаться его блестящие карие глаза. Я никогда в жизни его не видал, хотя он стал настаивать, что мы как-то познакомились на приеме в саду Бердслейской школы. А как поживает моя очаровательная дочь, теннисистка? У него, к сожалению, еще одна лекция. До скорого!

Другие попытки опознания разрешились не так скоро. Через объявление в одном из журнальчиков, оставшихся мне от Лолиты, я решился войти в сношение с частным сыщиком, бывшим боксером, и просто чтобы дать ему понятие о методе, которым пользовался некогда, преследовавший нас до Эльфинстона, я ознакомил его с некоторыми образцами имен и адресов, набранных мной на обратном пути. Он потребовал порядочный аванс, и в продолжение двадцати месяцев — двадцати месяцев, читатель! — болван занимался тем, что кропотливо проверял эти явно вымышленные данные! Я уже давно порвал с ним всякие деловые сношения, когда однажды он явился ко мне с победоносным видом и сообщил, что Боб Браунинг действительно живет около поселка Долорес в юго-западном Колорадо и что он оказался краснокожим киностатистом восьмидесяти с лишком лет.

Эта книга — о Лолите; теперь, когда дохожу до той части, которую я бы назвал (если бы меня не предупредил другой страдалец, тоже жертва внутреннего сгорания) «Dolorès Disparue»^[117], подробное описание последних трех пустых лет, от начала июля 1949 до середины ноября 1952, не имело бы смысла. Хотя и следует отметить кое-какие важные подробности, мне хотелось бы ограничиться общим впечатлением: в жизни, на полном лету, раскрылась с треском боковая дверь и ворвался рев черной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели.

Странно — я почти никогда не видел и не вижу Лолиту во сне такой, какой помню ее — какой я видел ее наяву, мысленно, с неослабностью душевной болезни, в галлюцинациях дня и бессонницах ночи. Если она и снилась мне, после своего исчезновения, то появлялась она в странных и нелепых образах, в виде Валерии или Шарлотты, или помеси той и другой. Помесное привидение приближалось, бывало, ко мне, скидывая с себя крышу за крышей, в атмосфере великой меланхолии, великого отвращения. Эта Лже-Лолита (и Лже-Валерия) вяло приглашала меня разделить с ней твердый диванчик, или просто узкую доску, или нечто вроде гинекологического ложа, на котором она раскидывалась, приотворив плоть, как клапан резиновой камеры футбольного мяча. С расколовшимся или безнадежно потерянным зубным протезом я попадал в гнусные мебелишки, где для меня устраивались скучнейшие вечера вивисекции, обыкновенно кончавшиеся тем, что Шарлотта или Валерия рыдала в моих окровавленных объятиях, и я их нежно целовал братскими губами в сонном беспорядке венской дребедени, продаваемой с молотка, жалости, импотенции и коричневых париков трагических старух, которых только что отравили газом.

Однажды я вынул из бедного Икара и уничтожил давно накопившуюся кучу журнальчиков для подростков. Вам известен тип этих изданий: в отношении чувств это — каменный век; в смысле гигиены — эпоха, по крайней мере, микенская. Красивая, но уже очень зрелая актриса, с исполинскими ресницами и пухлой, мясисто-красной нижней губой, рекомендовала новый шампунь. Бедлам реклам. Юным школьницам нравятся сборки на юбках — que c'était loin, tout

cela!^[118] Когда приглашают с ночевкой, хозяйке полагается приготовить для каждой гостьи халат. Бессвязные детали лишают ваш разговор всякого блеска. Нам всем приходилось встречать на вечеринках для конторских служащих «копунью» — девушку, которая копает ногтями кожу на лице. Только если он очень стар или занимает очень большое положение, пожилому мужчине дозволяется не снимать перчатки, перед тем как пожать руку даме. Привлекай сердца ношением нашего Нового Животико-скрадывателя: ни бочков, ни брюшков. Тристан и три женских стана в кино. Да-с, господа-с: супружество Джо и Дженни возбуждает джуджание. Превратись в романтическую красавицу быстро и дешево. Книжки-комикс: скверная девчонка (брюнетка), толстяк-отец (с сигарой); хорошая девочка (рыжая), красивый папочка (с подстриженными усами). Или отвратительная серия с гориллообразным верзилкой и его женой, гномообразной гнидой. Et moi qui t'offrais mon génie...^[119] Я припомнил довольно изящные, чепушинные стишки, которые я для нее писал, когда она была ребенком. «Не чепушинные», говорила она насмешливо, «а просто чепуха»:

Пролетают колибри на аэропланах,
Проходит змея, держа руки в карманах...

или:

Так ведет себя странно с крольчихой кролик,
Что кролиководы смеются до колик.

Иные ее вещи было трудно выбросить. До конца 1949-го года я лелеял, и боготворил, и осквернял поцелуями, слезами и слизью пару ее старых тапочек, ношеную мальчиковую рубашку, потертые ковбойские штаны, смятую школьную кепочку и другие сокровища этого рода, найденные в багажном отделении автомобиля. Когда же я понял, что схожу с ума, я собрал эти вещи, прибавил к ним кое-что оставшееся на складе в Бердслее — ящик с книгами, ее велосипед, старое пальто, ботинки — и в пятнадцатый день ее рождения послал все это в виде дара от неизвестного в приют для сироток на ветреном озере у канадской границы.

Не исключая, что пойдя я к хорошему гипнотизеру, он бы мог извлечь из меня и помочь мне разложить логическим узором некоторые случайные воспоминания, которые проступают сквозь ткань моей книги со значительно большей отчетливостью, чем они всплывают у меня в памяти — даже теперь, когда я уже знаю, что и кого выискивать в прошлом. В то время я только чувствовал, что теряю контакт с действительностью. Я провел остаток зимы и большую часть весны в санатории около Квебека, где я лечился раньше, после чего решил привести в порядок некоторые свои дела в Нью-Йорке, а затем двинуться в Калифорнию для основательных розысков.

Вот стихотворение, сочиненное мной в санатории:

Ищут, ищут Долорес Гейз;
Кудри: русы. Губы: румяны,
Возраст: пять тысяч триста дней,
Род занятий: нимфетка экрана?

Где ты таишься, Долорес Гейз?

Что верно и что неверно?
Я в аду, я в бреде: «выйти я не могу»
Повторяет скворец у Стерна.

Где разъезжаешь, Долорес Гейз?
Твой волшебный ковер какой марки?
Кагуар ли кремовый в моде днесь?
Ты в каком запаркована парке?

Кто твой герой, Долорес Гейз?
Супермен в голубой пелерине?
О, дальний мираж, о, пальмовый пляж
О, Кармен в роскошной машине!

Как больно, Долорес, от джаза в ушах!
С кем танцуешь ты, дорогая?
Оба в мятых майках, потертых штанах,
И сижу я в углу, страдая.

Счастлив, счастлив, Мак-Фатум, старик гнилой.
Всюду ездит. Жена — девчонка.
В каждом штате мнет Молли свою, хоть закон
Охраняет даже зайчонка.

Моя боль, моя Долли! Был взор ее сер
И от ласок не делался мглистей.
Есть духи — называются Soleil Vert...[\[120\]](#)
Вы что, из Парижа, мистер?

L'autre soir un air froid d'opéra m'alita:
Son féfé — bien fol est qui s'y fie!
Il neige, le décor s'écroule, Lolita!
Lolita, qu'ai-je fait de ta vie?[\[121\]](#)

Маюсь, маюсь, Лолита Гейз,
Тут раскаянье, тут и угрозы.
И сжимаю опять волосатый кулак,
И вижу опять твои слезы.

Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем,
Где струится ночь, светофорясь...
Она в белых носках, она — сказка моя,
И зовут ее: Гейз, Долорес.

Патрульщик, патрульщик, вон едут они,
Долорес Гейз и мужчина.
Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони,

Вылезай, заходи за машину!

Ищут, ищут Долорес Гейз:
Взор дымчатый тверд. Девяносто
Фунтов всего лишь весит она
При шестидесяти дюймах роста.

Икар мой хромает, Долорес Гейз,
Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
А все прочее — ржа и рой звездный.

Психоанализируя это стихотворение, я вижу, что оно не что иное, как шедевр сумасшедшего. Жесткие, угловатые, крикливые рифмы довольно точно соответствуют тем лишенным перспективы ландшафтам и фигурам, и преувеличенным их частям, какие рисуют психопаты во время испытаний, придуманных их хитроумными дрессировщиками. Я много понасочинил других стихов. Я погружался в чужую поэзию. Но мысль о мести ни на минуту не переставала томить меня.

Я был бы плутом, кабы сказал (а читатель — глупцом, кабы поверил), что потрясение, которое я испытал, потеряв Лолиту, навсегда меня излечило от страсти к малолетним девочкам. Лолиту я теперь полюбил другой любовью, это правда, — но проклятая природа моя от этого не может измениться. На площадках для игр, на морских и озерных побережьях мой угрюмый, воровской взгляд искал поневоле, не мелькнут ли голые ноги нимфетки или другие заветные приметы Лолитиных прислужниц и наперсниц с букетами роз. Но одно основное видение выцвело: никогда я теперь не мечтал о возможном счастье с девочкой (обособленной или обобщенной) в каком-нибудь диком и безопасном месте; никогда не воображал я, что буду впиваться в нежную плоть Лолитиных сестричек где-нибудь далеко-далеко, в песчаном убежище между скал пригрезившихся островов. Это кончилось — или кончилось, по крайней мере, на некоторое время. С другой же стороны... увы, два года чудовищного потворства похоти приучили меня к известному укладу половой жизни. Я боялся, как бы пустота, в которой я очутился, не заставила бы меня воспользоваться свободой внезапного безумия и поддаться случайному соблазну при встрече в каком-нибудь проулке с возвращающейся домой школьницей. Одиночество разжигало меня. Я нуждался в обществе и уходе. Мое сердце было истерическим, ненадежным органом. Вот как случилось, что Рита вошла в мою жизнь.

Она была вдвое старше Лолиты и на десять лет моложе меня. Представьте себе взрослую брюнетку, очень бледную, очень тоненькую (она весила всего сто пять фунтов), с очаровательно асимметричными глазами, острым, как бы быстро начерченным профилем и с весьма привлекательной *ensellure* — седловинкой в гибкой спине: была, кажется, испанского или вавилонского происхождения. Я ее подобрал как-то в мае, в «порочном мае», как говорит Элиот, где-то между Монреалем и Нью-Йорком, или, суживая границы, между Тойлестоном и Блэйком, у смугло горевшего в джунглях ночи бара под знаком Тигровой Бабочки, где она пресимпатично напилась: уверяла меня, что мы учились в одной и той же гимназии, и все клала свою дрожащую ручку на мою орангутановую лапу. Чувственность мою она только очень

слегка бередила, но я все-таки решил сделать пробу; проба удалась, и Рита стала моей постоянной подругой. Такая она была добренькая, эта Рита, такая компанейская, что из чистого сострадания могла бы отдаться любому патетическому олицетворению природы — старому сломанному дереву или овдовевшему дикобразу.

Когда мы познакомились (в 1950-ом году), с ней недавно развелся третий ее муж, а еще недавнее ее покинул седьмой по счету официальный любовник. Другие, неофициальные, были слишком многочисленны и мимолетны, чтобы можно было их каталогизировать. Ее брат, политикан с лицом как вымя, носивший подтяжки и крашенный от руки галстук, был мэром и душой города Грейнбол, известного своими бейзболистами, усердными читателями Библии и зерновыми дельцами. В течение последних лет он платил своей замечательной сестренке семьсот долларов в месяц под абсолютным условием, что она никогда, никогда не приедет в его замечательный городок. Она рассказывала мне, подвывая от недоумения, что почему-то — чорт его знает почему — всякий новый любовник первым делом мчал ее в Грейнбол; Грейнбол приманивал роковым образом; и не успевала она оглянуться, как уже ее всасывала лунная орбита родного города и она ехала под прожекторным освещением кругового бульвара, «вертясь», смешно говорила она, «как проклятая бабочка в колесе».

У нее оказался изящный двухместный автомобильчик, и в нем-то мы ездили в Калифорнию, так как мой маститый Икар нуждался в отдыхе. Правила обыкновенно она — с прирожденной скоростью в девяносто миль в час. Милая Рита! Мы с ней разъезжали в продолжение двух туманных лет с перерывами, и невозможно вообразить другую такую славную, наивную, нежную, совершенно безмозглую Риточку! По сравнению с ней Валерия была Шлегель, а Шарлотта — Гегель! По правде сказать, нет ровно никакой причины заниматься мне ею на полях этих мрачных мемуаров, но все-таки хочу сказать (алло, Рита — где бы ты ни была, пьяная или трезвая, Рита, алло!), что эта моя самая утешительная, самая понятливая подруга, несомненно, спасла меня от смиренной рубашки. Я объяснил ей, что хочу отыскать сбежавшую возлюбленную и угробить ее кота. Рита с важным видом одобрила этот план — и, предприняв, в окрестностях Сан-Гумбертино, кое-какие собственные расследования (хотя ни черта о деле не знала), сама спуталась с каким-то бандитом; мне стоило адских усилий выволить ее — в подержанном и подшибленном виде, но вполне бодренькую. А другой раз, найдя мой священный пистолет, она предложила поиграть в «русскую рулетку»; я возразил, что нельзя, в пистолете нет барабана; мы стали за него бороться, и наконец раздался выстрел, причем пуля ушла в стену нашего номера, и оттуда забил очень тонкий и очень забавный фонтанчик горячей воды; помню, как она стонала от смеха.

До странности детская вогнутость ее спины, рисовая кожа, медленные, томные, голубиные поцелуи, — все это оберегало меня от беды. Не талант художника является вторичным половым признаком, как утверждают иные шаманы и шарлатаны, а наоборот: пол лишь прислужник искусства. Один довольно смутный кутеж наш имел забавные последствия. Я только что прекратил поиски: бес либо находился в Тартаре, или весело горел у меня в можжечке (где греза и горе раздували пламя), но во всяком случае никакого не имел отношения к турниру тенниса, в Сан-Диего, где в женском разряде первый приз взяла шестнадцатилетняя Доротея Гааз, мужеподобная дылда. Как-то, во время обратной поездки на восток, в гнуснейшей гостинице (того сорта, где устраиваются коммерческие съезды и бродят, пошатываясь, ярлыками отмеченные, марципановые толстяки, называющие друг друга Джо или Джим, заключающие сделки и хлещущие виски) милая Рита и я, проснувшись за полдень, увидели, что с нами в номере находится еще один человек, молодой бледный блондин, почти альбинос, с белыми ресницами и большими прозрачными ушами. Ни Рита в ее грустной жизни, ни я в моей никогда его не встречали. Весь потный, в грязном фланелевом комбинезоне, в старых походных сапогах

на шнурках, он храпел на одеяле нашей двуспальной постели по другую сторону от моей целомудренной подруги. У него не хватало одного переднего зуба, лоб оброс янтарными прыщами. Риточка облекла свою гибкую наготу в мой макинтош — первое, что попало ей под руку; я же натянул трусики; после чего мы обследовали положение. На подносе стояло целых пять употребленных стаканов, что в смысле примет только усложняло дело. Дверь была плохо прикрыта. На полу валялись мужской свитер да пара бесформенных военных штанов защитного цвета. Мы долго трясли их владельца; наконец несчастный очнулся. Оказалось, что он совершенно потерял память. Говоря с акцентом, который Рита определила как «чисто бруклинский», он обиженно инсинуировал, что мы (каким образом?) присвоили его (ничего не стоящую!) личность. Мы его быстрехонько одели и потом оставили в ближайшей больнице, выяснив по дороге, что какие-то уже забытые извилины и повороты привели нас в пресловутый Грейнбол. Полгода спустя Рита написала тамошнему доктору. Тот ответил, что «Джек Гумбертсон» — как незнакомца безвкусно прозвали — все еще не вошел в сношение со своим прошлым. О, Мнемозина, сладчайшая и зазорнейшая из муз!

Я бы не отметил этого случая, если бы с него не начался ход мыслей, в результате коих я напечатал в ученом журнале «Кантрип», что по-шотландски значит «колдовство», этюд, озаглавленный «Мимир и Мнемозина», в котором я наметил теорию (показавшуюся оригинальной и значительной благосклонным читателям этого великолепного ежемесячника) «перцепционного времени», основанную на «чувстве кровообращения» и концепционально зависящую (очень кратко говоря) от особых свойств нашего разума, сознающего не только вещественный мир, но и собственную сущность, отчего устанавливается постоянное взаимоотношение между двумя пунктами: будущим (которое можно складировать) и прошлым (уже отправленным на склад). Одним из последствий появления этой статьи, завершившей ряд прежних моих работ, тоже не прошедших незаметно, было приглашение на один год в Кантрипский Университет, отстоявший на четыреста миль от Нью-Йорка, где мы с Ритой снимали квартиру с видом на глянцевитые тела мальчиков и девочек, игравших под дубами, далеко внизу, в водометной дубраве Центрального Парка. В Кантрипе я прожил, в специальных апартаментах для поэтов и философов, с октября 1951 года до июня 1952-го, между тем как Рита, которую я предпочитал не показывать, прозябала — кажется, не очень благопристойно — в пришоссейной гостинице, где я ее навещал два раза в неделю. Затем она исчезла, но менее бесчеловечно, чем ее предшественница: через месяц я нашел ее в Кантрипской тюрьме. Она держалась с большим достоинством, лишилась червеобразного отростка в тюремной больнице и поклялась мне довольно убедительно, что дивный голубой мех, который, по словам некоей важной дамы, миссис Мак-Крум, она у нее украла, был на самом деле подарком, сделанным ей с большой непосредственностью несколько подвыпившим мистером Мак-Крумом. Я смог вытащить ее оттуда без того, чтобы обратиться к ее нервному брату, и вскоре после этого мы вернулись с ней в Нью-Йорк, опять на западную сторону Центрального Парка, заглянув по дороге в Брайсланд, через который, впрочем, Рита и я уже проезжали в предыдущем году.

Меня тогда охватило непреодолимое желание восстановить мое пребывание там с Лолитой. Утратив всякую надежду выследить беглянку и ее похитителя, я вступил в новую фазу существования: я теперь пытался ухватиться за старые декорации и спасти хотя бы гербарий прошлого: *souvenir, souvenir, que me veux-tu?* [\[122\]](#) Верлэновская осень звенела в воздухе, как бы хрустальном. В ответ на открытку с просьбой резервировать номер с двумя кроватями и ванной профессор Гамбургер немедленно получил учтивый отказ. Все было, мол, занято. Оставалась одна подвальная комната без ванной с четырьмя кроватями, но она вряд ли бы мне подошла. Вот заголовок их почтовой бумаги:

ВСЕ НАПИТКИ

(кроме спиртных)

ЦЕРКВИ

на удобном расстоянии для верующих

СОБАКИ

не допускаются

Я усомнился в истине первого заявления. Все? Подавался ли там гренадин, например, как в тротуарных кофейнях Европы? Меня также интересовало, не отдал ли бы охотник, зачарованный или нормальный, место в церкви за пса — и тут я вдруг вспомнил, со спазмой боли, сцену, достойную большого художника: *Petite Nymphe Assroupie* [\[123\]](#); но этот шелковистый кокер-спаньель был, возможно, крещеный. Нет — я не чувствовал себя в силах выдержать мучительное посещение знакомого холла. В мягком, пыльно-окрашенном, осеннем Брайсланде таились другие возможности воскресить былое. Оставив Риту в ближайшем баре, я отправился в городскую библиотеку. Чирикающая старая дева с величайшей готовностью помогла мне найти середину августа 1947 года в переплетенном комплекте «Брайсландского Вестника», и вот я уже сидел в уединенном углу под голой лампочкой и переворачивал огромные и хрупкие страницы тома, черного, как гроб, и едва ли не крупнее самой Лолиты.

Читатель! Брудер! Каким глупым Гомбургом был этот Гомельбург! Так как его сверхчувствительная природа страшилась действительности, он считал возможным насладиться, по крайней мере, кусочком ее — что напоминает, как десятый или двадцатый Фриц или Иван в терпеливом хвосте насильников прикрывает белое лицо женщины ее же черной шалью, чтобы не видеть ее невозможных глаз, пока наконец добывает свою солдатскую радость в угрюмом, разграбленном поселке. Мне же хотелось добыть в напечатанном виде снимок, случайно запечатлевший мой посторонний образ в ту минуту, когда фотограф от «Брайсландского Вестника» сосредоточивался на д-ре Брамбле и его группе. Страстно мечталось мне, чтобы сохранился Портрет Неизвестного Изверга. Невинный аппарат, поймавший меня на темном моем пути к ложу Лолиты, — вот тема для Мнемозины! Тщетно пытаюсь объяснить сущность этого позыва. Его можно, пожалуй, сравнить с тем обморочным любопытством, которое заставляет нас вооружиться увеличительным стеклом, чтобы рассмотреть хмурые фигурки (в общем, натюр морт — и всех сейчас вырвет) собравшихся ранним утром у плахи, — но выражение лица пациента все-таки никак не разобрать на снимке. Как бы то ни было, я буквально задыхался, и один угол фолианта рока все бодал меня в брюхо, пока я листал и летал по листам глазами. В воскресенье, 24-го, в одном из двух местных кинематографов шел фильм «Одержимые», а в другом — «Грубая Сила». Мистер Пурдом, независимый табачный аукционист, говорил, что с 1925 года он курит только «Омэн Фаустум». Рослый Росс, футболист, и его миниатюрная невеста были на вечере у миссис Гумберт Перрибой, 58, Эраннис Авеню. Существует паразит, величина которого составляет целую одну шестую часть организма, вменившего его. Дюнкерк был впервые укреплен в десятом веке. Белые носки для барышен, 39 центов; спортивные оксфордские башмачки, 3 доллара 98 центов. Вино, вино, вино, изрек автор «Темного Возраста», который не разрешил нашему фотографу снять его, подходит, может быть, персидскому буль-булю, но я всегда говорю, что дождь, дождь, дождь, стучащий по гонтовой крыше, лучший друг роз и вдохновения. Так называемые «ямочки» происходят от прирастания кожи к более глубоко лежащим тканям. Греки отразили сильную партизанскую

атаку. Ах, наконец: абрис девочки в белом и пастор Брэддок в черном; но, если и касалось мимоходом его дородного корпуса чье-то призрачное плечо, ничего относящегося до меня я узнать тут не мог.

Поразительный паразит пошел за Ритой в бар. С той грустной улыбкой, которая появлялась у нее на лице от избытка алкоголя, она представила меня агрессивно-пьяному старику, говоря, что он — запамятовала вашу фамилию, дорогуша — учился с ней в одной школе. Он дерзко попробовал задержать ее, и в последовавшей потасовке я больно ушиб большой палец об его весьма твердую голову. Затем мне пришлось некоторое время прогуливать и проветривать Риту в раскрашенном осенью парке Зачарованных Охотников. Она всхлипывала и повторяла, что скоро, скоро я брошу ее, как все в жизни ее бросали, и я спел ей вполголоса задумчивую французскую балладу и сочинил альбомный стишок ей в забаву:

Палитра кленов в озере, как рана,
Отражена. Ведет их на убой
В багряном одеянии Диана
Перед гостиницею голубой.

Она спросила: «Но почему голубой, когда она белая? Почему — Господи Боже мой...» — и зарыдала снова. Я решительно повел ее к автомобилю. Мы продолжали наш путь в Нью-Йорк, и там она опять зажила в меру счастливо, прохладаясь под дымчатой синевой посреди нашей маленькой террасы на тридцатом этаже. Замечаю, что каким-то образом у меня безнадежно спутались два разных эпизода — мое посещение Брайсландской библиотеки на обратном пути в Нью-Йорк и прогулка в парке на переднем пути в Кантрип, но подобным смешением смазанных красок не должен брезговать художник-мнемозинист.

Почтовый ящик с моим именем, в вестибюле дома, позволял получателю разглядеть сквозь застекленную щель кое-что из того, что всунул туда почтальон. Уже несколько раз случалось, что арлекинская игра света, упавшего сквозь стекло на чей-нибудь почерк, так искажала его, что получалось сходство с Лолитиной рукой, и это приводило меня в состояние чуть ли не обморока, так что приходилось прислоняться к ближней урне, — едва не оказывавшейся моей. Всякий раз, что это случалось, всякий раз, что на миг привидевшиеся мне любимые, петлистые, детские каракули превращались опять, с отвратительной простотой, в скучный почерк одного из немногих моих или Ритиных корреспондентов, я вспоминал, с болезненной усмешкой, далекое мое, доверчивое, Додолоресовое бывшее, когда я бывал обманут драгоценно освещенным окном, за которым высматривало мое рыщущее око — неусыпный перископ постыдного порока — полуголю, застывшую, как на киноплёнке, нимфетку с длинными волосами Алисы в Стране Чудес (маленькой прелестницы более счастливого собрата), которые она как раз, по-видимому, начинала или кончала расчесывать. От совершенства огненного видения становилось совершенным и мое дикое блаженство — ибо видение находилось вне досягаемости, и потому блаженству не могло помешать сознание запрета, тяготевшее над достижимым. Кто знает, может быть, истинная сущность моего «извращения» зависит не столько от прямого обаяния прозрачной, чистой, юной, запретной, волшебной красоты девочек, сколько от сознания пленительной неуязвимости положения, при котором бесконечные совершенства заполняют пробел между тем немногим, что дарится, и

всем тем, что обещается, всем тем, что таится в дивных красках несбыточных бездн. Mes fenêtres!^[124] Повисая между закатными облаками и приливающей ночью, скрежеща зубами, я собирал и притискивал всех демонов моей страсти к перилам уже пульсирующего балкона: еще миг, и он снимется — прямо в абрикосовую мглу влажного веера; он снимался — после чего, бывало, освещенный облик в дальнем окне сдвигался, — и Ева опять превращалась в ребро, которое опять обрастало плотью, и ничего в окне уже не было, кроме наполовину раздетого мужлана, читающего газету.

Так как мне все-таки иногда удавалось выиграть гонку между вымыслом и действительностью, то я готов был примириться с обманом. С чем я отказывался примириться — это с вмешательством мучителя-случая, лишавшего меня предназначенной мне улады. «Savez-vous qu'à dix ans ma petite était folle de vous?»^[125] — сказала мне дама, с которой я как-то разговорился на чае в Париже, — а малютка успела выйти замуж и жила где-то за тридевять земель, и я не мог даже припомнить, заметил ли я ее некогда в том саду, на террасе теннисного клуба, около укромного грота. И вот теперь совершенно так же, случай (а также и некоторая перемена в уменьшившемся и как бы поблекшем почерке моей любимой) отказал мне в предварительном взгляде сквозь сияющее стекло щели, в этом предвкушении и обещании — обещании, которое не только так соблазнительно симулировалось, но должно было быть благородно выполненным. Как видите, моя фантазия подвергалась Прустовским пыткам на прокрустовом ложе, — ибо в то утро, 22-го сентября 1952-го года, когда я спустился за почтой, чистенько одетый и весьма желчный швейцар, с которым я был в отвратительных отношениях, начал меня корить за то, что недавно какой-то Ритин собутыльник, провожая ее домой, «заблевал как собака» ступени подъезда. Пока я слушал его и давал ему на чай, а затем слушал вторую, более учтивую версию происшествия, я смутно подумал, что одно из двух писем, пришедших с той благословенной почтой, — верно, от Ритиной матери, довольно неуравновешенной дамочки, которую мы однажды посетили на Кэйп Коде и которая с тех пор, в частых письмах — пересылаемых с постоянного адреса моей Нью-Йоркской конторы в различные места моего пребывания — все говорила мне, как удивительно ее дочь и я подходим друг дружке и как чудно было бы, если мы бы женились; другое письмо, которое я вскрыл и быстро просмотрел в лифте, было от Джона Фарло.

Я часто замечал, что мы склонны наделять наших друзей той устойчивостью свойств и судьбы, которую приобретают литературные герои в уме у читателя. Сколько бы раз мы ни открыли «Короля Лира», никогда мы не застанем доброго старца забывшим все горести и подымавшим заздравную чашу на большом семейном пиру со всеми тремя дочерьми и их комнатными собачками. Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня N. Никогда не поправится Эмма Бовари, спасенная симпатическими солями в своевременной слезе отца автора. Через какую бы эволюцию тот или другой известный персонаж ни прошел между эпиграфом и концом книги, его судьба установлена в наших мыслях о нем; и точно так же мы ожидаем, чтобы наши приятели следовали той или другой логической и общепринятой программе, нами для них предначертанной. Так, Икс никогда не сочинит того бессмертного музыкального произведения, которое так резко противоречило бы посредственным симфониям, к которым он нас приучил. Игрек никогда не совершит убийства. Ни при каких обстоятельствах Зет нас не предаст. У нас все это распределено по графам, и чем реже мы выдаемся с данным лицом, тем приятнее убеждаться, при всяком упоминании о нем, в том, как послушно он подчиняется нашему представлению о нем. Всякое отклонение от выработанных нами судеб кажется нам не только ненормальным, но и нечестным. Мы бы предпочли никогда прежде не знать соседа — отставного торговца сосисками, — если бы оказалось, что он только что выпустил сборник стихов, не превзойденных никем в этом веке.

Говорю все это, чтобы объяснить, как сбило меня с толку истерическое письмо от Джона Фарло. Я знал о смерти его жены, — но я, конечно, ожидал, что безутешный вдовец останется до конца жизни тем скучноватым, чопорным и положительным человеком, каким он всегда был. Теперь он мне писал, что после короткого пребывания в Соединенных Штатах он вернулся в Южную Америку и решил передать все дела, которыми он управлял в Рамздэле, одному из тамошних адвокатов, Джеку Виндмюллеру, общему нашему знакомому. Особенно он, казалось, рад был освободиться от «Гейзовских осложнений». Он только что женился на испанке. Его вес увеличился на тридцать фунтов с тех пор, как он бросил курить. Совсем молоденькая жена была лыжной чемпионкой. Они собирались провести медовый месяц в Индии. Так как он намеревался посвятить себя, как он выражался, «интенсивному производству семейных единиц», он не мог уж находить время, чтобы заниматься моими делами, которые он считал «очень странными и довольно раздражительными». От каких-то людей, любящих всюду совать нос — и образовавших, по-видимому, целый комитет с этой целью, — он получил сообщение о том, что местожительство маленькой Долли Гейз окружено тайной, а что сам я живу «с известной в некоторых кругах разводкой» в Южной Калифорнии. Отец его жены был граф и крупный богач. Семья, нанимавшая в продолжение последних пяти лет Гейзовский дом, теперь желала его купить. Он советовал мне предъявить пропавшую девочку немедленно. Он сломал себе ногу. К письму был приложен цветной снимок Джона, еще целого, и смуглой брюнеточки в белой шерсти. Они сладко улыбались друг дружке среди синих снегов Чили.

Помню, как я вошел к себе в квартиру и вслух подумал: что же, теперь по крайней мере мы выследим — как вдруг второе письмо заговорило со мной деловитым голоском:

Дорогой Папа,

Как поживаешь? Я замужем. Я жду ребенка. Думаю, что он будет огромный. Думаю, что он поспеет как раз к Рождеству. Мне тяжело писать это письмо. Я схожу с ума, оттого что нам не на что разделаться с долгами и выбраться отсюда. Дику обещана чудная служба в Аляске, по его очень узкой специальности в механике, вот все, что я знаю об этом, но перспективы просто замечательные. Прошу прощения, что не даю домашнего адреса, но я боюсь, что ты все еще страшно сердишься на меня, а Дик не должен ничего знать. Ну и городок тут. Не видать кретинов из-за копоты. Пожалуйста, пришли нам чек, папа. Мы бы обошлись тремя- или четырьмястами, или даже меньше, за любую сумму спасибо, ты мог бы, например, продать мои старые вещи, потому что, как только доедем до Аляски, деньжата так и посыплются. Напиши мне, пожалуйста. Я узнала много печали и лишений.

Твоя ожидающая,

Долли (Миссис Ричард Ф. Скиллер).

Я опять находился в пути, опять сидел за рулем старого синего седана, опять был один. Когда я читал письмо, когда боролся с исполинской мукой, которую оно во мне возбуждало, Рита еще спала мертвым сном. Я взглянул на нее: она улыбалась во сне. Поцеловал ее в мокрый лоб и навсегда покинул: на днях бедняжка хотела меня навестить тут, но я не принимаю выходцев с того (для вас «этого») света. Нежную прощальную записку я прилепил пластырем к ее пупочку — иначе она, пожалуй, не нашла бы ее.

Я написал «один»? Нет, не совсем. При мне состоял черный дружок, и, как только я нашел

уединенное место, я без трепета отрепетировал насильственную смерть мистера Ричарда Ф. Скиллера. В багажном отделении автомобиля — неиссякаемом в смысле сокровищ — я нашел свой самый старый и самый грязный свитер, и его-то я повесил на сук, в безответной роще, куда меня привела лесная дорога, отделившаяся от шоссе. Выполнение приговора было подпорчено каким-то затором в действии гашетки. Мало мне понятный предмет у меня в руке, вероятно, нуждался в смазке, но я не хотел терять время. Обратно в автомобиль пошел серый мертвый свитер с добавочными дырками в разных местах; и, снова зарядив теплого еще друга, я продолжал путешествие.

Письмо было от сентября 18, 1952 года, и адрес, который она давала, был «До востребования, Коулмонт» (не в Виргинии, и не в Пенсильвании, и не в Теннесси — и вообще не «Коулмонт» — я все замаскировал, моя любовь). Выяснилось, что это торговый городишко в восьмистах милях на юг от Нью-Йорка. Я решил было ехать без остановки, но не дотянул и на заре заехал отдохнуть в мотель недалеко от Коулмонта. Я был уверен почему-то, что этот Скиллер в свое время торговал подержанными автомобилями и, может быть, тогда познакомился с моей Лолитой, когда подвез ее в окрестностях Бердслея — в тот день, например, когда у нее лопнула шина по дороге на урок музыки; впоследствии он, видимо, попал в какую-то беду. Труп казненного свитера, лежавший на заднем сидении, все норовил — как бы я ни располагал его складки — обнаружить разные очертания, относившиеся к Траппу-Скиллеру, к вульгарности и похабной добротности его тела, и, с целью нейтрализовать его грубый и порочный вкус, я решил привести себя в особенно изящный вид — проснулся с этой мыслью и успел придавить стерженек будильника, не дав ему взорваться в наставленный час. Затем со строгой и романтической тщательностью человека, собирающегося на дуэль, я проверил, в порядке ли бумаги, выкупался, надушился, побрил лицо и грудь, выбрал шелковую рубашку и чистые подштанники, натянул прозрачно-темные носки и поздравил себя с тем, что захватил в сундуке кое-какие весьма щегольские вещи — например, замшевый жилет с перламутровыми пуговицами и бледный кашемировый галстук.

Мне не удалось, увы, удержать в себе завтрак, но я отнесся хладнокровно к этой пустяковой беде, вытер рот батистовым платочком, вынутым из рукава, по английской моде, и с глыбой синего льда вместо сердца, таблеткой на языке и увесистой смертью в заднем кармане ловко вступил в телефонную будку в Коулмонте (Ах-ах-ах, произнесла складная дверца) и набрал номер единственного Скиллера в потрепанной книжке: Скиллер, Поль, Мебель. Хриплый Поль ответил, что Ричард существует, что это его племянник, а живет он — сейчас посмотрю — Улица Киллера, номер десять (все это, конечно, первые попавшиеся псевдонимы). Ах-ах-ах, проговорила дверца.

Номер десять по Киллеровской улице оказался запущенным многоквартирным домом. Я проинтервьюировал нескольких унылых стариков и двух длинноволосых, розово-русых, невероятно грязных нимфеточек. (Признаюсь, что поглядывал, довольно рассеянно, просто так, — намечая легко одетую девочку, которую бы мог прижать к себе на минуту, когда покончу с убийством и все станет все равно, и никаких запретов уже не будет.) Да, действительно, Дик Скиллер жил тут одно время, но съехал, когда женился. Никто не мог дать мне его новый адрес. «Может, в лавке знают», сказал низкий голос из дыры в панели (что-то там чинили) около того места, где я случайно остановился, разговаривая с двумя туманными старухами и скользя взглядом по тонким голым рукам их босоногих внучек. Я попал не в ту лавку, и осторожный седой негр покачал отрицательно головой, даже до того как я спросил что-либо. Перейдя улицу, я вошел в мизерный лабаз, и там вызванный по моей просьбе покупателем дух женщины громко ответил из подвальной бездны (повторившей тему мужского духа в панельной дыре): «Улица Гунтера, последний дом».

Улица Гунтера находилась очень далеко, на совсем уже безнадежной окраине, в мире высоких мусорных куч и глубоких канав, червивых огородиков и кривых лачуг, серой мороси и красной глины, да каких-то фабричных труб, дымившихся в отдалении. Я остановился у «последнего дома» — сколоченной из досок лачуги, за которой, в стороне от дороги, виднелось еще две-три таких же хижины и широкий пустырь, весь в поблеклых сорняках. Из-за домишки доносился стук молотка, и несколько минут я сидел в своей старой машине, сам старый и непрочный, в конце своего долгого пути, у серой цели, finis, друзья, finis, злодеи. Было около двух часов дня. Пульс был то сорок, то сто. Мелкий дождь шелестел об капот Икара. Пистолет переместился в правый карман штанов. Лохматая дворняга с мокрой от грязи шерстью, висящей с брюха, вышла из-за дома, остановилась в недоумении и затем принялась благодушно гуф-гуфкать на меня, жмурясь и дергая вверх нос; перестала, погуляла кругом да около, да разок опять гуфнула.

Я вышел из автомобиля и захлопнул за собой дверцу. Как прозаично, как прямолинейно прозвучал этот хлопок в пустоте бессолнечного дня! «Гуф», почел нужным комментировать пес. Я нажал на кнопку звонка; его вибрация прошла по всему моему составу. Personne: никого. Je resonne, gerpersonne: звоню вновь, никовновь. Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор? «Гуф», вставила собака. Порывистое приближение, шарканье и шум (гуф) распахнувшейся двери.

Выросла дюйма на два. Очки в розовой оправе. По-новому высоко зачесанные волосы, новые уши. Как просто! Этот миг, эта смерть — все, что я вызывал в воображении свыше трех лет, все вдруг оказалось простым и сухим, как щепка. Она была откровенно и неимоверно брюхата. Лицо ее как будто уменьшилось (всего прошло две секунды, но хочу им придать столько деревянной продолжительности, сколько жизнь может выдержать); побледнели веснушки, впали щеки; обнаженные руки и голени утратили весь свой загар, так что стали заметны на них волоски; она была в коричневом бумажном платье без рукавов и войлочных шлепанцах.

«Господи!» выдохнула она после паузы, со всей полнотой изумления и радушия.

Не вынимая кулака из кармана, я каркнул: «Муж дома?»

Убить ее, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил ее. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда.

«Входи», сказала она с веселой силой. Прижавшись к расщепливающемуся мертвому дереву двери, Долли Скиллер попыталась, поскольку могла, распластаться (причем даже приподнялась на цыпочки), чтобы дать мне пройти, и мгновение так стояла, распятая, глядя вниз, улыбаясь порогу, со впалыми щеками и округлыми скулами, с белыми, как разбавленное молоко, руками, вытянутыми по дереву. Я прошел, не задев выпуклости ее ребенка. Знакомое тепло Долли — с легкой примесью кухни. У меня зубы стучали, как у остолопа. «О нет, ты останешься снаружи» (к собаке). Она затворила дверь и последовала за мной и за своим брюхом в бедную, кукольного образца, комнату.

«Дик вон там», сказала она, указывая невидимой теннисной ракетой и приглашая меня пропутешествовать взглядом через эту комнату, служившую и гостиной и спальней, а затем через кухоньку и сквозь пройму задней двери к тому месту, где, видимый в довольно примитивной перспективе, черноволосый молодой незнакомец в рабочем комбинезоне (казнь его я немедленно отменил) стоял спиной ко мне на лесенке, что-то приколачивая к лачуге соседа, более мясистого, чем он, парня (но с одной только рукой), который смотрел на него

снизу.

Эту картину в раме дальней двери она объяснила извинительным вздохом («мужчины, мол, любят строить») и спросила, позвать ли мужа.

Нет.

Стоя посреди слегка наклонного пола и производя маленькие вопросительные звуки, она проделала знакомые явайские жесты кистями рук и пальцами, предлагая мне этой схемой шутиливой учтивости выбрать между качалкой и диваном (их постелью в ночные часы). Говорю «знакомые», ибо однажды она пригласила меня с таким же «танцем рук» в бердслейскую нашу гостиную, когда происходила там ее вечеринка. Мы оба присели на диван. Любопытно: хотя в сущности ее красота увяла, мне стало ясно только теперь — в этот безнадежно поздний час жизненного дня — как она похожа — как всегда была похожа — на рыжеватую Венеру Боттичелли — тот же мягкий нос, та же дымчатая прелесть. В глубине кармана мои пальцы тихонько выпустили, только чуточку подтолкнув его поглубже в платок, в котором он ютился, мой неупотребленный кольт.

«Это не тот, который мне нужен», сказал я.

Расплывчатое выражение радушия ушло из ее глаз. Ее лоб наморщился, как в старые, горькие дни:

«Какой — тот?»

«Где он? Живо!»

«Слушай», сказала она, склонив набок голову и тряся ею в таком положении: «Слушай, ты не будешь начинать все это снова».

«Очень даже буду», сказал я, и в продолжение минуты (как ни странно, это оказалось единственной благодатной, приемлемой минутой за все наше свидание) мы смотрели друг на дружку, ошетилившись, словно она все еще была моя.

Как умная девочка, она первая овладела собой.

Из ее последующих слов выяснилось, что Дик ничего не знал обо всей этой истории. Он думал, что она моя дочь. Он думал, что она родилась в знатной семье и убежала из дому ради того, чтобы мыть посуду в трактире. Он всему верил. Зачем осложнять и так трудное положение, зачем разгребать всю эту грязь?

Я возразил, что ей полагается быть благоразумной, полагается быть очень благоразумной девочкой (с таким голым барабаном под тонкой коричневой материей), ибо, если она рассчитывает на помощь, которую я собирался оказать, то должна понять, что мне нужно знать все.

«Ну-ка, пожалуйста: его имя!»

Как — она думала, что я давно угадал...

Это было *такое* (тут она улыбнулась лукаво и грустно) сенсационное имя, что я просто никогда не поверю. Она сама едва может поверить.

— Имя его, моя осенняя нимфа.

Ах, это было уже так не важно. Лучше оставить этот разговор.

Не хочу ли курить?

— Нет. Его имя.

Покачала головой чрезвычайно решительно. Считала, что уже поздно устраивать скандал — и что все равно я никогда не поверю невероятному, невероятнейшему. —

Я встал, говоря, что мне пора, привет мужу, приятно было повидать ее.

Сказала, что я напрасно настаиваю — никогда она его не назовет... но что с другой стороны... в конце концов...

«Ты действительно хочешь знать, кто это был? Так вот, это был —».

И тихонько, конфиденциально, высоко подняв узкие брови и выпятив запекшиеся губы, она с легкой иронией, но не без нежности, и как бы издавая приглушенный свист, произнесла имя, которое проницательный читатель давно уже угадал.

Уотерпруф, сказала Шарлотта. Почему ничтожное воспоминание о летнем дне на озере мелькнуло у меня в памяти? Я тоже давно угадал это имя, но только подсознательно, не отдавая себе в этом отчета. Теперь я не испытал ни боли, ни удивления. Спокойно произошло слияние, все попало на свое место, и получился, как на составной картине-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод; да, с определенным и порочным расчетом (она еще говорила, но я не слушал, погруженный в золотой покой) выразить свой золотой и чудовищный покой через то логическое удовлетворение, которое мой самый недружелюбный читатель должен теперь испытать.

Она, как я сказал, все еще говорила. Я наконец включился в ее свободно полившуюся речь. Он, оказывается, был единственный мужчина, которого она безумно любила. Позволь — а Дик? Ах, Дик — чудный, полное супружеское счастье и все такое, но она не это имела в виду. А я — я был, конечно, не в счет?

Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний, чуждый всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном пиджаке когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш бедненький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник, на который явились только самые неинтересные люди, как надоевшее упражнение, как корка засохшей грязи, приставшей к ее детству.

Я только-только успел судорожным движением убрать колено из радиуса действия схематического тычка — одного из ее новоприобретенных жестов.

Попросила меня не говорить глупостей. Что прошло, то прошло. Признавала, что в общем я был хорошим отцом, — отдавая мне долг хоть в этом. Продолжай, Долли Скиллер.

Знал ли я, например, что он был знаком с ее матерью? Что он даже считался давним другом семьи? Что он приезжал к своему дяде в Рамздэль — ах, очень давно — и выступал с лекцией в клубе у мамы, и вдруг загреб ее и потащил ее, Долли, за голую руку к себе на колени в присутствии всех этих дам, и расцеловал ее, а ей было всего десять лет, и она очень на него рассердилась? Знал ли я, что он заметил меня и ее в той гостинице каких-то охотников, где он писал *ту самую* пьесу — да «зачарованных», — которую она репетировала в Бердслее два года спустя? Что он ей говорил невозможные вещи внизу в холле? Знал ли я, что — Ах, это было так гадко с ее стороны запутать меня и заставить поверить, что Клэр пожилая дама — родственница его, что ли, или бывшая подруга жизни — и, батюшки, как легко было попасться, когда газета в Уэйсе напечатала его портрет!

В Брайсландской газете портрета не было. В самом деле, очень забавно.

— Да (продолжала она), жизнь — серия комических номеров. Если бы романист описал судьбу Долли, никто бы ему не поверил.

Тут донеслись бодрые, домашние звуки со стороны кухни, в которую Дик и Билль ввалились в поисках пива. В открытую дверь они увидели гостя, и Дик вошел в комнату.

«Дик, это мой папа!» крикнула Долли звонким, напряженным голосом, показавшимся мне совершенно диким, и новым, и радостным, и старым, и грустным, ибо молодой человек, ветеран далекой войны, был почти совершенно глух.

Морского цвета глаза, черный ежик, румяные щеки, небритый подбородок. Мы обменялись

рукопожатием. Дискретный Билль, — который, видимо, гордился тем, что мог творить чудеса одной рукой, — принес открытые им жестянки пива. Хотел отретироваться. Преувеличенная вежливость пролетария. Его заставили остаться. Семейная картина на рекламе пива. В сущности и я и Скиллеры предпочитали компанию. Я пересел в нервно заходившую качалку. Жадно жуя, беременная Долли угощала меня алтейными лепешками, арахисовыми орешками и картофельным хворостом. Мужчины поглядывали на ее хрупкого, зябкого, миниатюрного, старосветского, моложавого, но болезненного отца в бархатном пиджаке и бежевом жилете: быть может, виконт.

У них создалось впечатление, что я приехал к ним на несколько дней, и Дик, сильно морща лоб, что означало напряженную работу мысли, предложил, что Долли и он могут спать на кухне, разложив там запасной матрац. Я легонько помахал рукой и объяснил Долли (которая передала это дальше посредством особого раската голоса), что я просто заехал на часок по дороге в Лектобург, где меня ожидают друзья и поклонники. Тут мы заметили кровь на одном из немногих больших пальцев, оставшихся у Билля (оказавшегося довольно неудачливым чудотворцем). Как было женственно, никогда раньше мной не виданное в таком преломлении, теневое раздвоение ее бледных грудей, наметившееся в разрезе платья, когда она склонилась над рукой калеки! Она повела его чиниться на кухню (ванной не было). В продолжение трех-четырех малых вечностей, которые прямо-таки набухали от искусственного тепла взаимных чувств, Дик и я оставались одни. Он сидел на стуле, потирая передние конечности и продолжая морщить лоб; у меня явилось праздное желание выжать угри на его потном носу моими длинными блестящими когтями. Мне понравились его хорошие грустные глаза и очень белые зубы. Менее привлекателен был его громадный, волосатый кадык. Почему они не бреются чаще, эти молодые ядреные парни? Он и его Долли имели безудержные половые сношения на этом диване по крайней мере сто восемьдесят раз с тех пор, как она зачала. А до того — как давно они знали друг друга? Странно — никакого недоброго чувства я к нему не испытывал; ничего, кроме страдания и отвращения. Он теперь тер нос. Я не сомневался, что когда он наконец откроет рот, то скажет (слегка трясая головой из стороны в сторону): «Эх, девчонка у вас первый сорт, мистер Гейз. Это уж верно. И матерью она тоже будет первосортной». Бедняга открыл рот — и отхлебнул пива. Это ему придало уверенности, и он продолжал пить маленькими глотками до пены у рта. Он был, сказала она, чудный. Он в ладони свои заключал ее флорентийские грудки. Ногти у него были черные и подломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная, изящная кисть были гораздо, гораздо благороднее, чем у меня. Я слишком много терзал человеческих жертв моими бедными искривленными руками, чтобы гордиться ими: французские фразы, крупные костяшки дорсетского крестьянина, приплюснутые пальцы австрийского портного — вот вам Гумберт Гумберт.

Ладно. Если он хочет молчать, я могу молчать тоже. Вообще говоря, не мешало бы мне отдохнуть в этой притихшей, до смерти испуганной качалке, до того как отправиться искать логовище зверя: там оттяну крайнюю плоть пистолета и упьюсь оргазмом спускового крючка — я всегда был верным последователем венского шамана. Но постепенно меня стала разбирать жалость к бедному Дику, которому, каким-то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать («Девчонка у вас первый сорт...»).

«Итак», сказал я, «вы собираетесь в Канаду?»

На кухне Долли смеялась чему-то сказанному или совершенному Биллем.

«Итак», заорал я, «вы собираетесь в Канаду? То есть, не в Канаду», заорал я опять. «Хочу сказать — в Аляску».

Он обхватил ладонями стакан и, с мудрым видом кивая, ответил: «Что же, я так полагаю,

что он поранил себя острым краем. Руку-то он потерял в Италии».

Дивные миндали в лиловато-розовом цвету. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в их пуантилистическом кармине, с маленькой цветочницей, нататуированной на тыльной стороне кисти. Долли и подклеенный Билль появились снова. Я мельком подумал, что ее двусмысленная красота, ее коричневым оттененная бледность, вероятно, возбуждают калеку. Дик, облегченно осклабясь, встал со стула. Он полагал, что Биллю и ему пора вернуться к работе над проволоками. Он полагал, что у мистера Гейза и Долли есть много о чем покалякать. Он полагал, что еще увидит меня до моего ухода. Почему эти люди так много полагают, и так мало бреются, и так презируют слуховые аппараты?

«Садись», сказала она, звучно ударив себя по бедрам. Я опять опустил в черную качалку.

«Итак, вернемся к делу. Ты, значит, предала меня. Куда вы поехали? Где он сейчас?»

Она взяла с камина глянцевитую вогнутую фоточку. Пожилая женщина в белом, толстая, сияющая, колченогая, в очень коротком платье; и мужчина в жилетке: моржовые усы, цепочка от часов. Родители мужа. Живут с семьей его брата в Джуно.

«Ты уверен, что не хочешь папироску?»

Она закурила. Я впервые видел ее курящей. Строго воспрещалось в царствование Гумберта Грозного. Плавно, в синеватой дымке, Шарлотта Гейз встала из гроба. Я, конечно, найду его без труда, через дядю-дантиста, если не скажет.

«Предала тебя? Нет». Она направила в камин стрелу папиросы, быстро постукивая по ней указательным пальцем, совершенно как это делала ее мать, и совершенно так же, Боже мой, ногтем соскребая частичку папиросной бумаги с нижней губы. Нет. Она меня не предавала. Все произошло по-дружески. Эдуза предупредила ее в свое время, что Ку не равнодушен к маленьким девочкам — его раз чуть ли не в тюрьму посадили, между прочим, и он знал, что она знает. Положив локоть на ладонь, затаилась, улыбнулась, выпустила дым, стрельнула опять в направлении камина. Погрузилась в воспоминания. Дело в том, что он видел насквозь (с улыбкой), всё и всех, потому что он не был как я или она, а был гений. Замечательный человек. И такой весельчак. Катался со смеху, когда она ему призналась в моих с ней отношениях, какое же тут предательство, раз было вполне безопасно ему рассказать?

«Ну, так вот. Ку — его все звали Ку —»

Так назывался, сокращенно, ее летний лагерь (Кувшинка). Забавное совпадение. Он, значит, повез ее на шикарное ранчо в трехстах милях от как его... Элефанта (Эльфин-стон). А как называлось ранчо? Ах, очень глупое название: Дук-Дук — ничего не значащее слово (ну, это положим)... но это, вообще, теперь все равно, так как место исчезло, испарилось. А какая была прелесть — я представить себе не могу феноменальную роскошь этого ранчо — там всё было, ну, просто всё — даже собственный водопад внутри дома! Я, может быть, помнил рыжего типа, с которым мы (мы!) как-то играли в теннис? Ранчо принадлежало, собственно, брату рыжего, но он его уступил Ку на лето. Когда Ку с ней приехал, им устроили нечто вроде коронации, а потом взяли и бросили в бассейн, чуть не утопили, как делают при переходе через экватор. Ну, ты знаешь...

Закатила глаза в знак искусственной покорности судьбе.

«Пожалуйста, дальше».

Ну, так вот. Предполагалось, что он повезет ее в сентябре в Холливуд — посмотреть, годится ли она для эпизодической роли в фильме, основанном на его пьесе «Золотые Струны». Она надеялась даже, что ей дадут дублировать одну из знаменитейших актрисочек на клиговым светом ослепительно облитом теннисном корте. Увы, до этого никогда не дошло.

«Где теперь находится негодяй?»

Почему — негодяй? Замечательный человек во многих смыслах. Но там в ранчо жизнь

состояла сплошь из пьянства и наркотиков. И, конечно, он был совершенный монстр в половом отношении, и его друзья были его рабами. Я не могу себе представить (я, Гумберт, не могу себе представить!), какими вещами все они занимались в Дук-Дуковом Ранчо. Она наотрез отказалась принимать в этом участие, и он ее прогнал.

«Какие вещи?»

«Ах, странные, поганые, фантастические вещи. Видишь ли, у него там были и девочки, и мальчики, и несколько взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы Бог знает что проделывали все вместе в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку». (Жюстине маркиза де Сада было вначале двенадцать лет.)

«Что именно — проделывали?»

«Ах, гадости... Ах я, нет, право же, я...» (Она произнесла это «я» как сдавленный крик, прислушиваясь к источнику тягучей боли, и за неимением слов растопырила все пять пальцев угловато разрезающей воздух руки.) Нет — не могла, отказывалась подробнее объяснить в присутствии ребенка, которого несла.

Что ж, ее дело.

«Да и какое это имеет значение теперь», сказала она, кулаком уминая подушку и затем поворачиваясь животом вверх на диване. «Дикие вещи, грязные вещи. Я сказала — нет, ни за что не стану — (она наивно употребила непечатный вульгаризм для обозначения прихоти, хорошо известной нам обоим) твоих мерзких мальчишек, потому что мне нужен только ты. Вот и вышвырнул он меня».

Оставалось немного досказать. В ту зиму (1949–1950) Фэй и она тяжелым трудом зарабатывали на жизнь. В течение двух лет она переходила с места на место, работая в маленьких пришоссейных ресторанах, а потом встретила Дика. Нет, она не знала, где находится тот. Вероятно, где-нибудь в Нью-Йорке. При его знаменитости, она, разумеется, легко бы его нашла, если бы захотела. Фэй попробовала вернуться в ранчо, но оно просто не существовало больше — сгорело дотла, *ничего* не оставалось, только черная куча мусора. Это ей показалось так странно, так странно...

Что ж, у Мак-Ку было тоже похожее имя, и тоже сгорел дом.

Она прикрыла глаза и разинула рот, откинувшись назад на подушку и опустив одну байковую ножку на пол. Пол шел слегка под уклон, стальной шарик докатился бы прямо до кухни. Я знал теперь все, что мне нужно было знать. В мои намерения не входило терзать мою милочку. Где-то за лачугой Билля радио запело после трудового дня о безумной, обреченной любви, и вот она была передо мной, уже потрепанная, с уже не детскими вспухшими жилами на узких руках, с гусиными пупырышками на бледной коже предплечьев, с неёмкими «обезьяньими» ушами, с небритыми подмышками, вот она полулежала передо мной (моя Лолита!), безнадежно увядшая в семнадцать лет, с этим младенцем в ней, уже мечтающим стать, небось, большим заправилкой и выйти в отставку в 2020-ом году, — и я глядел, и не мог наглядеться, и знал — столь же твердо, как то, что умру, — что я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том. От нее оставалось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки, на которую я наваливался с такими криками в прошлом; эхо на краю красного оврага, с далеким лесом под белесым небом, с бурыми листьями, запрудившими ручей, с одним последним сверчком в сухом бурьяне... Но, слава Богу, я боготворил не только эхо. Грех, который я, бывало, лелеял в спутанных лозах сердца, *mon grand réché radieux*^[126], сократился до своей сущности: до бесплодного и эгоистического порока; и его-то я вычеркивал и проклинал. Вы можете глумиться надо мной и грозить очистить зал суда, но, пока мне не вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю

свою Лолиту, *эту* Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все еще Карменситу, все еще мою, мою... Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés.^[127] Огайо? Дебри Массачусетса? Мерри Мэй? Все равно, даже если эти ее глаза потускнеют до рыбьей близорукости и сосцы набухнут и потрескаются, а прелестное, молодое, замшевое устье осквернят и разорвут роды, — даже тогда я все еще буду с ума сходить от нежности при одном виде твоего дорогого, осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса, моя Лолита.

«Лолита», проговорил я, «это, может быть, бессмысленно и бесполезно, но я должен это сказать. Жизнь весьма коротка. Отсюда до старого автомобиля, который так хорошо тебе знаком, двадцать, двадцать пять шагов расстояния. Это очень небольшая прогулка. Сделай эти двадцать пять шагов. И будем жить-поживать до скончания века.

Carmen, voulez-vous venir avec moi?^[128]»

«Ты хочешь сказать», ответила она, открыв глаза и слегка приподнявшись (змея, собирающаяся ударить), «ты хочешь сказать, что дашь нам (нам!) денег, только если я пересплю с тобой в гостинице? Ты *это* хочешь сказать?»

«Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика, и эту страшную дыру и переехала ко мне — жить со мной, умереть со мной, всё, всё со мной» (даю общий смысл моих слов).

«Ты ненормальный», сказала она, по-детски гримасничая.

«Обдумай, Лолита. Никакой разницы не будет. Кроме — одной вещи, но это не важно (отмены казни, я хотел сказать, но не сказал). Во всяком случае, даже если ты откажешься, ты все равно получишь свое... trousseau^[129]».

«Ты не шутишь?» спросила Долли.

Я передал ей конверт с четырьмястами долларами и чеком на три тысячи шестьсот.

Неуверенно, с опаской, она приняла mon petit cadeau^[130], и вдруг лоб у нее залился очаровательной розовой краской.

«Погоди-ка», проговорила она с мучительной силой, «ты нам даешь *четыре тысячи монет?*»

Я прикрыл лицо рукой и разразился слезами — самыми горячими из всех пролитых мной. Я чувствовал, как они выются промеж моих пальцев и стекают по подбородку, и обжигают меня, и нос у меня был заложен, и я не мог перестать рыдать, и тут она прикоснулась к моей кисти.

«Я умру, если тронешь меня», сказал я. «Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдаленной надежды, что поедешь? Только на это ответь мне».

«Нет», сказала она, «нет, душка, нет». Первый раз в жизни она так ко мне обратилась.

«Нет», повторила она. «Об этом не может быть речи. Я бы, скорее, вернулась к Ку. Дело в том, что —»

Ей не хватило, видимо, слов. Я мысленно снабдил ее ими — («...он разбил мое сердце, *ты* всего лишь разбил мою жизнь»).

«Это так дивно», продолжала она, — упс! (конверт соскользнул с дивана на пол, она подняла его), «так невероятно дивно с твоей стороны... такую уйму денег! Это разрешает все вопросы. Мы можем выехать хоть на будущей неделе. Перестань плакать, прошу тебя! Ты должен понять. Позволь мне принести тебе еще пива? Ах, не плачь! Мне так жалко, что я так обманывала тебя, но ничего теперь не поделаешь».

Я вытер лицо и пальцы. Она улыбалась, глядя на cadeau. Она ликовала. Хотела позвать Дика. Я сказал, что через минуту мне будет пора уезжать и что совсем, совсем не хочу его видеть. Мы попробовали найти тему для разговора. Почему-то я все видел перед собой — образ

дрожал и шелковисто поблескивал на влажной сетчатке — яркую девочку двенадцати лет, сидящую на пороге и камушками звонко попадающую в пустую жестянку. Я уже начал говорить — в поисках небрежного замечания: «Интересно, что случилось с маленькой Мак-Ку — поправилась ли она?..» — но остановился вовремя, боясь, что она возразит: «Интересно, что случилось с маленькой Гейз?» В конце концов, пришлось вернуться к денежным вопросам. Переданный ей чек представлял собой чистый доход от сдачи материнского дома. Она удивилась — думала, что он давным-давно продан. Нет еще. (Я, впрочем, действительно это сказал ей в свое время, чтобы порвать всякую связь с Рамздэлем.) Поверенный скоро пришлет ей полный отчет о финансовом положении. Положение — отличное. Дом можно продать за приличную цену. Некоторые из недорогих акций, принадлежавших ее матери, необыкновенно поднялись. Нет, мне правда пора. Пора мне идти, и найти его, и его уничтожить.

Так как я знал, что не переживу прикосновения ее губ, я довольно долго отступал, как бы в жеманном танце, при каждом движении, которое она и ее брюхо делали в моем направлении.

Она и собака проводили меня. Меня удивило (нет, это риторический оборот — совсем удивило), что вид автомобиля, в котором она так много ездила и ребенком, и нимфеткой, никак на нее не подействовал. Заметила только, что он, мол, кое-где как-то полиловел от старости. Я сказал, что он принадлежит ей, что я могу взять автобус. Попросила меня не говорить глупостей, они отправятся на самолете на Юпитер или Юкон и там купят машину; я сказал, что в таком случае я покупаю у нее старый Икар за пятьсот долларов.

«Таким темпом мы будем скоро миллионерами!» воскликнула она, обращаясь к восторженно дышащей собаке, — которую они с собой не собирались брать.

Carmencita, lui demandais-je... [\[131\]](#)

«Одно последнее слово», сказал я на своем отвратительно правильном английском языке. «Ты ведь вполне уверена, что — ну, хорошо, не завтра и не послезавтра — но когда-нибудь, все равно когда, ты не приедешь ко мне жить? Я сотворю совершенно нового бога и стану благодарить его с пронзительными криками, если только ты подашь мне эту микроскопическую надежду» (общий смысл).

«Нет», ответила она, улыбаясь. «Нет».

«А меж тем это бы кое-что изменило», сказал Гумберт Гумберт.

Затем он вытащил пистолет... то есть, читатель ждет, может быть, от меня дурацкого книжного поступка. Мне же и в голову не могло это прийти.

«Гуд-бай-ай!» пропела она, моя американская, милая, бессмертная, мертвая любовь; ибо она мертва и бессмертна, если вы читаете эти строки (подразумеваю официальное соглашение с так называемыми властями).

Отъезжая, я слышал, как она раскатистым воплем звала своего Дика; собака же пустилась волнистым аллюром толстого дельфина сопровождать автомобиль, но была чересчур тяжела и стара и вскоре отстала.

День умирал, я уже катил по шоссе под мелким дождиком, и, как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами.

Покинув Коулмонт под вечер (по шоссе Икс — не помню номера), я бы мог доехать до Рамздэля на рассвете, если бы не соблазнился мнимым сокращением пути. Мне нужно было попасть на автостраду Игрек. Карта невозмутимо показывала, что сразу за Вудбайном, до которого я доезжал к ночи, я мог покинуть шоссе Икс и добраться до автострады по немощенной поперечной дороге. Ехать по ней надо было всего около часа (сорок миль). В противном случае

пришлось бы продолжать по шоссе Икс еще миль сто и только тогда воспользоваться петлистым, ленивым шоссе Зед, чтобы попасть на нужную мне автостраду.

Немощная дорога, однако, становилась все хуже, ухабы — все ужаснее, грязь — все гуще, и, когда после десяти миль подслеповатого, чертовского, черепашьего продвижения, я попытался повернуть вспять, мой старый, слабый Икар застрял в глубокой глине. Кругом было темно, все было напитано сыростью и безнадежностью. Мои фары повисали над широкой канавой, полной воды. Окрестность, если и существовала, сводилась к черной пустыне. Сколько я ни пытался высвободиться, мои задние колеса только выли в слякоти и тоске. Проклиная судьбу, я снял щегольской костюм, надел рабочие штаны, галоши, изрешеченный пулями свитер и обратно прошел по грязи мили четыре к придорожной ферме. Пока я шел, дождь полил как из ведра, но у меня не хватило сил вернуться за макинтошем. Подобные происшествия убедили меня, что у меня в сущности здоровое сердце — несмотря на недавние диагнозы. Около полуночи ремонтник вызволил мою машину. Я вернулся кое-как на шоссе Икс и покатил дальше. После часа езды на меня нашло крайнее изнеможение. Я остановился у тротуара в анонимном городишке и во мраке всласть насосался сладкого джина из верной фляги.

Дождь был давно отменен. Чернела теплая аппалачская ночь. Изредка проезжали мимо меня автомобили: удаляющиеся рубины, приближающиеся бриллианты; но городок спал. Не было на тротуарах той веселой толкучки прохлаждающихся граждан, какую видишь у нас по ночам в сладкой, спелой, гниющей Европе. Я один наслаждался тут благодетельностью невинной ночи и страшными своими думами. Проволочная корзина у панели была чрезвычайно щепетильна насчет принимаемого: «Для Сора и Бумаги, но не для Отбросов» говорила надпись. Хересовые литеры светились над магазином фотоаппаратов. Громадный градусник с названием слабительного прозябал на фронте аптеки. Ювелирная лавка Рубинова щеголяла витриной с искусственными самоцветами, отражавшимися в красном зеркале. Фосфористые часы с зелеными стрелками плавали в полотняных глубинах прачешной «Момент». По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил «Автора убили» (на самом деле — «Автомобили»), Самолет, который тот же Рубинов разукрасил камушками, пролетел, с гудением, по бархатным небесам. Как много перевидал я спавших мертвым сном городишек! Этот был еще не последний.

Позвольте мне поболтаться немножко без дела — ведь участь его решена. Ритм неоновых огней, мерцавших по ту сторону улицы, был вдвое медленнее биения моего сердца: очерк большого кофейника над рестораном через каждые две секунды вспыхивал изумрудной жизнью, и, как только он гас, его там же сменяли розовые буквы, провозглашавшие «Отличная Кухня», — но кофейник все еще дразнил глаз латентной тенью перед своим новым изумрудным воскресением из мертвых. Мы делали рентгеновские снимки, это считалось страшно забавным. Рубиново-изумрудный городок находился не очень далеко от «Зачарованных Охотников». Я опять рыдал, пьянея от невозможного прошлого.

На этой одинокой остановке между Коулмонтом и Рамздэлем (между невинной Долли Скиллер и жовиальным дядей Айвором) я пересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельной простотой и ясностью я видел теперь и себя и свою любовь. По сравнению с этим прежние обзоры такого рода казались вне фокуса. Года два тому назад, в минуту метафизического любопытства, я обратился к умному, говорящему по-французски духовнику, в руки которого я передал серое безверие протестанта для старомодного папистского курса лечения, надеясь вывести из чувства греха существование Высшего Судии. В те морозные утра, в кружевном от инея Квебеке, добрый аббат работал надо мной с утонченнейшей нежностью и

пониманием. Я бесконечно благодарен и ему, и великой организации, которую он представлял. Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что, какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудило ее. Поскольку не доказано мне (мне, каков я есть сейчас, с нынешним моим сердцем, и отпущенной бородой, и начавшимся физическим разложением), что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены, ни веса в разрезе вечности — поскольку мне не доказано это (а если можно это доказать, то жизнь — пошлый фарс), я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий, как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства. Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшего поэта:

Так *пошлиною нравственности* ты
Обложено в нас, чувство красоты!

Помню день, во время нашей первой поездки — нашего первого круга рая, — когда для того, чтобы свободно упиваться своими фантазмагориями, я принял важное решение: не обращать внимания на то (а было это так явно!), что я для нее не возлюбленный, не мужчина с бесконечным шармом, не близкий приятель, даже вообще не человек, а всего только пара глаз да толстый фаллос длиною в фут — причем привожу только удобопроводимое. Помню день, когда, взяв обратно (чисто-практическое) обещание, из чистого расчета данное ей накануне (насчет чего-то, чего моей смешной девочке страстно хотелось, посетить, например, новый роликовый каток с особенной пластиковой поверхностью или пойти без меня на дневную программу в кино), я мельком заметил из ванной, благодаря случайному сочетанию двух зеркал и приотворенной двери, выражение у нее на лице — трудноописуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия — именно потому, что чувство несправедливости и непреодолимости дошло до предела, а меж тем всякий предел предполагает существование чего-то за ним — отсюда и нейтральность освещения; и, принимая во внимание, что эти приподнятые брови и приоткрытые губы принадлежали ребенку, вы еще лучше оцените, какие бездны расчетливой похоти, какое вторично отразившееся отчаяние удержали меня от того, чтобы пасть к ее дорогим ногам и изойти человеческими слезами, — и пожертвовать своей ревностью ради того неведомого мне удовольствия, которое Лолита надеялась извлечь из общения с нечистоплотными и опасными детьми в наружном мире, казавшемся ей настоящим.

Есть у меня и другие полузадушенные воспоминания, которые ныне встают недоразвитыми монстрами и терзают меня. Однажды, на бердслейской улице с закатом в пролете, она обратилась к маленькой Еве Розен (я сопровождал обеих нимфеток на концерт и, подвигаясь за ними, в толпе у кассы держался так близко, что тыкался в них), — и вот слышу, как моя Лолита, в ответ на слова Евы, что «лучше смерть, чем Мильтон Пинский (знакомый гимназист) и его рассуждения о музыке», говорит необыкновенно спокойно и серьезно: «Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе»; и меня тогда поразило, пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившем у любимой моей в головке и что, может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, — дымчатая обворожительная область, доступ к

которой запрещен мне, оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья; ибо я часто замечал, что, живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном (о чем могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный, я и Аннабелла, Лолита и сублимированный, вылизанный, анализированный, обожествленный Гарольд Гейз), об искусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом *настоящем* предмете. Не тут-то было! Она одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки, между тем как я, пользуясь для своих несчастных ученых комментариев искусственным тоном, от которого у меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудитории такие взрывы грубости, что нельзя было продолжать, о, моя бедная, замученная девочка.

Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я был жесток, низок, все что угодно, *mais je t'aimais, je t'aimais!*^[132] И бывали минуты, когда я знал, что именно ты чувствуешь, и невероятно страдал от этого, детеныш мой, Лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер...

Вспоминаю некоторые такие минуты — назовем их айсбергами в раю, — когда, насытившись ею, ослабев от баснословных, безумных трудов, безвольно лежа под лазоревой полосой, идущей поперек тела, я, бывало, заключал ее в свои объятия с приглушенным стоном человеческой (наконец!) нежности.

Ее кожа лоснилась в неоновом луче, проникавшем из мотельного двора сквозь жалюзи, ее черные, как сажа, ресницы слиплись; ее серые, без улыбки, глаза казались еще безучастнее, чем обычно, — она до смешного напоминала маленькую пациентку, не совсем еще вышедшую из тумана наркоза после очень серьезной операции; и тут нежность моя переходила в стыд и ужас, и я утешал и баюкал сиротливую, легонькую Лолиту, лежавшую на мраморной моей груди, и, урча, зарывал лицо в ее теплые кудри, и поглаживал ее наугад, и, как Лир, просил у нее благословения, и на самой вершине этой страдальческой бескорыстной нежности (в миг, когда моя душа как бы повисала над ее наготой и готова была раскаяться), внезапно, с мерзостной иронией, желание нарастало снова... «Ах, нет!», говорила Лолита, подняв, со вздохом, глаза к небу, и в следующую минуту и нежность и лазоревый луч — все распадалось.

Современные наши понятия об отношениях между отцом и дочерью сильно испакощены схоластическим вздором и стандартизированными символами психоаналитической лавочки; надеюсь, однако, что нижеследующие строки обращаются к беспристрастным читателям. Как-то раз, когда отец одной из ее подруг (толстенькой Авис Чапман) громким гудком подал с улицы сигнал, что он приехал забрать свою дурнушку, я почувствовал себя обязанным пригласить его в гостиную; он присел на минутку, и, пока мы беседовали, Авис ластилась к нему и в конце концов грузно примостилась у него на коленях. Не помню, между прочим, отметил ли я где-нибудь, что у Лолиты была для чужих совершенно очаровательная улыбка, — мохнатое прищуривание глаз и милое, мечтательное сияние всех черт лица, — улыбка, которая ничего, конечно, не значила, но которая была так прекрасна, так самобытно нежна, что трудно ее объяснить атавизмом, магической геной, произвольно озаряющей лицо в знак древнего приветственного обряда (гостеприимной проституции, скажет читатель поглубже). Она стояла поодаль, когда мистер Чапман сел и заговорил, вертя шляпу в руках, а затем — ах, смотрите, как глупо с моей стороны, я опустил главнейшую особенность знаменитой Лолитовой улыбки, а именно: ее сладкая, как нектар, переливающаяся ямочками игра никогда не бывала направлена на гостя, а держалась, так сказать, собственной далекой цветущей пустоты или блуждала с близорукой вкрадчивостью по случайным предметам — и было так сейчас. В ту минуту, как толстая Авис приблизилась и стала мешать своему папе вертеть шляпу, Лолита тихо сияла,

разглядывая и потрагивая фруктовый нож, лежавший на краю стола, к которому она прислонялась далеко, далеко от меня. Авис теперь ухватила за отцовскую шею и ухо, а он, привычной рукой, полуобнял свое неуклюжее и крупное чадо, и вдруг я заметил, как улыбка Лолиты стала гаснуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки, и фруктовый нож соскользнул со стола и серебряным черенком случайно ударил ее в щиколку, да так больно, что она охнула, согнулась вдвое и тотчас потом, прыгая на одной ноге, с лицом, искаженным той ужасной вступительной гримасой, которую ребенок задерживает на растянутых губах перед ревом, Лолита исчезла из комнаты и за ней побежала и стала утешать ее на кухне добренькая Авис, у которой был такой отличный, жирный, розовый отец и маленький щекастый брат, и только что родившаяся сестричка, и домашний уют и две шотландских овчарки, умеющие улыбаться, а у Лолиты ничего не было.

Я заготовил изящное дополнение к этой сценке: мы все еще в Бердслее, Лолита, сидящая с книгой у камина, потягивается, крикает и спрашивает: «Где ее, собственно говоря, похоронили?» — «Кого?» — «Ах, ты знаешь, мою зарезанную мать». — «Ты прекрасно знаешь, где находится ее могила», ответил я, с большой выдержкой, и назвал кладбище — недалеко от Рамздэля, между железной дорогой и холмом, с которого видно озеро. «А кроме того», добавил я, «трагедию ее случайной смерти не следовало бы опошлять такого рода эпитетом, к которому ты находишь нужным прибегать. Ежели ты действительно хочешь победить в себе самой идею смерти —» «Завел шарманку», сказала Лолита и томно покинула комнату. Я долго глядел в огонь сквозь жгучие слезы. Потом поднял с пола ее книгу. Какая-то бездарная чепуха «для юношества». Угрюмая маленькая Мара не ожидала, что ее мачеха окажется веселой, понятливой, рыжеволосой молодой женщиной, которая объяснила Маре, что покойная мать Мары совершила героический подвиг тем, что умышленно не выказывала никакой любви к обожаемой на самом деле дочери. Героическая мать умирала от неизлечимой болезни и не желала, чтобы девочка потом грустила по ней. Другой бы на моем месте с воплями помчался наверх к Лолите; я же всегда выбирал нравственную гигиену невмешательства. Но ныне, извиваясь, как червь, и заклиная бывшее, я вспоминаю, что в этот раз и в другие разы я взял в привычку не обращать внимания на состояние Лолиты, дабы не расстраивать подлого Гумберта. Когда моя мать в промокшем платье, освещаемом грозой среди стремительно наплывающего тумана (так я воображал ее смерть), побежала, с трудом дыша, вверх по гребню горы над Молинетто, где ее сразила молния, я был младенцем, и впоследствии мне не удавалось задним числом привить себе никакой общепринятой сиротской тоски, как бы свирепо ни трепали меня психотерапевты в позднейшие периоды депрессии. Но признаюсь, что человек со столь мощным воображением, как мое, не может ссылаться на незнание общечеловеческих эмоций. Возможно также, что я слишком положился на ненормальную холодность отношений между Шарлоттой и ее дочерью. Но ужасная сущность всего этого вопроса вот такая. Моя шаблонная Лолита за время нашего с ней неслыханного, безнравственного сожительства постепенно пришла к тому, что даже самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кровосмешательства — а лучше этого в конечном счете я ничего и не мог дать моей бездомной девочке.

Возвращение в Рамздэль. Я приближался к нему со стороны озера. Солнечный полдень смотрел во все глаза: проезжая мимо в запачканном автомобиле, я различал алмазные искры между отдаленными соснами. Свернул на кладбище, вышел и погулял между разнокалиберными памятниками. Bonjour, Charlotte. На некоторых могилах были воткнуты полупрозрачные

национальные флажки, неподвижно опавшие в безветренной тени кипарисов. Эх, Эдя, не повезло же тебе, подумал я, обращаясь мысленно к некоему Эдуарду Граммару, тридцатипятилетнему заведующему конторой в Нью-Йорке, которого недавно арестовали по обвинению в убийстве тридцатилетней жены Доротеи. Мечтая об идеальном преступлении, Эд проломил жене череп и труп посадил за руль автомобиля. Два чиновника дорожной полиции данного района видели издали, как большой новый синий Крайслер, подаренный Граммаром жене на рождение, с шальной скоростью съезжал под гору как раз на границе их юрисдикции. (Да хранит Господь наших бравых полицейских — и районных и штатных!) Он задел столб, взнесся по насыпи, поросшей остистой травой, земляникой и ползучей лапчаткой, и опрокинулся. Колеса все еще тихо вертелись на солнцепеке, когда патрульщики вытащили тело госпожи Г. Сначала им показалось, что она погибла вследствие обыкновенного крушения. Увы, ранения, вызвавшие ее смерть, не соответствовали очень легким повреждениям, которые потерпел автомобиль. Я удачнее устроился.

Покатил дальше. Со странным чувством узнал тонкую башню белой церкви и огромные ильмы. Забыв, что на американской пригородной улице одинокий пешеход больше выделяется, чем одинокий автомобилист, я оставил машину на бульваре, чтобы спуститься, как бы гуляя, по Лоун Стрит мимо номера 342. Перед предстоящим великим кровопролитием я имел право на небольшую передышку, на очистительную судорогу душевной отрыжки. Белые ставни виллы отставного тряпичника были закрыты, и кто-то подвязал найденную им черную бархатную ленту для волос к белой вывеске «Продается», склонившейся со своего шеста у тротуара. Не было больше пристающей собаки. Садовник никому не телефонировал. Больная старушка Визави не сидела на увитой виноградом веранде, — на которой теперь, к вящей досаде одинокого пешехода, две молодых женщины с понижевыми прическами, в одинаковых передничках в черную горошину, прервали уборку для того, чтобы поглазеть на него. Она, верно, давно умерла, а это были, должно быть, ее племянницы из Филадельфии.

Войти ли в свой бывший дом? Как в Тургеневской повести, поток итальянской музыки лился из растворенного окна — окна гостиной. Какая романтическая душа играла на рояле там, где никакие клавиши не ныряли и не всплескивали в тот заколдованный воскресный день, когда ласкало солнце голые ноги моей девочки? Вдруг я заметил, что с газона, который я некогда стриг, смуглая, темнокудрая нимфетка лет десяти, в белых трусиках, глядит на меня с чем-то диким в замороженном взоре больших черно-синих глаз. Я сказал ей два-три милых слова, совершенно невинных, — старомодный комплимент, вроде «какие у тебя прелестные глаза», но она поспешно попятилась, и музыка оборвалась, и весьма вспыльчивого вида черноволосый мужчина с блестящим от пота лицом выскочил в сад и грубо уставился на меня. Я было хотел представиться, но тут, с тем острым смущением, которое бывает во сне, я увидел, что на мне запачканные глиной синие рабочие брюки и отвратительно грязный дырявый свитер, ощутил щетину на подбородке, почувствовал, как налиты кровью мои глаза, глаза проходимца... Не говоря ни слова, я повернул и поплелся назад к автомобилю. Чахлый цветочек, вроде маленькой астры, рос из памятной мне щели в тротуаре. Преспокойно воскресшую мисс Визави племянницы выкатили на веранду, точно эта веранда была ложей, а я актером. Внутренне умоляя ее не окликнуть меня, я ускорил шаг. Ну и крутая улочка! Я дошел до глубокой тени бульвара. Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на две, четыре, восемь частей.

Сердясь на себя, что трачу попусту время, я устремился в гостиницу, — ту самую, в которую заехал с новым чемоданом пять лет тому назад. Взял комнату с ванной, назначил по телефону два свидания — деловое и медицинское, — побрился, выкупался, надел черный

костюм и спустился в бар. Там ничего не изменилось. Узкий зал был залит все тем же тусклым, невозможно-гранатовым светом — которым когда-то в Европе отличались притоны, но который здесь просто «создавал настроение» в приличном, «семейном» отеле. Я сел за тот же столик, за которым сидел в самом начале моего пребывания в Рамздэле, в тот день, когда, став жильцом Шарлотты, я нашел нужным отпраздновать новоселье тем, что по-светски с ней распил полбутылки шампанского, — чем роковым образом покорила ее бедное, полное до краев сердце. Как и тогда, лакей с лицом как луна распределял по астральной схеме пятьдесят рюмочек хереса на большом подносе для свадебного приема (Мурфи, этот раз, сочетался браком с Фантазией). Без восьми три. Идя через холл, я должен был обойти группу дам, которые с mille grâces^[133] прощались и расходились после клубного завтрака. Одна из них с приветственным клекотом набросилась на меня. Это была толстая, низенькая женщина, вся в жемчужно-сером, с длинным, серым пером на шляпке. Я узнал в ней миссис Чатфильд. Она напала на меня с приторной улыбкой, вся горя злым любопытством (не проделал ли я, например, с Долли того, что Франк Ласелль, пятидесятилетний механик, проделал с одиннадцатилетней Салли Горнер в 1948-ом году). Очень скоро я это жадное злорадство совершенно взял под контроль. Она думала, что я живу в Калифорнии. А как поживает —? С изысканнейшим наслаждением я сообщил ей, что моя падчерица только что вышла за блестящего молодого инженера-горняка, выполняющего секретное правительственное задание в северо-западном штате. Взятая врасплох, она возразила, что не одобряет таких ранних браков, что никогда бы она не позволила своей Филлис, которой теперь восемнадцать лет —

«Ах, конечно», сказал я спокойно. «Конечно, помню Филлис. Филлис и лагерь Кувшинка. Да, конечно. Кстати, ваша дочурка никогда не рассказывала вам, как Чарли Хольмс развращал там маленьких пансионеров своей гнусной матери?»

«Стыдно!» крикнула миссис Чатфильд, «как вам не стыдно, мистер Гумберт! Бедного мальчика только что убили в Корее».

«В самом деле», сказал я (пользуясь дивной свободой, свойственной сновидениям). «Вот так судьба! Бедный мальчик пробивал нежнейшие, невосстановимейшие перепоночки, прыскал гадючьим ядом — и ничего, жил превесело, да еще получил посмертный орден. Впрочем, извините меня, мне пора к адвокату».

До конторы Виндмюллера было всего два блока. Рукопожатие его оказалось очень медленным, очень обстоятельным, очень крепким, но как бы вопросительным. Он думал, что я живу в Калифорнии. Не преподавал ли я одно время в Бердслейском университете? Туда только что поступила его дочь. А как поживает —? Я дал полный отчет о миссис Скиллер. Деловой разговор оказался приятнейшим. Я перевел все свое имущество на ее имя и вышел в сентябрьский зной беззаботным нищим.

Теперь, когда я покончил с делами, я мог посвятить себя главной цели поездки в Рамздэль. До сих пор, придерживаясь той методичности, которой недаром горжусь, я не снимал маски с лица Клэра Куильти; он сидел у меня в подzemелье, ожидая моего прихода со служителем культа и брадобреем: «Réveillez-vous, Tropman, il est temps de mourir!»^[134] Мне сейчас недосуг заниматься вопросом, как запоминаются физиономии (нахожусь на пути к его дядюшке и иду скорым шагом); но позволю себе отчеркнуть следующее: в спирту мутной памяти я сохранял чье-то жабе лицо. Я видал это лицо мельком несколько раз и заметил в нем некоторое сходство с жизнерадостным и довольно противным родственником моим, жившим и умершим в Швейцарии. Помню его гантели, вонючее трико, толстые волосатые руки, и плешь, и свиноподобную горничную-наложницу, — но в общем этот паршивец был довольно безобидный; слишком безобидный, добавлю, чтобы сойти за мою добычу. В странном состоянии ума, в котором я сейчас находился, я как-то потерял связь с образом Густава Траппа:

его полностью поглотило лицо драматурга Клэра Куильти, таким, каким он был представлен, с художественной точностью, на рекламах папирос «Дромадер» и на кабинетной фотографии, стоявшей у его дядюшки на письменном столе.

В свое время, когда я был пациентом другого, бердслейского, зубного врача, симпатичнейшего доктора Мольнара, я подвергся серьезной операции, после которой у меня осталось довольно мало передних зубов. Искусственные зубы, замещающие прорехи, держались при помощи пластиковых пластинок и незаметной проволоки, идущей по верхней десне. В рассуждении удобства, это устройство было шедевром, тем более что боковые зубы остались совершенно здоровыми. Однако, дабы снабдить тайную цель правдоподобным предлогом, я объявил доктору Айвору Куильти, что в надежде облегчить лицевую невралгию я решил удалить все зубы. Во что обойдется аппарат? Сколько это все займет времени, если он назначит мне первый визит, скажем, в начале ноября? Где сейчас находится его знаменитый племянник? Можно ли будет всё вырвать за один раз?

Доктор Айвор (Ай-да-вор!) Куильти, толстяк в белом балахоне, с седым ежом и обширными плоскими щеками политикана-масона, присел на угол письменного стола, покачивая одной ногой, мечтательно и заманчиво, между тем как он развивал передо мной грандиозный дальнобойный план. Он сказал, что сначала построит мне «предварительный» аппаратик, — я буду его носить, пока не осядут десны. Затем он мне соорудит перманентный протез. Хорошо было бы уже сейчас осмотреть полость рта. Он носил двухцветные башмачки с узором из дырочек на концах. Он не видал «негодяя» с 1946 года, но был уверен, что его можно найти в родовом замке, улица Гримма, на окраине Паркингтона. Мечта художника-дантиста продолжала расти. Нога качалась. Взор блистал вдохновением. Мне это будет стоить около шестисот долларов. Он предлагал, что тут же предпримет необходимые измерения, чтобы заготовить предварительный протез. Мой рот был для него волшебной пещерой, полной бесценных сокровищ, но я туда его не пустил.

«Нет», сказал я. «Я передумал. Мне все это сделает доктор Мольнар. Его цены выше, но как дантист он, конечно, гораздо лучше вас».

Не знаю, доведется ли когда-нибудь моему читателю сказать такую фразу. Я уже испытал это дивное чувство сонной свободы в разговоре с госпожой Чатфильд. Дядюшка моего Клэра остался сидеть на столе, все еще с мечтательным выражением на лице, но нога перестала толкать и качать люльку розового упования. Зато все слышавшая секретарша, бледная, тощая девица, с трагическими глазами непреуспевших блондинок, кинулась за мной, чтобы успеть бахнуть дверью мне вслед.

Вдавите обойму в рукоятку. Нажимайте, пока не услышите или не почувствуете, как захватило защелку. Упоительно плотно. Вместимость: восемь патронов. Вороной отлив. Мучительно готов разрядиться.

На первой же бензиновой станции в Паркингтоне мне очень ясно объяснили, как добраться до улицы Гримма. Желая быть уверенным, что застаю Куильти, я попытался ему позвонить, но выяснилось, что его телефон недавно разъединили. Значило ли это, что он в отъезде? Я направился туда, — его дом находился в двенадцати милях на север от города. К этому времени ночь убрала большую часть ландшафта, и, когда я поехал по узкому извилистому шоссе, череда призрачно-белых столбиков с рефлекторами стала занимать мой же свет, чтобы указать тот или другой поворот дороги. Можно было смутно различить речную долину с одной стороны и лесистые склоны — с другой; впереди же, как беспризорные снежинки, ночные мотыльки

плыли из черного мрака в пыльный свет моих фаров. На двенадцатой миле, как и было предсказано, появился диковинный крытый мост, вермонтского образца, который на меня натянулся, как чехол; за ним справа выросла белая скала, а еще через несколько саженей я свернул, направо же, по гравийной дороге, которая и была «Улица Гримма». Минуты две-три я ехал по сырому, темному, глухому лесу. Наконец, посреди округлой прогалины, вырос замок ужаса, огромный деревянный домик с башней. Окна горели красным и желтым огнем, и полдюжины автомобилей заправило подъездную аллею. Остановившись под прикрытием деревьев и потушив фары, я стал спокойно обдумывать следующий ход. Господина Ку, наверное, окружали его приспешники и гетеры. Поневоле я видел внутренность этого празднично освещенного и необыкновенно запущенного шато, сквозь призму «Тревог Отрочества», повести в одном из Лолитиных журнальчиков, о довольно смутных «оргиях», взрослом злодее с приапической сигарой, наркотиках, телохранителях. По крайней мере, Ку был тут. Ничего, вернусь утром, в час сонной неги.

Я не спеша поехал обратно в Паркингтон, в этом своем старом, преданном Икаре, который так спокойно, так бодро работал для меня. Моя Лолита! Еще валялась с 1949-го года одна из ее заколочек в глубине «перчатного» отделения. Еще текли бледные бабочки, вытягиваемые из ночи сифоном моего света. Еще держались, опираясь на костыли, темные амбары там и сям вдоль шоссе. Еще ездили люди смотреть фильмы. В поисках ночлега я проехал мимо дравина — кино на вольном воздухе. Сияя лунной белизной, прямо-таки мистической по сравнению с безлунной и бесформенной ночью, гигантский экран косо уходил в сумрак дремотных, ни в чем не повинных полей, и на нем узкий призрак поднимал пистолет, растворяясь, как в мыльной воде, при обострявшемся крене удалявшегося мира, — и уже в следующий миг ряд тополей скрыл бесплотную жестикуляцию.

Я покинул Привал Бессонных Ловцов около восьми утра и провел некоторое время в городе. Меня преследовала мысль, что палач я неопытный и могу дать маху. Мне, например, подумалось, что, может быть, патроны в обойме выдохлись за неделю бездеятельности; я заменил их новенькими. Дружка я так основательно выкупал в масле, что теперь не мог избавиться от черной гадости. Я забинтовал его в тряпку, как искалеченный член, и употребил другую тряпку на то, чтобы запаковать горсть запасных пуль.

По дороге меня настигла гроза, но, когда я доехал до зловещего замка, солнце уже горело, как мужественный мученик, и птицы вопили в промокшей, дымящейся листве. Гости разъехались. Затейливый и ветхий дом стоял как в чаду, отражая собственное мое состояние, ибо я невольно почувствовал, коснувшись ногами пружинистой и непрочной земли, что я переборщил в смысле подкрепления.

Звонку моему ответствовала настороженная ироническая тишина. В открытом гараже, однако, по-хозяйски стоял автомобиль — на этот раз черная машина, похожая на лимузин гробовщика. Я попробовал стукнуть дверным кольцом. Никоньков. С нетерпеливым рычанием я толкнул дверь — и о, чудо! Она поддалась, как в средневековой сказке. Тихонько затворив ее за собой, я прошел через просторный и весьма некрасивый вестибюль; кинул взгляд в гостиную справа; заметил там несколько употребленных бокалов, растущих из ковра; решил, что хозяин все еще у себя в спальне.

Что ж, поползем наверх. Моя правая рука сжимала в кармане закутанного в тряпку дружка, левая хлопывала по липкой балюстраде. В последней из трех спален, которые я осмотрел, кто-то явно провел ночь. Была библиотечная, полная цветов. Была какая-то особая комната,

почти без мебели, но с просторными и глубокими зеркалами и белыми медвежьими шкурами на скользком паркете. Были и другие покои. Меня осенила счастливая мысль. Если и когда появится хозяин (пошел, может быть, погулять для моциона в парке или сидит в потайной норе), следовало бы ввиду моей общей неустойчивости и того, что процесс истребления может затянуться, помешать милому партнеру запереться в той или другой комнате. Посему, в продолжение пяти минут по крайней мере, я ходил — в ясном помешательстве, безумно-спокойный, зачарованный и вдрызг пьяный охотник, — и поворачивал ключи в замках, свободной рукой суя их в левый карман. Дом, будучи старым, давал больше возможности уединения, чем дают современные элегантные коробки, где супружеской паре приходится прятаться в уборную — единственный запирающийся уголок — для скромных нужд планового детопроизводства.

Кстати, об уборных. Я собрался запереть третью спальню, когда хозяин вышел из соседнего клозета, оставив за собой шум краткого каскада. Загиб коридора не мог скрыть меня полностью. С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плечи, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих. Он меня либо не заметил, либо принял за недостойную внимания, безвредную галлюцинацию и, показывая свои волосатые икры, прошествовал сомнамбулической походкой вниз по лестнице. Я последовал за ним в вестибюль. Полуоткрыв и рот и входную дверь, он посмотрел в солнечную щель, как человек, которому показалось, что он слышал неуверенного гостя, позвонившего и потом удалившегося. Засим, продолжая игнорировать привидение в дождевике, остановившееся посреди лестницы, милый хозяин вошел в уютный будуар через холл по другую сторону гостиной. Зная, что он теперь мой, и не желая спешить, я оставил его там и отправился через гостиную и полубар-полукухню, где я брезгливо разбинтовал моего маленького пачкуна, стараясь не наделать масляных пятен на хроме — мне кажется, я употребил не тот продукт, масло было как деготь и ужасно прилипчивое. Со свойственной мне дотошностью я перевел обнаженного дружка в чистую нишу — и прошел через гостиную в холл. Мой шаг был, как я уже отметил, пружинист — может быть, слишком пружинист для успеха дела; но сердце во мне колотилось от хищного веселья, и помню, как хрустнула коктейльная рюмка у меня под ногой.

Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике.

«А я все думаю, кто вы такой?» заявил он высоким хриплым голосом, глубоко засунув руки в карманы халата и уставясь в какой-то пункт на северо-восток от моей головы. «Вы случайно не Брюстер?»

Теперь было ясно, что он витает в каком-то тумане и находится всецело в моей власти. Я мог позволить себе поиграть этой мышкой.

«Правильно», отвечал я учтиво. «Je suis Monsieur Brustère.^[135] Давайте-ка поболтаем до того, как начать».

Это ему понравилось. Его черные, как клякса, усики дрогнули. Я скинул макинтош. Был я весь в черном — черный костюм, черная рубашка, без галстука. Мы опустились друг против друга в глубокие кресла.

«Знаете», сказал он, громко скребя мясистую, шершавую, серую щеку и показывая в кривой усмешке свои мелкие жемчужные зубы, «вы не так уж похожи на Джека Брюстера. Я хочу сказать, что сходство отнюдь не разительное. Кто-то мне говорил, что у него есть брат, который служит в той же телефонной компании».

Затравить его наконец, после всех этих лет раскаяния и ярости... Видеть черные волоски на его пухлых руках... Скользить всею сотней глаз по его лиловым шелкам и косматой груди, предвкушая пробоины и руду, и музыку мук... Знать, что держу его, этого полуодушевленного,

получеловеческого шута, этого злодея, содомским способом насладившегося моей душенькой — о, моя душенька, это было нестерпимой отрадой!

«Нет, к сожалению, я не брат Брюстера, — и даже не сам Брюстер».

Он наклонил набок голову с еще более довольным видом.

«Ну-ка, гадай дальше, шут».

«Прекрасно», сказал шут, «значит, вы не пришли от телефонной компании мне надоедать этими неоплаченными фантастическими разговорами?»

«А вы что, никогда не звоните?»

«Виноват?»

Я сказал, что мне показалось, что он сказал, что он никогда...

«Нет, я говорю о других — о людях вообще. Я не обвиняю именно вас, Брюстер, но, право же, ужасно глупая манера у людей входить в этот дурацкий дом без стука. Они пользуются сортиром, они пользуются кухней, они пользуются телефоном. Антон звонит в Бостон, Мария в Рио. Я отказываюсь платить. У вас странный акцент, синьор».

«Куильти», сказал я, «помните ли вы маленькую девочку по имени Долорес Гейз? Долли Гейз? Долорес в Колорадо? Гейзер в Вайоминге?»

«Да, да, вполне возможно, что это она звонила во все эти места. Но не все ли равно?»

«Мне не все равно, Куильти. Дело в том, что я ее отец».

«Вздор. Никакой вы не отец. Вы иностранный литературный агент. Один француз перевел мое „Живое мясо“ как „La Vie de la Chair“^[136]. Какое идиотство!»

«Она была моим ребенком, Куильти».

В том состоянии, в котором он находился, его невозможно было по-настоящему смутить, но его насканивающая манера уже становилась менее уверенной. Какая-то тень настороженного разума затлелась в его глазах, придав им подобие жизни. Впрочем, они сразу опять потускнели.

«Я сам люблю ребятишек», сказал он, «и у меня много друзей среди отцов».

Он отвернулся, ища чего-то. Стал бить себя по карманам. Попытался привстать.

«Куш!» сказал я — по-видимому, гораздо громче, чем хотел.

«Незачем орать на меня», пожаловался он странным бабьим голосом. «Просто ищу папирос. До смерти хочется курить».

«Вам и так недалеко до смерти».

«Эх, бросьте», сказал он. «Мне это начинает надоедать. Чего вам надо? Вы француз, мистер? Вулэ-ву-буар? Перейдемте в барчик и хлопнем —»

Он увидел маленький черный пистолет, лежавший у меня на ладони, словно я его предлагал ему.

«Э — э!» протянул он (подражая теперь типу «глупого гангстера» в кино), «какой у вас шикарный пистолетик. За сколько продаете?»

Я шлепнул его по протянутой руке, и каким-то образом он сбил шкатулку с низкого столика подле своего кресла. Шкатулка извергла десяток папирос.

«Вот они!» произнес он весело. «Помните, как сказано у Киплинга: „Une femme est une femme, mais un Caporal est une cigarette“^[137]. Теперь нам нужны спички».

«Куильти», сказал я. «Попробуйте сосредоточиться. Через минуту вы умрете. Загробная жизнь может оказаться, как знать, вечным состоянием мучительнейшего безумия. Вы выкурили вашу последнюю папиросу вчера. Сосредоточьтесь. Постарайтесь понять, что с вами происходит».

Он, меж тем, рвал на части папиросу Дромадер и жевал кусочки.

«Я готов постараться», проговорил он. «Вы либо австралиец, либо немецкий беженец. Как

это вообще случилось, что вы со мной разговариваете? Это дом — арийский, имейте в виду. Вы бы лучше уходили. И прошу вас перестать размахивать этим кольцом. Между прочим, у меня есть старый наган в соседнем зальце».

Я направил дружка на носок его ночной туфли и нажал на гашетку. Осечка. Он посмотрел себе на ногу, на пистолет, опять на ногу. Я сделал новое ужасное усилие, и с нелепо слабым и каким-то детским звуком пистолет выстрелил. Пуля вошла в толстый розоватый ковер: я обомлел, вообразив почему-то, что она только скатилась туда и может выскочить обратно.

«Ну, кто был прав?» сказал Куильти. «Вам бы следовало быть осторожнее. Дайте-ка мне эту вещь, чорт возьми».

Он потянулся за кольцом. Я пихнул шута обратно в кресло. Густая отрада редела. Пора, пора было уничтожить его, но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению. Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим.

«Сосредоточьтесь», сказал я, «на мысли о Долли Гейз, которую вы похитили —»

«Неправда!» крикнул он. «Вы чушь порете. Я спас ее от извращенного негодяя. Покажите мне вашу бляху, если вы сыщик, вместо того, чтобы палить мне в ногу, скотина! Где бляха? Я не отвечаю за чужие растления. Чушь какая! Эта увеселительная поездка была, признаюсь, глупой шуткой, но вы ведь получили девчонку обратно? Довольно — пойдемте, хлопнем по рюмочке».

Я спросил, желает ли он быть казненным сидя или стоя.

«Это я должен обдумать», ответил он. «Вопрос серьезный. Между прочим — я допустил ошибку. О которой весьма сожалею. Я, видите ли, не получил никакого удовольствия от вашей Долли. Как ни грустно, но я, знаете ли, импотент. А кроме того, я ведь устроил ей великолепные каникулы. Она познакомилась в Техасе с замечательными людьми. Вы слышали, например —»

И, неожиданно подавшись вперед, он навалился на меня, причем мой пистолет полетел под комод. К счастью, он был более порывист, нежели могуч, и я без труда пихнул его обратно в кресло.

Отдышавшись, он сложил руки на груди и сказал:

«Ну вот, доигрались. Vous voilà dans de beaux draps, mon vieux [\[138\]](#)».

Я наклонился. Он не двинулся. Я наклонился ниже.

«Дорогой сэр», сказал он, «перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург. Я написал много трагедий, комедий, фантазий. Я сделал в частном порядке фильмы из „Жюстины“ Сада и других эскапакоостей восемнадцатого века. Я автор пятидесяти двух удачных сценариев. Я знаю все ходы и выходы. Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга, позвольте мне ее принести, и с ее помощью мы добудем ваше имущество».

Суетливо, деловито, лукаво, он встал снова, пока говорил. Я пошарил под комодом, стараясь одновременно не спускать с него глаз. Вдруг я заметил, что дружок торчит из-под радиатора близ комода. Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя.

В напечатанном виде эта книга читается, думаю, только в начале двадцать первого века (прибавляю к 1935-ти девяносто лет, живи долго, моя любовь); и пожилые читатели, наверное, вспомнят в этом месте «обязательную» сцену в ковбойских фильмах, которые они видели в раннем детстве. Нашей потасовке, впрочем, недоставало кулачных ударов, могущих сокрушить быка, и летающей мебели. Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками. Все сводилось к безмолвной, бесформенной возне двух литераторов, из которых один разваливался от наркотиков, а другой страдал неврозом сердца и к тому же был пьян. Когда, наконец, мне удалось овладеть своим драгоценным оружием и усадить опять сценариста в его

глубокое кресло, мы оба пыхтели, как королю коров и барону баранов никогда не случается пыхтеть после схватки.

Я решил осмотреть пистолет — наш пот мог, чего доброго, в нем что-нибудь испортить — и отдышаться, до того как перейти к главному номеру программы. С целью заполнить паузу, я предложил ему прочитать собственный приговор — в той ямбической форме, которую я ему придал. Термин «поэтическое возмездие» особенно удачен в данном контексте. Я передал ему аккуратно написанный на машинке листок.

«Ладно», сказал он. «Прекрасная мысль. Пойду за очками» (он попытался встать).

«Нет».

«Как хотите. Читать вслух?»

«Да».

«Поехали. Ага, это в стихах»:

За то, что ты взял грешника врасплох,
За то, что взял врасплох,
За то, что взял,
За то, что взял врасплох мою оплошность...

«Ну, это, знаете, хорошо. Чертовски хорошо!»

...Когда нагим Адамом я стоял
Перед законом федеральным
И всеми жалящими звездами его —

«Прямо великолепно!»

За то, что ты воспользовался этим
Грехом моим, когда
Беспомощно линиял я, влажный, нежный,
Надеясь на благую перемену,
Воображая брак в гористом штате,
И целый выводок Лолит...

«Ну, это я не совсем понял».

За то, что ты воспользовался этой
Основаю невинности моей,
За то, что ты обманом —

«Чуточку повторяетесь, а? Где я остановился?.. Да».

За то, что ты обманом отнял
Возможность искупленья у меня,
За то, что взял ее

В том возрасте, когда мальчишки
Играют пушечкой своей...

«Так-с, первая сальность».

Она пушистой девочкой была,
Еще носила маковый венок,
Из фунтика еще любила есть
Поджаренные зерна кукурузы
В цветистом мраке, где с коней за деньги
Оранжевые падали индейцы,
За то, что ты ее украл
У покровителя ее,
— А был он величав, с челом как воск —
Но ты — ему ты плюнул
В глаз под тяжелым веком, изорвал
Его шафрановую тогу,
И на заре оставил кабана
Валяться на земле в недуге новом,
Средь ужаса фиалок и любви,
Раскаянья, отчаянья, а ты
Наскучившую куклу взял
И, на кусочки растащив ее,
Прочь бросил голову. За это,
За все, что сделал ты,
За все, чего не сделал я, —
Ты должен умереть!

«Ну что ж, сэр, скажу без обиняков, дивное стихотворение! Ваше лучшее произведение, насколько могу судить».

Он сложил листок и отдал мне его.

Я спросил его, хочет ли он сказать что-нибудь для него важное перед смертью. Колыт был опять «применим в отношении к персоне». Он посмотрел на него. Он глубоко вздохнул.

«Послушайте, дядя», сказал он. «Вы пьяны, а я больной человек. Давайте отложим это дело. Я нуждаюсь в покое. Я должен пестовать свою импотентность. Сегодня заходят друзья, чтобы везти меня на большой матч. Этот фарс с пальбой из пистолета становится страшно скучным. Мы с вами светские люди во всем — в эротических вкусах, белых стихах, меткой стрельбе. Если вы считаете, что я вас обидел, я готов на необычайные компенсации. Не исключен даже старомодный поединок, на саблях или пистолетах, в Бразилии или другом удобном месте. Моя память и мое красноречие не на высоте нынче, но, право же, мой дорогой господин Гумберт, вы были далеко не идеальным отчимом, и я отнюдь не заставлял вашу маленькую протезе присоединиться ко мне. Это она заставила меня перевезти ее в более веселое прибежище. Сей дом не столь хорошо оборудован, как ранчо, которое мы делили с дорогими друзьями; все же он просторен, прохладен и летом и зимой — словом, комфортабелен, а потому — ввиду того, что я собираюсь навсегда уехать на покой в Англию или Флоренцию, — я предлагаю вам поселиться

тут. Дом — ваш, бесплатно. При условии, что вы перестанете направлять на меня этот (он отвратительно выругался) пистолет. Между прочим, — не знаю, любите ли вы диковинки, но если любите, могу вам предложить, тоже бесплатно, в качестве домашнего зверька, довольно волнующего маленького монстра, девицу с тремя грудками, одна из которых — прелесть, и вообще — это редкое и очаровательное чудо природы. А теперь — *soyons raisonnables* [\[139\]](#). Вы меня только гнусно раните и потом будете гнить в тюрьме, меж тем как я буду поправляться в тропической обстановке. Обещаю вам, Брюстер, что вы заживете здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и всем доходом с моей следующей пьесы, — у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта. Тут есть еще одно преимущество, а именно — чрезвычайно надежная и подкупная уборщица, миссис Вибрисса — интересное имя, — которая приходит из деревни два раза в неделю — увы, не сегодня, — у нее есть внуки и внучки, и я кое-что такое знаю о главе местной полиции, что могу им распоряжаться как рабом. Я драматург. Меня прозвали американским Метерлинком. Отвечаю на это: Метерлинк — шметтерлинг. Довольно. Все это очень унижительно, и я не уверен, что поступаю правильно. Избегайте употреблять геркуланиту с ромом. А теперь будьте благоразумным и уберите пистолет. Я как-то познакомился с вашей незабвенной супругой. Весь мой гардероб в вашем распоряжении. Ах, еще кое-что. Это вам понравится. У меня есть наверху исключительно ценная коллекция эротики. Назову хотя бы роскошный фолиант „Остров Багратиона“ известной путешественницы и психоаналистки Мелании Вейсс — поразительная женщина, поразительный труд — уберите пистолет — со снимками свыше восьмисот мужских органов, которые она осмотрела и измерила в 1932-ом году на острове в Бардинском Море, и весьма поучительными диаграммами, вычерченными с большой любовью под благосклонными небесами — уберите пистолет, — а кроме того, я могу вам устроить присутствие при казнях, не всякий знает, что электрический стул покрашен в желтый —»

Я выстрелил. На этот раз пуля попала во что-то твердое, а именно в спинку черной качалки, стоявшей в углу (и несколько похожей на скиллеровскую), причем она тотчас пришла в действие, закачавшись так шибко и бодро, что человек, который вошел бы в комнату, был бы изумлен двойным чудом: движением одинокой качалки, ходуном ходящей в углу, и зияющей пустотой кресла, в котором только что находилась моя фиолетовая мишень. Перебирая пальцами поднятых рук, молниеносно крутя крупом, он мелькнул в соседнее зальце, и в следующее мгновение мы с двух сторон тянули друг у друга, тяжело дыша, дверь, ключ от которой я проглядел. Я опять победил, и с еще большей прытью Клорий Новус сел за рояль и взял несколько уродливо-сильных, в сущности истерических, громовых аккордов: его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряженно ухали, а ноздри испускали тот судорожный храп, которого не было на звуковой дорожке нашей кинодраки. Продолжая мучительно напевать в нос, он сделал тщетную попытку открыть ногой морского вида сундучок, подле рояля. Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подыматься с табурета все выше и выше, как в сумасшедшем доме старик Нижинский, как «Верный Гейзер» в Вайоминге, как какой-то давний кошмар мой, на феноменальную высоту, или так казалось, и, разрывая воздух, еще сотрясаясь от темной сочной музыки, откинув голову, с воем, он одну руку прижал ко лбу, а другой схватился за подмышку, как будто его ужалил шершень; после чего спустился опять на землю и опять, приняв образ толстого мужчины в халате, улепетнул в холл.

Вижу, как я последовал за ним через холл, где с каким-то двойным, тройным, кенгуровым прыжком, оставаясь стойком на прямых ногах при каждом скачке, сперва за ним следом, потом между ним и парадной дверью, я исполнил напряженно-упругий танец, чтобы помешать ему выйти, ибо дверь, как во сне, была неплотно затворена.

Опять преобразившись, став теперь величественным и несколько мрачным, он начал

подниматься по широкой лестнице — и, переменив позицию, но не подступая близко, я произвел один за другим три-четыре выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что я это с ним делал, делал эти ужасные вещи, его лицо нелепо дергалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль; он замедлял шаг, он закатывал полузакрытые глаза, он выпускал женское «ах» и отзывался вздрагиванием на каждое попадание, как если бы я щекотал его, и, пока мои неуклюжие, слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил вполголоса, с нарочито британским произношением, — все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлеченным, и даже любезным, видом: «Ах, это очень больно, сэр, не надо больше... Ах, это просто невыносимо больно, мой дорогой сэр. Прошу вас, воздержитесь. Ах, до чего больно... Боже мой! Ух! Отвратительно... Знаете, вы не должны были бы —». Его голос замер, когда он долез до площадки, но он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсулями, в которых играл эликсир молодости.

Я снова зарядил пустой кольт — черными и обагреными руками, — тронул что-то, умащенное его густой кровью. Затем я поспешил присоединиться к нему на верхнем этаже.

Он шагал по галерее, окровавленный и важный, выискивая открытое окно, качал головой и все еще старался уговорить меня не совершать убийства. Я попытался попасть ему в висок. Он отступил в свою спальню с пурпурным месивом вместо уха.

«Вон, вон отсюда», проговорил он, кашляя и плюя; и с бредовым изумлением я увидел, как этот забрызганный кровью, но все еще подвижный человек влезает в постель и заворачивается в хаос простынь и одеял. Я выстрелил в него почти в упор, и тогда он откинулся назад, и большой розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, дорос до величины игрушечного воздушного шара и лопнул.

Возможно, что в течение двух-трех секунд я потерял связь с действительностью, но это отнюдь не походило на то потемнение рассудка, на которое норовят сослаться обыкновенные преступники; напротив, хочу подчеркнуть, что я ответствен за каждую пролитую каплю его пузырьчатой крови; произошел, однако, некий временной сдвиг: я сидел в супружеской спальне, где в постели лежала больная Шарлотта. Куильти умирал. Вместо пистолета (на котором я сидел) я держал в руках его туфлю. Я очнулся, устроился удобнее в кресле и взглянул на наручные часы. Стекло пропало, но они шли. Вся эта грустная история заняла больше часа. Он наконец затих. Никакого облегчения я не испытывал; наоборот, меня тяготило еще более томительное бремя, чем то, от которого я надеялся избавиться. Я не мог заставить себя путем прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком случае, на вид он был мертв: недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью. Руки у меня были не в лучшем виде, чем у него. Я умылся кое-как в смежной ванной. Теперь мне можно было отбыть. Когда я вышел на площадку лестницы, меня ожидал сюрприз: живое жужжание, которое я уже и прежде слышал и принимал за звон в ушах, оказалось смесью голосов и граммофонной музыки, исходившей из нижней гостиной.

Я нашел там группу только что, видимо, прибывших людей, которые беззаботно распивали хозяйскую водку. В кресле развалился огромный толстяк; две черноволосых, бледных молодых красотики, несомненно сестры, одна побольше, другая (почти ребенок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты. Краснощекий тип с ярко-голубыми глазами как раз принес им два стакана с чем-то из кухни-бара, где две-три женщины болтали меж собой и звякали кусочками льда. Я остановился в дверях и сказал: «Господа, я только что убил Клэра Куильти». «И отлично сделали», проговорил краснощекий тип, предлагая при этом напиток старшей из двух красоток. «Кто-нибудь давно бы должен был его укокошить», заметил толстяк. «Что он

говорит, Тони?» спросила увядшая блондинка из-под арки бара. «Он говорит», ответил ей краснощекий, «что он убил Ку». «Что ж», произнес еще другой господин, приподнявшись с корточек в углу гостиной, где он перебирал граммофонные пластинки. «Что ж, мы все в один прекрасный день должны бы собраться и это сделать». «Как бы то ни было», сказал Тони, «ему пора бы спуститься. Мы не можем долго ждать, если хотим попасть к началу игры». «Дайте этому человеку чего-нибудь выпить», сказал толстяк. «Хотите пива?» спросила женщина в штанах, показывая мне издали кружку.

Только красотки на тахте, обе в черном, молчали; младшая всё потрагивала медальон на белой шейке, но обе молчали, такие молоденькие, такие доступные. Музыка на мгновение остановилась для перемены пластинки, и тут донесся глухой шум со стороны лестницы. Тони и я поспешили в холл. Куильти, которого я совершенно не ждал, выполз каким-то образом на верхнюю площадку и там тяжело возился, хлопая плавниками; но вскоре, упав фиолетовой кучей, застыл — теперь уже навсегда.

«Поторопись, Ку», смеясь крикнул Тони, и со словами: «По-видимому, после вчерашнего — не так-то скоро...», он вернулся в гостиную, где музыка заглушила остальную часть его фразы.

Вот это (подумал я) — конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжелым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошел сквозь петлистый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться.

36

Все, что за этим следует, — довольно плоско и бледно. Я медленно поехал под гору и через некоторое время спохватился, что это вовсе не дорога в Паркингтон. Макинтош я оставил в будуаре, а дружка в ванной. Нет, это не был тот дом, в котором мне хотелось бы жить. Мелькнула досужая мысль, что, может быть, гениальный хирург изменит собственную карьеру и вместе с нею — как знать — всю судьбу человечества, тем, что воскресит Курилкуильти, Клэра-Дромадера. Мне, в общем, было все равно; хотелось забыть всю эту мерзость, — и, когда я впоследствии узнал, что он не ожил, я только одному обрадовался — не придется, значит, мысленно следить много месяцев за мучительным и отталкивающим процессом его выздоровления, прерываемого всякими неудобосказуемыми ухудшениями и операциями и увенчанного, может быть, моим визитом к нему с целью перевести его воочию в реальность телесности из положения призрака. Апостол Фома был не так глуп. Но не странно ли, что чувство осязания, которое бесконечно менее ценится человеком, чем зрение, не только теряется реже всего, но становится в критические минуты нашим главным, если не единственным, критерием действительности. Я был весь пропитан несчастным Куильти — весь проникнут ощущением нашей борьбы перед кровопролитием.

Шоссе теперь тянулось среди полей. Мне пришло в голову (не в знак какого-нибудь протеста, не в виде символа или чего-либо в этом роде, а просто как возможность нового переживания), что, раз я нарушил человеческий закон, почему бы не нарушить и кодекс дорожного движения? Итак, я перебрался на левую сторону шоссе и проверил — каково? Оказалось, очень неплохо. Этакое приятное таяние под ложечкой со щекоткой «распространенного осязания» плюс мысль, что нет ничего ближе к опровержению основных законов физики, чем умышленная езда не по той стороне. В общем, испытываемый мной прекрасный зуд был очень возвышенного порядка. Тихо, задумчиво, не быстрее двадцати миль в час, я углублялся в странный, зеркальный мир. Движения на шоссе было мало. Редкие

автомобили, проезжавшие по им предоставленной мною стороне, оглушительно гудели на меня. Автомобили же, попадавшие навстречу, виляли, шарахались и кричали со страху. Вскоре я стал приближаться к более населенным местам. Проезд сквозь красный свет напомнил мне запретный глоток бургундского вина из времен моего детства. Между тем возникали осложнения. За мной следовали, мне сопутствовали. Затем, впереди меня, две патрульных машины расположились таким способом, чтобы совершенно преградить мне дорогу. Плавным движением я свернул с шоссе и, сильно подскочив два-три раза, въехал вверх по травянистому склону, среди удивленных коров, и там, тихонько покачиваясь, остановился. Нечто вроде заботливого гегельянского синтеза соединяет тут двух покойников.

Меня сейчас должны были вынуть из автомобиля (прощай, Икар, спасибо за все, старина!), и я предвкушал удовольствие отдаться в многочисленные руки и ничем не содействовать им, пока они будут нести меня, спокойного, удобно раскинувшегося, лениво всему поддающегося, как пациент, и извлекающего диковинную усладу из собственной вялости и абсолютно надежной поддержки со стороны полицейских и представителей скорой помощи. И покуда я ждал, чтобы они взбежали ко мне на высокий скат, я вызвал в воображении последний мираж, образ, полный изумления и безнадежности. Как-то раз, вскоре после ее исчезновения, приступ отвратительной тошноты заставил меня оставить машину на старой, полужаросшей горной дороге, которая то сопровождала, то пересекала новенькое шоссе и вся пестрела от диких астр, купавшихся в разбавленном тепле бледно-голубого дня в конце лета. После судорог рвоты, вывернувшей меня наизнанку, я сел отдохнуть на валун, а затем, думая, что свежий горный воздух мне пойдет впрок, прошел несколько шагов по направлению к низкому каменному парапету на стремнинной стороне шоссе. Мелкие кузнечики прыскали из сухого придорожного бурьяна. Легчайшее облако как бы раскрывало объятия, постепенно близясь к более основательной туче, принадлежавшей к другой, косной, лазурью полузатопленной системе. Когда я подошел к ласковой пропасти, до меня донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, поднимавшееся, как пар, над горнопромышленным городком, который лежал у моих ног в складке долины. Можно было разглядеть геометрию улиц между квадратами красных и серых крыш, и зеленые дымки деревьев, и змеистую речку, и драгоценный блеск городской свалки, и, за городком, скрещение дорог, разделяющих темные и светлые заплаты полей, а за этим всем — лесистые громады гор. Но даже ярче, чем эти встречные, безмолвно радовавшиеся краски — ибо есть цвета и оттенки, которые с умилением празднуют свои встречи, — ярче и мечтательнее на слух, чем они для глаза, было воздушное трепетание сборных звуков, не умолкавших ни на минуту при восхождении своем к гранитной полке, на которой я стоял, вытирая мерзостный рот. И вдруг я понял, что все эти звуки принадлежат к одному роду и что никаких других звуков, кроме них, не поднимается с улиц прозрачного городка. Читатель! Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей, только из них, и столь хрустален был воздух, что в мреющем слиянии голосов, и величественных и миниатюрных, отрешенных и вместе с тем волшебны близких, прямодушных и дивно загадочных, слух иногда различал как бы высвободившийся, почти членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты, или грохоток игрушечной тележки, но все находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог заметить какое-либо движение на тонко вытравленных по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих вспышек отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре.

Итак, вот моя повесть. Я перечел ее. К ней пристали кусочки костного мозга, на ней запеклась кровь, на нее садятся красивые ярко-изумрудные мухи. На том или другом завороте я чувствую, как мое склизкое «я» ускользает от меня, уходя в такие глубокие и темные воды, что

не хочется туда соваться. Я закамouflировал то, что могло бы уязвить кого-либо из живых. И сам я перебрал немало псевдонимов, пока не придумал особенно подходящего мне. В моих заметках есть и «Отто Отто», и «Месмер Месмер», и «Герман Герман»... но почему-то мне кажется, что мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность.

Когда я начал, пятьдесят шесть дней тому назад писать «Лолиту», — сначала в лечебнице для психопатов, где проверяли мой рассудок, а затем в сей хорошо отопленной, хоть и порядком похожей на могилу, темнице, — я предполагал, что употреблю полностью мои записки на суде, чтобы спасти, не голову мою, конечно, а душу. Посредине работы, однако, я увидел, что не могу выставить напоказ живую Лолиту. Я, может быть, воспользуюсь кое-чем из моей повести на закрытых заседаниях, но ее напечатание приходится отложить.

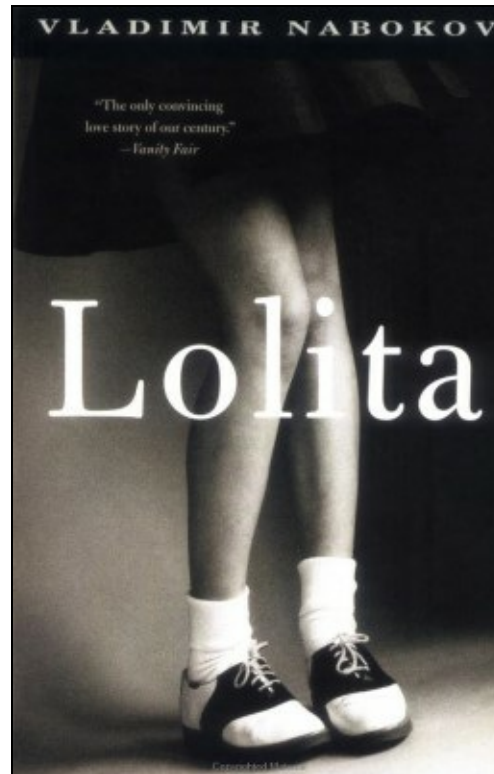
По причинам, которые могут показаться более очевидными, чем они есть на самом деле, я против смертной казни; к этому мнению присоединятся, надеюсь, мои судьи. Если бы я предстал как подсудимый перед самим собой, я бы приговорил себя к тридцати пяти годам тюрьмы за растление и оправдал бы себя в остальном. Но даже так Долли Скиллер, вероятно, переживет меня на много лет. Нижеследующее решение принимается мной со всей законной силой и поддержкой подписанного завещания: я желаю, чтобы эти записки были опубликованы только после смерти Лолиты.

Таким образом, ни тебя, ни меня уже не будет в живых к тому времени, когда читатель развернет эту книгу. Но пока у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты остаешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске. Будь верна своему Дику. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими. Надеюсь, что ты будешь любить своего ребеночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться, ибо в противном случае мой призрак его настигнет, как черный дым, как обезумелый колосс, и растащит его на части, нерв за нервом. И не жалея К. К. Пришлось выбрать между ним и Г. Г., и хотелось дать Г. Г. продержаться месяца на два дольше, чтобы он мог заставить тебя жить в сознании будущих поколений. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.

— *Конец* —



О книге, озаглавленной «Лолита» (Послесловие к американскому изданию 1958-го года)



После моего выступления в роли приятного во всех отношениях Джона Рэя — того персонажа в «Лолите», который пишет к ней «предисловие» — любой предложенный от моего имени комментарий может показаться читателю — может даже показаться и мне самому — подражанием Владимиру Набокову, разбирающему свою книгу. Некоторые мелочи, однако, необходимо обсудить, и автобиографический прием может помочь мимикрирующему организму слиться со своей моделью.

Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К чему стремится автор?» или еще гаже: «Что хочет книга сказать?» Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от нее, и которым, когда их просят объяснить ее зарождение и развитие, приходится прибегать к таким устаревшим терминам, как Взаимодействие между Вдохновением и Комбинационным Искусством — что звучит, признаюсь, так, как если бы фокусник стал объяснять один трюк при помощи другого.

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен.^[7] Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года^[8] (все они запрещены по политическим причинам в России)^[9]. Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере,

бросился под колеса грузовика. В одну из тех военных времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн;^{[110](#)} но вещницей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-ом году.^{[111](#)}

Девять лет спустя, в университетском городе Итака^{[112](#)} (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для нее английский язык — язык моей первой петербургской гувернантки (больше шестидесяти лет тому назад), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери — в основе своей — тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у нее втайне выросли когти и крылья романа.

Книга подвигалась медленно, со многими перебоями. Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней «реальности» (странное слово, которое ничего не значит без кавычек) в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания. Мешала и работа над другими книгами. Раз два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней.

Каждое лето мы с женой ездим ловить бабочек. Собранные экземпляры идут в научные институты, как, например, Американский Музей Естественной Истории в Нью-Йорке, или Музей Сравнительной Зоологии при Гарвардском Университете, или Энтомологический Музей Корнельского Университета. На булавку с бабочкой накалывается снизу этикетка с указанием места поимки, даты и имени ловца; эти мои этикетки чрезвычайно пригодятся в двадцать первом веке иному исследователю литературы, заинтересовавшемуся моей малоизвестной биографией. И вот на этих-то местах ловли, или «станциях», в Теллюриде (Колорадо), в Афтоне (Вайоминг), в Портале (Аризона), в Аштоне (Орегон), я опять принялся за «Лолиту», занимаясь ею по вечерам или в дождливые дни. Гумберт Гумберт написал ее в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил ее только весной 1954-го года в Итаке, жена перестукала ее на машинке в трех экземплярах, и я тотчас стал искать издателя.

Сначала, кротно следуя совету осторожного друга, я думал выпустить роман анонимно. Анаграмма моего имени и фамилии в имени и фамилии одного из моих персонажей — памятник этого скрытого авторства.^{[113](#)} Вряд ли когда-либо пожалею, что, вскоре поняв, как легко может маска повредить моей же правде, я решил подписать «Лолиту» своим настоящим именем. Четыре американских издателя, Акс, Якс, Экс и Икс, которым по очереди я предложил книгу и чтецы которых кинули на нее взгляд, были возмущены «Лолитой» в гораздо большей мере, чем предполагал мой старый друг. В конце концов я ее отправил литературному агентству в Париж; оно передало «Лолиту» совершенно мне неизвестному издательству «Олимпия Пресс», выпускавшему по-английски книги, почему-либо запрещенные в Англии или Америке, и оно-то издало ее осенью 1955-го года.

Хотя не подлежит сомнению, что в старину, и до конца восемнадцатого века (примеры из французской литературы напрашиваются сами собой), откровенная похабщина не исключала комедийных блесков и метких сатирических стрел или даже красочной мощи поэта,

поддавшегося легкомысленному настроению, не менее справедливо будет сказать, что в наши дни выражение «порнография» означает бездарность, коммерческую прыть и строгое соблюдение клише. Непристойность должна соединяться с банальщиной, ибо всякую эстетическую усладу следует полностью заменить простой половой стимуляцией, требующей применения общепринятых фраз для прямого воздействия на пациента. Порнограф должен строго придерживаться старых испытанных правил, дабы окружить пациента надежной атмосферой удовлетворения, атмосферой, знакомой и любителям детективных рассказов — в которых, если недосмотреть, настоящим убийцей может оказаться, к великому негодованию любителя, художественное своеобразие автора (кому нужен, например, детективный рассказ без единого диалога?). Таким образом, в порнографических романах действие сводится к совокуплению шаблонов. Слог, структура, образность — ничто не должно отвлекать читателя от его уютного вождения. Такой роман состоит из чередования эротических сцен. Промежуточные же места должны представлять собой лишь смысловые швы, логические мостики простейшей конструкции, краткие параграфы, посвященные изложению и разъяснению, которые читатель, вероятно, пропустит, но в присутствии которых он должен быть уверен, чтобы не почувствовать себя обманутым (образ мыслей, проистекающий из рутины «всамделишных» сказок, которых мы требуем в детстве). Кроме того, сексуальные сцены в книге непременно должны развиваться крещендо, все с новыми вариациями, в новых комбинациях, с новыми влагищами и орудиями, и постоянно увеличивающимся числом участников (в известной пьесе Сада напоследок вызывают из сада садовника), а потому конец книги должен быть наполнен эротическим бытом гуще, чем ее начало.

Некоторые приемы в первых главках «Лолиты» (дневник Гумберта, например) заставили иных моих первых читателей-туристов ошибочно подумать, что перед ними скабресный роман. Они ждали нарастающей серии эротических сцен; когда серия прекратилась, чтение прекратилось тоже, и бедный читатель почувствовал скуку и разочарование. Подозреваю, что тут кроется причина того, что не все четыре издательства прочли мой машинописный текст до конца. Меня мало занимает вопрос, нашли ли они или не нашли вещь слишком неприличной. Но интересно то, что их отказ был основан не на обработке темы, а на самой теме, ибо в Америке было тогда целых три неприемлемых для издателя темы. Две других — это черно-белый брак, преисполненный безоблачного счастья, с кучей детей и внуков; и судьба абсолютного атеиста, который, после счастливой и полезной жизни, умирает во сне в возрасте ста шести лет.

Некоторые из издательских отзывов меня очень позабавили. Один чтец предложил компромисс, при котором его фирма согласится, может быть, на издание моего романа: мне предлагалось превратить Лолиту в двенадцатилетнего мальчика, которого Гумберт, теннесийский фермер, соблазняет в амбаре, среди мрачных и чахлых равнин, с полувнутренними монологами, состоящими из коротких, сильных, «реалистических» фраз. («Он парень шалый», «Мы все, я думаю, шалые», «Я думаю, сам Господь Бог — шалый» и тому подобное.) Несмотря на то, что давно известна моя ненависть ко всяким символам и аллегориям (ненависть, основанная отчасти на старой моей вражде к шаманству фрейдизма и отчасти на отвращении к обобщениям, придуманным литературными мифоманами и социологами), один во всех других смыслах умный читатель, перелистав первую часть «Лолиты», определил ее тему так: «Старая Европа, развращающая молодую Америку», — между тем как другой чтец увидел в книге «Молодую Америку, развращающую старую Европу». Издатель Якс, чьим советником Гумберт так осточертел, что они прочли только половину книги, имел наивность мне написать, что вторая часть слишком длинна. Издатель Экс выразил сожаление, что в романе нет ни одного хорошего человека. Издатель Икс сказал, что, если он напечатает «Лолиту», мы оба с ним

угодим в тюрьму.

В свободной стране ни один настоящий писатель не должен, конечно, заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность. Поистине комическое задание! Я могу дивиться, но не могу подражать точности глаза фотографов, так снимающих хорошеньких молодых млекопитающих для журнальных картинок, что граница декольте приходится как раз достаточно низко, чтобы осклабился филистер, и как раз достаточно высоко, чтобы не нахмурился почтмейстер. Полагаю, что существуют читатели, которые разгораются от одного вида заборных слов в одном из тех огромных, безнадежно пошлых романов, которые выстукиваются на машинке тупым первым пальцем бездарнейшего молодца и которые болван рецензент приветствует ходульной хвалой. Найдутся, я знаю, светлые личности, которые признают «Лолиту» книгой бессмысленной, потому что она не поучительна. Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики, и, чего бы ни плел милый Джон Рэй, «Лолита» вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали. Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. Все остальное — это либо журналистическая дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну.

Обвиняли «Лолиту» и в антиамериканизме. Это меня огорчает гораздо больше, чем идиотский упрек в безнравственности. Движимый техническими соображениями, заботами о воздушной глубине и перспективе (тут пригородный газон, там горная поляна), я соорудил некоторое количество североамериканских декораций. Мне необходима была вдохновительная обстановка. Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности. Но в смысле мещанской вульгарности нет никакой коренной разницы между бытом Старого Света и бытом Нового. Любой пролетарий из Чикаго может быть так же буржуазен (во Флоберовом смысле), как любой английский лорд. Я выбрал американские «мотели» вместо швейцарских гостиниц или французских харчевен только потому, что стараюсь быть американским писателем и намерен пользоваться правами, которыми пользуются американские писатели. С другой стороны, мною изобретенный Гумберт — иностранец и анархист; и я с ним расхожусь во многом — не только в вопросе нимфеток. А кроме того, как знают мои эмигрантские читатели, некогда мною построенные площади и балконы — русские, английские, немецкие, французские — столь же прихотливы и субъективны, как мой новый макет.

Не хочу, чтобы вышесказанное звучало как отголосок каких-то обид, и спешу добавить, что, кроме овечек, читавших «Лолиту» в типоскрипте^{14} или в издании «Олимпии» и вопрошавших, «почему, собственно, он это написал?» или «почему мы должны читать о маниаке?», было немало людей разумных, отзывчивых и стойких, понявших внутреннее устройство моей книги значительно лучше, чем сам я могу ее объяснить.

Мне кажется, что всякий настоящий писатель продолжает ощущать связь с напечатанной книгой в виде постоянного успокоительного ее присутствия. Она ровно горит, как вспомогательный огонек газа где-то в подвале, и малейшее прикосновение к тайному нашему термостату немедленно производит маленький глухой взрыв знакомого тепла. Это присутствие книги, светящейся в неизменно доступном отдалении, удивительно задушевное чувство, и чем точнее совпала книга с ее умозрительными очертаниями и красками, тем полнее и ровнее ее свет. Но как бы книга ни удалась в целом, есть у автора, там и сям, любимые места, заветные

закоулочки, которые он вспоминает живее и которыми задним числом наслаждается с большей нежностью, чем остальными частями книги. Я не перечитывал «Лолиты» с тех пор, как держал корректуру первого издания, почти два года тому назад, но ее очарование все присутствует, как бы окружая дом утренней скромной дымкой, за которой чувствуется игра летнего дня. И когда я вспоминаю «Лолиту», я всегда почему-то выбираю для особого своего услаждения такие образы, как учтивый Таксович, или классный список учеников Рамздэльской школы, или Шарлотта, произносящая «уотерпруф», или Лолита, как на замедленной пленке подступающая к подаркам Гумберта, или фотографии, украшающие стилизованную мансарду Гастона Годэна, или Касбимский парикмахер (обошедшийся мне в месяц труда), или Лолита, лупящая в теннис, или госпиталь в Эльфинстоне, или бледная, брюхатая, невозвратимая Долли Скиллер и ее смерть в Грэй Стар, «серой звезде», столице книги, или, наконец, соборный звон из городка, глубоко в долине, доходящий вверх до горной тропы (а именно в Теллуриде, где я поймал неоткрытую еще тогда самку мной же описанной по самцам голубянки *Lycaeides sublivens* Nabokov)^{15}.

Вот нервная система книги. Вот тайные точки, подсознательные координаты ее начертания — хотя, с другой стороны, я вполне отдаю себе отчет в том, что и эти и другие места лишь бегло просмотрит, или пропустит, или никогда их не достигнет, тот читатель, который приступит к моей книге, думая, что это нечто вроде «Мемуаров Куртизанки» или «Любовных приключений Кулебякина». Мой роман содержит немало ссылок на физиологические позывы извращенного человека — это отрицать не могу. Но в конце концов мы не дети, не безграмотные малолетние преступники и не питомцы английского закрытого среднеучебного заведения, которые после ночи гомосексуальных утех должны мириться с парадоксальным обычаем разбирать древних поэтов в «очищенных» изданиях.

Только очень темный читатель изучает беллетристическое произведение для того, чтобы набраться сведений о данной стране, социальном классе или личности автора. Однако один из моих немногих близких друзей, прочитав «Лолиту», был искренно обеспокоен тем, что я (я!) живу «среди таких нудных людей», меж тем как единственное неудобство, которое я действительно испытываю, происходит от того, что живу в мастерской, среди неподошедших конечностей и недоделанных торсов.

Другой американский критик недавно выразил мысль, что «Лолита» представляет собою отчет о моем «романе с романтическим романом». Замена последних слов словами «с английским языком» уточнила бы эту изящную формулу. Но тут чувствую, как вкрадывается в мой голос слишком крикливая нотка. Никто из моих американских друзей не читал моих русских книг, а потому всякая оценка, основанная на моей английской беллетристике, не может не быть приблизительной. Личная моя трагедия — которая не может и не должна кого-либо касаться — это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры — каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций, — которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебным воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов.

12-го ноября 1956-го года

Корнельский Университет,

Итака, США.

Постскриптум к русскому изданию

Научная добросовестность побудила меня сохранить в русском тексте последний параграф вышеприведенного американского послесловия, несмотря на то, что он может только ввести в заблуждение русского читателя, не помнящего, или не понимавшего, или вообще никогда не читавшего книг «В. Сирина», которые выходили за границей в двадцатых и тридцатых годах. Американскому читателю я так страстно твержу о превосходстве моего русского слога над моим слогом английским, что иной славист может и впрямь подумать, что мой перевод «Лолиты» во сто раз лучше оригинала. Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн. История этого перевода — история разочарования. Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо закрытыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку.

Утешаюсь, во-первых, тем, что в неуклюжести предлагаемого перевода повинен не только отвыкнувший от родной речи переводчик, но и дух языка, на который перевод делается. За полгода работы над русской «Лолитой» я не только убедился в пропаже многих личных безделушек и невозстановимых языковых навыков и сокровищ, но пришел и к некоторым общим заключениям по поводу взаимной переводимости двух изумительных языков.

Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов.

Библиографические сведения, приведенные в послесловии к американскому изданию (Путнам, 1958), можно теперь пополнить. Первое издание с обильными опечатками, вышедшее в двух томиках в Париже (Олимпия Пресс, 1955), покупалось довольно вяло английскими туристами, пока не попало на глаза Грэхаму Грину, отзывавшемуся о книге с похвалой в одной лондонской газете^{[1161](#)}. На него и на «Лолиту» обрушился в другой лондонской газете реакционный фельетонист, некто Джон Гордон^{[1171](#)}, и его-то добродетельный ужас привлек к «Лолите» всеобщее внимание. Что же касается ее судьбы в Соединенных Штатах, то следует отметить, что она там никогда не была запрещена (как до сих пор запрещена в некоторых странах). Первые экземпляры парижского издания «Лолиты», выписанные частными лицами, были задержаны и прочтены на американской таможне, но неизвестный друг-читатель, служивший там, признал мою «Лолиту» легальной литературой, и экземпляры были отправлены по адресам. Это разрешило сомнения осторожных американских издателей, и я уже мог выбирать между ними наиболее мне подходящего. Успех путнамского издания (1958) превзошел, как говорится, все ожидания. Парадоксальным образом, однако, первое английское

издание, вышедшее в Париже еще в 1955 году, вдруг оказалось под запретом. Я часто спрашиваю себя, как поступил бы я в те дни, когда начались переговоры с «Олимпия Пресс», если бы мне тогда стало известно, что наряду с печатанием талантливых, хотя и вольных, произведений главный свой доход издатель получал от им заказываемых продажным ничтожествам пошлых книжонок совершенно того же сорта, как предлагаемые на темных углах снимки монашки с сенбернардом или матроса с матросом. Как бы то ни было, английские таможенники давно уже отнимали, в суровом и трезвом тумане возвращений с каникул, эту порнографическую дрянь — в таких же травянистого цвета обложках, как моя «Лолита». Теперь же английский министр внутренних дел попросил своего французского коллегу, столь же невежественного, сколь услужливого, запретить в продаже весь список изданий «Олимпии», и в течение некоторого времени «Лолита» в Париже разделяла судьбу заборных изданий «Олимпии».

Между тем нашелся лондонский издатель, пожелавший напечатать ее. Дело совпало с обсуждением нового закона о цензуре (1958–59 г.), причем «Лолита» служила аргументом и для либералов и для консерваторов. Парламент выписал из Америки некоторое количество экземпляров, и члены ознакомились с книгой. Закон был принят, и «Лолита» вышла в Лондоне, в издательстве Вайденфельда и Никольсона, в 1959-ом году. Одновременно Галлимар в Париже подготовил ее издание на французском языке, — и незадачливое первое английское издание «Олимпия Пресс», деловито и возмущенно оправляясь, опять появилось в киосках.

С тех пор «Лолита» переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу ее только что разрешили в Австралии, но она все еще запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появлялась она и в пуританских странах за железным занавесом. Из всех этих переводов я отвечаю, в смысле точности и полноты, только за французский, который я сам проверил до напечатания. Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, «перемещенная дама», недавно научившаяся английскому языку, или американец, который «брал» русский язык в университете. Вопрос же — для кого, собственно, «Лолита» переводится — относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный ли или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы «Лолиту». Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии. Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках^[18] или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими позовами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской^[19], который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты.

Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга — или, скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг — была правильно переведена на мой родной язык. Это — прихоть библиофила, не более. Как писатель, я слишком привык к тому, что вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания — какие уж тут советские издания «Лолиты»! Как переводчик я не тщеславен, равнодушен к поправкам знатоков и лишь тем горжусь, что железной рукой сдерживал демонов, подбивавших на пропуски и дополнения. Как читатель я умею размножаться бесконечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал своими двойниками, представителями, статистами и теми наемными господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает публике убедиться в отсутствии обмана. Но что мне

сказать насчет других, нормальных читателей? В моем магическом кристалле играют радуги^{20}, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролера-поэта из советской страны, гримера путешествующей труппы, трех польских или сербских делегатов в многозеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву.

Владимир Набоков

7-го ноября 1965 г.

Палермо



notes

мой дорогой папочка

Несчастные, роман В. Гюго

Госпожа Р.

холодное питье из шоколада

Двух Мартышек

«Дитя прелестное и коварное» (мнимая цитата)

КОСТЮМ

повиливание

CTO

ничего не поделаешь

подарочек

восемнадцать

Да, это нехорошо

Хитер был, кто изобрел этот фокус

Как мило ты это сказал

перед тем что ляжем

Куплю себе чулки

Мадемуазель Эдита

Полюбуйтесь-ка на эту красивую брюнетку

свои деньги

похлебка

девчонкой

Вечерняя Парижская газета

похлебка

Улица Бонапарта

Кто же он?

Jean-Christophe — посредственный роман Р. Роллана

Прошу прощения... Могу ли я...

Кто Что в Свете Рампы

Сборники рассказов

Господин доктор (по-немецки)

новооткрытая звезда

незрелый плод

Эти серенькие, такие мягкие утра...

Продолжайте, продолжайте!

Берта Большая-Нога (мать Карла Великого)

прямо ничего

Мой дорогой, дорогой господин (неправильно по-французски)

Уезжайте (неправильно по-французски)

мой милый

ночной страх

пытка сильная и тяжелая

Ну и словечко!

Небольшое внимание

дружок

решать буду я

Не тут-то было

с синяками под глазами

Затем

Это наконец — все?

Наконец одни

великий момент

Наверняка так уже наверняка (нем.)

как говорится

между нами говоря

Спящая красотка или смешной кавалер (название гравюры)

малютка (нем.)

гримаска

случайное обнажение

Моя дорогая Долорес!

как *вы* слишком хорошо знаете, моя прекрасная

ВОТ И ВСЕ

что называется «Диксиланд» (пошлое прозвище южных штатов)

увеселительная прогулка

причина существования

ни с того ни с сего

лицо, сделанное для пощечин

искоса (исподтишка, потихоньку) поглядывавшую

но я предаюсь бредням

с томными глазами

темноволосый подросток

корчиться

неловкий ангел

весьма приличного вида господин

В ПОЛНОМ СОКУ

еще бодрый старец

иметь определенное жилище или занятие

девчонка

любитель непристойных зрелищ

МОИ ВКУСЫ

Да, они миленькие

Возьмите-ка одну из этих груш. Их мне дает моя добрая соседка, живущая напротив, в таком количестве, что я не могу всеми ими полакомиться.

Миссис Тэйлор только что подарила мне эти георгины — красивые цветы, которых я не терплю

Шах королю

А все ваши дочери — они хорошо поживают?

в грязной истории

не показывайте ляжек

Венера лихорадки!

Мой бедный друг, мне уж не доведется когда-либо вас увидеть опять; вряд ли вы прочтете мою книгу, но всё-таки разрешите сказать вам, что я очень крепко жму вашу руку и что все мои дочери кланяются вам.

с фальшиво-покаянной ужимочкой

Я всегда восхищался ормондским шедевром великого дублинца (намек на Джойса)

Сговорено?

которая не спешила

переселившийся горец

тигр из поэмы Гольдсмита

разомлевший от любовной истомы

Промех

саркастический смех

набалдашник трости

малолетние балерины

Будем рассуждать логично

Соединенные Штаты

Король Эльфов («лесной царь»)

я уж не знаю

Я принял это за счет, а не за любовную записку

Здравствуй, малютка!

Ты меня не любишь больше, моя Кармен?

прекрасная дама вся в синем

Где-то, где-нибудь

Синий корабль

Пьяная птица

парень

Исчезнувшая Долорес

как это все было далеко!

А я, предлагавший тебе свой гений...

Зеленое Солнце

Намедни вечером от стужи оперной арии она слегла:
Надтреснутый звук — «как тот глуп, кто ей вверится»!
Идет снег, декорация валится, Лолита!
Лолита, что сделал я с твоей жизнью?

воспоминание, воспоминание, чего хочешь ты от меня?

Маленькая нимфа, присевшая на корточки (гравюра)

Мои окна

Знаете, моя малютка в десять лет была от вас без ума?

мой великий, лучезарный грех

Переменим жизнь, моя Кармен, заживем где-нибудь, где никогда не разлучимся (из «Кармен» Меримэ)

Кармен, хочешь уехать со мной? (то же)

приданое

мой маленький подарок

Карменсита, спросил я ее

но я любил тебя, любил тебя

тысяча ужимок

Проснитесь! Пора умирать.

Я — господин Брюстер.

Жизнь плоти

Женщина это женщина, но Капрал — это сорт папиросы

В хорошеньком вы теперь положении, старина

будем разумны

comments

...двойное название... — Подзаголовок произведения пародирует названия английских «исповедальных» порнографических романов XVIII в., например широко известную в странах английского языка книгу Джона Клееланда «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех, рассказанные Джоном Клееландом» (1749). Вместе с тем он, возможно, отсылает нас к одному из вероятных аллюзивных подтекстов «Лолиты» — сборнику эссе и рассказов французского поэта-символиста Поля Верлена «Записки вдовца» (1883—1884; русск. пер. 1911). В одном из рассказов поэт с умилением описывает свою 11-летнюю дочь, но в финале выясняется, что его дочь «никогда не существовала и, вероятно, уже никогда не родится». Верлен, как полагает А. Долинин, занимает особое место среди исторических лиц и литературных персонажей, с которыми отождествляет себя Гумберт Гумберт, в силу того, что он представляет собой пример «больного гения»: кутила, дебошир, гомосексуалист, пьяница, наркоман и сифилитик, Верлен создал стихи высочайшего класса; к тому же он стрелял в своего «злого гения» Артюра Рембо, отсидел два года в тюрьме, в заключении обратился к христианству и написал цикл покаянных стихов. Обратим внимание на то, что в «Предисловии» и самой «исповеди» сходным образом охарактеризованы обстоятельства, в которых она писалась. А. Аппель также отмечает, что термин «светлокожий вдовец» (white widowed male) встречается в историях болезни пациентов психиатрических клиник.

«Гумберт Гумберт» — Если фамилию Гумберт (Humbert) прочесть на французский манер, то она может восприниматься как омоним слова ombre (тень). Вместе с тем она омонимична испанскому слову hombre (человек). Используемое удвоение — Гумберт Гумберт — может пониматься как «тень человека» (ombre of an hombre), ведь к моменту опубликования своей книги повествователь уже мёртв. Кроме того, здесь можно усмотреть намёк на мрак наваждения и непонимания истинного положения вещей, в котором пребывает главный герой. Добавим также, что Г. Г., как и любой другой повествователь у Набокова, может рассматриваться как тень автора.

Вивиан Дамор-Блок — анаграмма имени и фамилии писателя. Добавленное в русской версии «Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей» намекает на роль, которую сыграла поэзия А. Блока в становлении Набокова-поэта. В тексте в дальнейшем обнаруживаются аллюзии на Блока. В английской версии любовницу Куильти зовут Vivian Darkbloom. Она же «является» автором примечаний к роману Набокова «Ада».

...историческое решение, принятое... судьей Джоном Вульси... — Суд под председательством нью-йоркского судьи Джона М. Вульси вынес решение, снявшее запрет на издание в США романа Джеймса Джойса «Улисс» как произведения будто бы порнографического и оскорбляющего общественную нравственность, что послужило прецедентом для пересмотра законов о печати.

Биянка Шварцман — Контраст черного и белого цветов (от bianco — белый (*итал.*) и schwarz — черный (*нем.*)) соответствует представлению писателя о том, что для школы психоанализа, пародирование которой — одна из сквозных тем романа, характерно упрощённое, примитивизированное видение и истолкование мира. В первоиздании имеется два варианта написания этого имени: «Биянка» и «Бианка».

Джон Рэй — Это имя появляется не случайно, ибо, как указал еще А. Аппель, его носил английский натуралист (1627—1705), который создал систему классификации насекомых, основанную на принципе метаморфоза.

...связан с газетной статейкой об обезьяне... — Похоже на мистификацию, так как никому из исследователей такую заметку обнаружить не удалось.

...писал романы с 1924-го года... — Первый роман Набокова «Машенька» написан в Берлине осенью 1925 г.

«Прототип» «Лолиты», о котором упоминает мой отец, был опубликован уже после его смерти, в 1986 году, под названием «Волшебник»; все его романы и множество других сочинений доступны ныне на английском, русском и иных языках.

Примечание Дмитрия Набокова

Алданов Марк Александрович (псевдоним; наст. фам. Ландау, 1889—1957) — русский писатель-эмигрант, писавший в основном исторические романы. Набоков поддерживал с ним многолетние дружеские отношения.

Фондаминский Илья Исидорович (псевдоним И. Бунаков, 1880—1942) — публицист, религиозный писатель, один из редакторов журнала «Современные записки», активный деятель партии эсеров. Взгляды Фондаминского были чужды Набокову, но он относился к тому с уважением.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — соредактор «Современных записок», близкий друг И. Фондаминского.

Коган-Бернштейн — женщина-врач, которая лечила Набокова.

...рассказ, озаглавленный «Волшебник»... — Вопреки этому высказыванию Набокова, рукопись «Волшебника» была найдена и опубликована.

...в университетском городе Итака... — В этом городе находится Корнельский университет, где Набоков вел занятия по русской и мировой литературе с 1948 по 1959 г.

Анаграмма моего имени и фамилии... — Вивиан Дамор-Блок.

типоскрипт — машинописная копия.

...в Теллуриде, где я поймал не открытую тогда самку... голубянки *Lycaeides sublivens* Nabokov. — Об этой своей находке Набоков написал специальную энтомологическую работу (1952). Эта бабочка была поймана им рядом с городом Лолита, штат Колорадо.

...Грэхаму Грину... в одной лондонской газете — Грэм Грин назвал набоковскую «Лолиту» в газете «The Sunday Times» одной из трёх лучших книг года.

...некто Джон Гордон... — редактор газеты «The Sunday Express», на страницах которой он подверг суровой критике с морализаторских позиций и Набокова, и Грэма Грина.

...картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках... — Это сказано, разумеется, о «Тихом Доне» М. Шолохова.

...лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами... — Набоков невысоко ценил роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» и считал его неуклюжим и мелодраматическим произведением.

В моем магическом кристалле... — отсылка к последним строкам «Евгения Онегина»:

...И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

Настоящее приложение было включено В. Набоковым в русскую версию «Лолиты».